

ЛЕВ ИВАНОВ

Когда я гостюю
на земле



— ТОМСК, 2005 —

ЛЕВ ИВАНОВ

**Когда я гостил
на земле**

**Посвящается
60-летию Дня Победы**

Томск, 2005 г.

Иванов Л. Н.
КОГДА Я ГОСТИЛ НА ЗЕМЛЕ

В марте 2003 г в издательстве Томского университета вышла в свет книга рассказов «Когда я гостил на земле». Это были отрывки из неопубликованной книги с одноименным названием. Полный текст книги-1 и книги-2 публикуется впервые.

Автор книги – коренной томич полковник Лев Николаевич Иванов – родился 18 января 1920 г в деревне Батурина Томской области. Он рассказывает о своем деревенском детстве и юности, прошедшей в Томске в так называемом Заозёрье. Интересны его воспоминания о жизни в Томске в 20-тые годы 20-го столетия (первые годы Советской власти). Рассказы «Ледоход», «Белые пароходы» полны любви к родному краю, сибирской природе и к родному Томску. Рассказ «Как просто украсть револьвер»- о начале его военной жизни во время учёбы в Томском артиллерийском училище.

В 1938г выпускной курс ТАУ был переведен в Харьковское артиллерийское училище. В войне он участвовал с первых дней, командовал батареей легендарных «катюш», был тяжело ранен, награжден двумя орденами Красной звезды и Отечественной войны 1 степени. После войны закончил две Военные академии и до выхода в отставку в 1976 году работал старшим научным сотрудником Военной Академии им. М.В. Фрунзе. После выхода в отставку работал в редакции журнала «За рулем». Умер в апреле 2004 года.

Книга интересна читателям всех возрастов, а также историкам, изучающим жизнь и быт сибиряков в 20х – 40х годах XX века.

Успеть услышать, пока живы...

Вы держите в руках необычную книгу, уважаемые читатели. Впрочем, каждую из книг можно считать необыкновенной, поскольку автор вложил в нее часть своей души, отдал ей кусочек своей жизни. Автор этой книги, Лев Николаевич Иванов, шел к изданию своей книги всю жизнь. И очень радостно, что он успел ее увидеть, дожил до выхода в свет первого, сокращенного издания своих воспоминаний. Сейчас, в год шестидесятилетия Победы готово к печати наиболее полное издание книги с поэтичным и многозначительным названием «Когда я гостил на земле», и приятно, что томичи первые смогут прочесть эту книгу. Это и не удивительно – значительная часть записок связана с томской землей. Сегодня в преддверии великого праздника, большого юбилея победы особенно нужны такие книжки, позволяющие разным поколениям читателей почерпнуть из них что-то свое... Ровесники автора и прочие пожилые люди, заставшие описываемые времена будто вновь окунутся в прошлое. Старшие поколения смогут более ярко представить то, о чем много раз слышали от своих родителей и бабушек. А совсем юные, с трудом отличающие Великую отечественную от прочих войн, предыдущих и последующих, надеюсь, побольше узнают о ней и смогут лучше разобраться в родной истории. То, что повествование ведется от лица конкретного человека, чьи снимки можно увидеть в приложении, делает рассказ еще более убедительным.

Немало Томичей воевало на фронтах Великой Отечественной, многие из тех, что остались в живых, добились потом больших успехов, сделали военную карьеру, уехали из родного города, колеся по стране, как и полагается военным служащим. Зачастую это были люди, вошедшие в войну уже взрослыми, сформировавшимися людьми. Таким был и полковник Лев Николаевич Иванов, бывший наш земляк, впоследствии ставший москвичом. Он родился в деревне Батурина Томской области в январе 1920 года, в 1936 году поступил в Томскую артиллерийскую школу. Воевал с первых дней войны, командовал батареями

легендарных «Катюш». Бои под Москвой зимой 1941-го, Калининский фронт, тяжелые ранения в голову и в руку...Позднее он преподавал в ТАУ, московском училище реактивной артиллерии. Среди его военных наград – два ордена Красной Звезды, орден Красного знамени и Отечественной Войны 1 степени. Когда завершилась война, Лев Николаевич закончил две военные академии, работал старшим научным сотрудником академии имени Фрунзе. В отставку вышел в 1976 году и после этого еще долго работал в журнале «За рулем».

Выйдя на пенсию, Лев Николаевич, как и многие, начал писать воспоминания. Это множество небольших новелл, рассказывающих нам о разных страницах его жизни. Из них и сложилась книга «Когда я гостил на Земле». Впервые она вышла в свет в Томске в 2003 году, а до тех пор не одно десятилетие существовала в виде массивных томов, перепечатанных на машинке и переплетенных вручную. Изданием настоящей книги занималась племянница полковника Иванова, Татьяна Александровна Попова. Она – настоящая духовная наследница семейных традиций, бережно сохранила все оставшиеся от мамы архивы, семейные фотографии, старые документы и даже газеты...Побывав в Москве у Льва Николаевича, она взяла у него материалы книги и подготовила ее к печати. Тираж книги невелик, всего две сотни экземпляров, но она есть в главных библиотеках города, и из нее юные читатели могут узнать о том, как жили до войны в селах притомья, как мужали тогдашние мальчишки, какова была судьба сирот того времени...А вот у свидетелей тех событий книга может вызвать непрошенную слезу. Лев Иванов писал незатейливо, без прикрас, но, как говорится, жизненно.

Получив тираж своей первой книги в 83 года, Лев Николаевич был очень рад тому, что она все же была напечатана – приятно было увидеть ее возрожденную, современную, получить почти стостраничное чудо в синенькой обложке (дизайн ее, кстати, разработал сам автор) взамен машинописной рукописи с вклеенными копиями фотографий...

А он, несмотря на преклонный возраст и болезни, продолжал работать над записками. Сейчас в окончательном варианте книги более полусотни рассказов о разных эпизодах не только его долгой жизни, но и истории нашей страны... Они написаны живо и занимательно, повествуют о том, что близко многим. новелл Льва Николаевича о своей жизни. В первую книгу вошло лишь пять рассказов, и Татьяна Александровна за последние полтора года подготовила к выпуску второй и третий сборники.

Есть там и рассказы о войне – о годах учебы в артиллерийском училище, о первых боях, о службе на Дальнем Востоке. Они передают подлинную атмосферу того времени, читатель будто сам попадает в гущу событий.

А в 1952 году в Президиуме Академии Артиллерийских наук, в историческом здании на Арбате в Староконюшенном переулке, фронтовиков собрали для вручения наград – и юбилейных, и затерявшихся на фронтовых дорогах. Сам

Семен Михайлович Буденный, который вручал награды, снялся со всеми приглашенными на групповую фотографию. Этот снимок – ценная реликвия, что хранится в семейном архиве более полувека. Давно пора было сделать достоянием наших читателей эту редкую фотографию.

Вот уже почти год нет уже в живых Льва Иванова - он умер в конце апреля, не дожив каких-то недель до выхода в печать второй книги своих рассказов, не дождавшись любимого праздника – предъюбилейного Дня Победы. Закончились дни и года, когда он гостил на земле, и на память о его пребывании здесь осталась интересная и полезная книга. Все больше ветеранов уходят безвозвратно, многого не успев, не поведав, не рассказав. Лев Николаевич Иванов успел оставить хорошие мемуары. Новые издания книги Татьяна Александровна посвящает его памяти. Он хотел, чтоб люди будущих поколений прочли их и могли с их помощью лучше разобраться в давнем прошлом. В событиях века двадцатого, на который выпала и его долгая жизнь. Я не была знакома со Львом Николаевичем, о нем мне прекрасно рассказали его книги и конечно же, Татьяна Александровна. Она совершила большой труд, самоотверженный, бескорыстный и скромный. Подготовить к печати рукописи, часть которых не была даже перепечатана, набрать их вычитать и издать за свой счет – нелегкое дело. Татьяна Александровна и ее муж справились с этим делом, хотя и сами уже пожилые и не отличающиеся образцовым здоровьем люди. Поэтому я считаю без натяжки Татьяну Попову соавтором этой необычной книги, ибо без ее усилий читатели не увидели бы этого издания. Не у каждого в семье найдутся люди, способные так трепетно отнестись к творческому наследию предков. Если каждый внимательно просмотрит семейные архивы и вложит душу в то, чтоб они не канули в небытие, может, мы больше будем знать и о своей семье, и об истории в глобальном смысле слова.

Стремительно быстро уходят из жизни люди того поколения, что приняло на себя первые удары войны. Но еще среди нас последние из живых ветеранов. Если они есть рядом с вами, будьте к ним особенно внимательны не только в эти праздничные торжественные дни, но и все те дни и годы, что им еще остались. Выслушайте, запомните, расспросите еще раз. Если не успеть этого сейчас, потом придется пожалеть. Уходит, как льдина под воду, большой пласт прошлого, последние свидетели важных страниц нашей истории. Будущее рассудит, насколько ценны эти сведения. Наша задача их сохранить.

*Член Союза Журналистов России,
Корреспондент томской
областной газеты «Красное знамя»
Оксана Чайковская*



Март 2003 года

От автора

*Когда душе моей сойдет успокоение
С высоких после гроз немеркнущих небес.
Когда душе моей, внушая поклонение,
Идут стада дремать под ивовый навес,
Когда душе моей земная веет святость,
И полная река несет небесный свет, -
Мне грустно оттого, что знаю эту радость
Лишь только я один: друзей со мною нет...*

Николай Рубцов

В погожую летнюю пору, когда мне удавалось жить вдали от городского шума и суеты, я замечал, что незадолго до захода солнца наступает какая-то тихая благодать: листва едва колышется, с неба струится мягкий свет и все замирает. Природа как бы прислушивается к себе и тихо шепчет:

– Как все хорошо и ладно...

И человеку на склоне лет жизнь иногда дарит короткое, но прекрасное время, когда душа его успокаивается, и он чувствует потребность оглянуться и увидеть свое прошлое.

У меня сейчас именно такая счастливая пора: я спокоен, я повернулся к прошлому и внимательно всматриваюсь в него, стараясь вспомнить, понять и оценить, каким оно было. Но по мере того, как я все глубже вникал в суть прошлых событий, спокойная и удовлетворенная созерцательность незаметно сменилась сложными, часто горестными раздумьями: передо мной стали все резче очерчиваться былые трагедии народа. Порою я с тревогой думаю, что вот сейчас, когда у меня все хорошо, миллионы людей моего поколения погибли в те страшные времена.

Их так давно уже нет, что и вспоминать о них почти некому. Стали беспокоить и те эпизоды жизни, когда я был неправ.

Некоторые из них хотелось бы вычеркнуть из памяти, похоронить. Но это не в наших силах: прошлое раньше нас не умирает.

Великий Гете как-то сказал, что нет такого былого, о котором бы стоило печалиться. Однако в нашем былом столько трагического, что не печалиться о нем невозможно: душа болит по безвинно погибшим, разум вопиет, узнав всю правду о великой трагедии народа. От сознания столь позднего прозрения разрывается сердце. Я думаю, если бы Гете был моим современником, то он бы воскликнул:

- Боже, укрепи мой дух! Пусть бесконечная скорбь о чудовищных жертвах народа не лишит меня сил! Подвигни меня и впредь на дела во имя светлого будущего, во имя добра и справедливости.

В моем сознании огромное горе прошлой жизни не убило памяти о том, что было в ней хорошего. Я об этом хорошем никогда не забываю. Это поддерживает мое жизнелюбие и оптимизм, оберегает душу от очерствения, помогает сохранять веру в свои идеалы.

Я чувствую себя в постоянном долгу перед добрыми людьми и низко кланяюсь счастливым случайностям, пощадившим меня в критических ситуациях.

*...Словно палуба твердь заходила земная,
Ветром взрыва швырнуло меня к блиндажу..
Постепенно в себя приходит начинаю
С удивленьем на мир возвращенный гляжу.
Едкий дым расплзается в поле военном
Птицей мечется сердце в стесненной груди.
- Вроде вновь пронесло!
Я спасеньем обязан связисту:
Он упал у меня впереди..
До скончания веку я жизнью обязан
Человеку, который погиб впереди.*

Виктор Кочетков

Иногда я рассказывал о некоторых эпизодах из своего прошлого. Теперь я хочу рассказать по возможности обо всех событиях, достойных внимания. Рассказать подробно когда, что и как было. Но кому поведаешь о всей своей жизни? Поэтому я решил поговорить с самим собой. Так лучше: никого не обременишь, не будет вопросов и возражений, ни вообще суждений со стороны, которые бы помимо моей воли могли повлиять на описание и оценку минувшего. В моей памяти о былом и без того могут быть неточности, ибо память наша не безупречна.

Каждому покидающему гостеприимную землю, надо ответить на вечный как мир вопрос: как ты прожил жизнь?

Я на этот вопрос, по сути, отвечаю в этих книгах своих воспоминаний. Если коротко, то могу сказать так: старался жить достойно, принося пользу стране и людям, радуясь бытию и всему хорошему, что есть на земле.

Одним словом, стремился жить так, чтобы добрые люди вспоминали меня добрым словом.

Итак, моя жизнь, какой она была...

*Иванов Л.Н.
Март 1990 г.*

Глава 1

Моя родословная

*Род проходит и род приходит,
А земля пребывает вовеки.*

Екклезиаст

Каждый человек должен знать свою родословную. Знать историю рода – вовсе не значит как-то выделить его среди других. Просто каждый человек нуждается в живой нити памяти, которая тянется к нему от предков, и не забывает, из какой дальней дали течет его фамильный родник...

Жизнь близких нам людей не должна исчезать бесследно подобно потухшему во тьме светильнику. Родословная помогает сохранять память о прошедших поколениях, позволяет увидеть, какое место занимает каждый из рода на фамильном дереве жизни.

Историю рода Ивановых по линии отца и рода Ячmeneвых по линии матери мне пришлось восстанавливать по крупицам. Я так поздно стал этим заниматься, что и спросить было почти не у кого. Важной находкой оказалась написанная отцом автобиография, где он немного рассказывал о своем отце Илларионе, матери Анастасии и о себе. Помогли также знакомые мне с детства старые фотографии, которые сохранились у старшей сестры Таси в Томске. Кроме того, я много припомнил из того, что рассказывал мне отец о родне, о разных историях из своей жизни.

Очень хорошо знала историю Ивановых и Ячmeneвых Прасковья Матвеевна – жена старшего брата отца Ивана Илларионовича, погибшего во время гражданской войны в Сибири в 1918 году. Она была прирожденным фамильным историографом наших родов. Когда я подолгу гостил у них в Новосибирске, то не переставал удивляться, как она умело, в лицах изображала тех, о ком шла речь, и ярко, в деталях, описывала обстановку, в которой происходили события. Со мной она разговаривала, как с интересным собеседником, хотя я только молча слушал и лишь изредка задавал я вопросы.

Также много знал о нашей родословной Лев Иванович – мой старший двоюродный брат – сын Прасковьи Матвеевны. Когда он проездом на южные курорты, бывал у меня в Москве, я обычно расспрашивал его о нашей родне. Не задумываясь особо, он как-то нарисовал схему нашего родословного дерева. Эта схема потом мне очень пригодилась. Свои познания о нашей родословной он, конечно, почерпнул от своей матери – тетки Прасковьи.

Помню, как она в наших долгих разговорах, как бы между прочим, наставляла, каким я должен расти. Ее сын Лев был хорошим работником и человеком, но много пил, осложняя жизнь матери, жены Ани и дочери Лили.

– Ты должен стать настоящим человеком, – говорила она убежденно и немного сурово. Посмотри на всех Ивановых! Все рослые, работающие и красивые мужики! Большие мастера по кузнечному делу. А Михаил Ларивонич до инженера сам дошел. А вот пьянствуют, дома – горе одно. Уж лучше бы в десять раз меньше зарабатывали, да только не пили. Чуть что скажут жены – сразу отговорка: на свои деньги пьем и вы голодными не сидите. Уж, право, лучше жить впроголодь, чем без конца видеть пьяную рожу и постоянно ждать, какой новый фортель выкинет!

Чувствовало, видимо, сердце тетки Прасковьи, что приведет водка к беде. Но судьба ее пощадила: когда ее сын, будучи пьяным, совершит страшное преступление, то ее уже не будет на свете. Это было не так давно и об этом я расскажу в конце книги.

Что касается родословной Ячменевых – маминой родни, то ее я описал, вспоминая рассказы бабушки Степаниды, тетки Прасковьи, ее сына Льва Ивановича и моей старшей сестры Таси. Родословную Ячменевых я поместил в главе, посвященной Степаниде Григорьевне.

Дед мой Илларион Иванов и бабушка Анастасия – уроженцы России. Они были крепостными людьми графа Шереметьева. После отмены крепостного права, они, как и многие россияне, натерпевшись подневольной жизни, подались на вольные и благодатные земли Сибири. Обосновались они в довольно обжитой к тому времени Томской губернии.

Деревня Батурина, в которой они до наступления заморозков успели поставить небольшую избенку, находилась в Спасской волости Томского уезда в двадцати верстах от губернской столицы - города Томска.

Первые избы этой деревеньки поставил много раньше такой же российский переселенец Иван Батурин. Жители окрестных русских и татарских деревень называли эти первые избышки, притулившись к опушке дремучей тайги, заимкой Ивана Батурина. Позже, когда избы вытянулись по обе стороны вдоль тракта, заимку стали называть деревней Батурина.

В Томской губернии, как впрочем, и во многих других районах Сибири,

жило много русских переселенцев с рек Чала и Дон. Поэтому местные жители прозвали их чалдонами. Вообще русские люди, а сибиряки в особенности, – большие любители и мастаки давать прозвища. Так стали чалдонами и дед Илларион, и бабушка Анастасия, и все в большом роду.

Можно предположить, что мои предки были из малороссов, как в те времена называли украинцев. Дело в том, что мой отец, будучи навеселе, часто пел песенку с непонятными для меня словами:

*Хоп, мои гричаники,
Хоп, мои билы..*

Я его спрашивал, что такое гричаники? Он разводил руками и говорил, что все так поют. Украинского языка он не знал. Да я и не припомню за все свое детство, чтобы кто-то говорил на украинском языке, кроме одного случая, о котором я расскажу позже.

Как и все батуринские, дед и бабушка, пользуясь близостью большого города, выращивали на продажу огурцы и картофель. Хлеб сеяли только для себя.

Незадолго до Русско-Турецкой войны 1877-78 годов деда призвали в армию. Царствовал тогда Александр второй. Как рослого и сильного мужика, его определили в артиллерию. По прибытию к месту службы в артиллерийский полк его назначили подносчиком ядер в составе прислуги при тяжелой пушке.

Ядра были чугунными и часто имели неправильную форму и разные огрехи литья. Заметные на глаз выступы дед спиливал крупным напильником. После этого он проверял, проходит ли ядро через контрольное кольцо, которое называлось калибром. Ядра с большими дефектами он складывал отдельно, а на позиции зарывал в землю, для того, чтобы в пылу боя кто-либо из прислуги не схватил ядро, которое при зарядении застрянет в стволе.

Кроме монолитных чугунных ядер были и разрывные. Они назывались гранатами или бомбами, в зависимости от размера. Разрывных ядер было меньше, и они особенно ценились, т.к. наносили большие потери противнику.

Гранаты и бомбы имели внутри полость, заполненную порохом. К полости вело круглое отверстие, которое на снаряжательном заводе плотно заглушали пробкой. На позиции перед зарядением заглушку извлекали и вместо нее вставляли деревянную трубку, заполненную пороховой мякотью. Эта трубка играла роль запального бикфордова шнура: пороховая мякоть воспламенялась при выстреле, медленно горела, пока ядро летело к цели, и поджигала разрывной заряд гранаты, когда та была над головами неприятеля. Если разрывы гранат были очень высокими, то вставляли более длинные трубки. При взрыве гранат на земле использовали более короткие трубки.

Надо заметить, что уже в наше время дистанционные взрыватели долгое время именовали «трубками» и это слово фигурировало в командах артиллеристов.

В 1877 году началась одна из многих Русско-Турецких войн. Россия выступила на стороне балканских народов, поднявшихся на борьбу с турецким владычеством. Тогда нам сопутствовал успех: за полтора года боевых действий русские войска освободили от турецкого ига значительную часть Балканского полуострова, Южную Украину, Бессарабию, Крым, Черноморское побережье Кавказа, значительную часть Грузии и Армении.

Дед Илларион в составе артиллерийского полка участвовал в захвате и обороне Шипкинского перевала. Горячие были бои: не хватало боеприпасов, русские и болгарские солдаты страдали от недостатка воды. Лето выдалось сухое, а перевал проходил на большой высоте, где было мало источников.

Теперь на Шипке стоит памятник Свободе, сооруженный болгарами в честь совместной победы на Шипке. У этого памятника стоят стволы русских пушек, к одной из которых мой дед подносил ядра и гранаты более века тому назад.

В центре Москвы был сооружен памятник русским гренадерам, павшим в боях за свободу братьев-болгар. Он до сих пор поражает своей художественностью и искренностью. Его воздвигли однополчане и семьи погибших на свои средства...

В последнем сражении за перевал дед был ранен и контужен при взрыве турецкой бомбы.

Потянулись бесконечные дни по лазаретам и дорогам в далекую Россию и невероятно далекую Сибирь.

Однако, дед, хотя и стал инвалидом, сумел добраться до родной деревни. Встретила его жена Анастасия и односельчане, как пришельца с того света: уж очень редко возвращались тогда домой служивые люди. К тому же вернуться с такой далекой войны! Это крестьянскому воображению было просто непостижимо!

Как инвалид войны дед раз в год получал от казны небольшое (девять рублей) денежное пособие. Но семья росла, и сводить концы с концами становилось все труднее.

В это время строилась великая транссибирская железная дорога. Эта гигантская стройка велась практически без средств механизации. Главными орудиями были лом, кирка, лопата, тачка да опрокидывающаяся двуколка, запряженная мохнатой сибирской лошадкой. Многотысячную армию рабочих составляли крестьяне окружающих губерний и волостей.

Центром стройки был Ново-Николаевск. Там через полноводную широкую Обь строился небывалый по тем временам железнодорожный мост. Сварки

тогда не знали. Все конструкции моста были склепаны. Клепальщики были самыми видными фигурами среди других рабочих специальностей. От качества их работы зависела и долговечность моста. Кстати, этот мост надежно служит до сих пор.

Ушли на строительство моста и железной дороги (как тогда говорили «чугунки») и сыновья Иллариона: Алексей, Иван, Михаил, Яков и Афанасий. Впоследствии все они, кроме Михаила, стали кузнецами и жили главным образом в Ново-Николаевске (Новосибирске).

В 1888 году у деда Иллариона и бабушки Анастасии родился младший из всех братьев – Николай – мой отец.

Со временем деду и бабушке Анастасии стало не под силу выращивание огурцов и картошки для продажи в городе. Дед наловчился обжигать горшки, которые он продавал, развозя по окрестным деревням.

В 1892 году на Томск и значительную часть Томской губернии обрушилась эпидемия холеры. Тогда же от холеры умер дед Илларион. Пятилетний Николай остался один с матерью. Трудно сейчас сказать, почему взрослые сыновья Анастасии не помогли своей матери. Ведь все они хорошо зарабатывали на стройке.

Отец рассказывал, что они сильно бедствовали с матерью. Она была вынуждена отдавать его в наем к деревенским богатым боронить поля за пять копеек в день. По пахоте он едва успевал за лошадь, т.к. обут и одет был в обноски взрослых.

Прошло пять трудных лет. Отец подрос, и мать отдала его в Томск к колбаснику Фомину, где он работал два года за пропитание и одежду.

Главной его обязанностью в колбасной, рассказывал отец, было бегать за водкой и тайком проносить ее рабочим, которые бражничали на работе. Хозяин знал об этом и строго пресекал выпивки. Поймав отца с запретной покупкой, он отбирал воду и давал вдобавок хорошую оплеуху. Придя к рабочим без водки и без денег, он также получал тумачи за нерасторопность.

От Фомина отец ушел к кузнецу Зыкову, где также долго работал за еду и одежду. Работали с шести утра до десяти вечера. Затем Зыков, видя умение и прилежание молотобойца, положил ему десять рублей в месяц. Здесь отец приобрел специальность кузнеца, которой остался верен до конца жизни.

В 1901 году у отца умирает мать. Ничто уже не связывало отца ни с Томском, ни с Батуриной и он уезжает строить Кругобайкальскую железную дорогу.

Недалеко от Байкала, в Нижне-Удинске, тогда жил один из старших братьев отца – Афанасий Илларионович с женой Марией.

Детей у них не было, и они постоянно помогали младшему Николаю после смерти матери Анастасии. Вот они и позвали его на строительство железной дороги.

Первое время он работал на станции Слюдянка, а затем на станции Амурская. В 1904 году отец едет в Читу, где работает в железнодорожном депо. Здесь его застанут события первой русской революции 1905 года. В августе этого года в железнодорожных мастерских и депо создается вооруженная рабочая дружина, в которую вступил и мой отец. 24 ноября революционные рабочие освободили политических заключенных из тюрем Читы и Акатуя.

К декабрю численность рабочей дружины достигла четырех тысяч человек. Вскоре на всех производствах был установлен восьми часовой рабочий день и рабочий контроль.

Стала выходить большевистская газета «Забайкальский рабочий». Деятельность правительственных учреждений была парализована.

Читинский комитет РСДРП и Совет солдатских и казачьих депутатов объявили о создании Читинской Республики. Трудовой люд ликовал, добившись таких успехов в борьбе с царизмом, с несправедливостью и жестокой эксплуатацией. Но радость народа была короткой: разгромив декабрьское вооруженное восстание в Москве, царское правительство направляет против Читинской республики карательные отряды Рененкампа и Меллер-Закомельского. 22 января 1906 года они ворвались в город одновременно с двух сторон, и Читинская Республика пала. Тюрьмы вновь заполнились политзаключенными. Руководители Республики и ее активные деятели были повешены или расстреляны. У оставшихся на воле участников восстания власти отобрали паспорта и выдали белые билеты (в народе их называли волчьими билетами). Обладателю этого билета предписывалось в кратчайший срок прибыть к своему постоянному месту жительства, которое указывалось в билете. В пути разрешалось останавливаться лишь на станциях и в деревнях не более трех суток, чтобы заработать на следующий этап пути. Проживание в городах категорически запрещалось.

Такой билет получил и отец. Добравшись до Томска, он вновь пошел работать к кузнецу Зыкову, который ценил его как хорошего помощника. Вскоре волчий билет отец поменял на временный паспорт.

Вспоминая бурные дни Читинской Республики, отец рассказывал, как он ходил патрулировать с берданкой. Дружинники были вооружены в основном охотничьими ружьями, револьверами разных систем, включая мелкокалиберные дамские никелированные браунинги, которыми и муху то убить было нельзя. Народ удивлялся полному отсутствию вездесущих городских: они разбежались по домам и появлялись на людях только в гражданской одежде.

Пришло время призыва в царскую армию. Но отец имел льготу: в армии служили его старшие братья. Поэтому он был зачислен в ратники Ополчения первого разряда. Сохранилось свидетельство, выданное отцу в 1908г,

что он является ратником ополчения до 1932г. На удостоверении стоит гербовая печать, в центре которой изображен Георгиевский крест с вензелем Николая II и надписью «За Веру, Царя и Отечество». Не знал тогда писарь этого Присутствия, что в 1932 году уже не будет ни веры, ни царя, что останется лишь многострадальное Отечество, народу которого внушали, что он строит свое светлое будущее.

Но вместо позолоченного царского трона была воздвигнута величественная красная трибуна, на которую воссел восточный деспот со своими единомышленниками. Не знал бедный писарь, что к 1932 году его Родина покроется густой сетью лагерей смерти и человеческого унижения, в которых он и сам сгинет, как бывший военнослужащий царской армии. Не знал он того, что сотни и сотни тысяч тружеников будут названы кулаками и врагами народа и будут сосланы в сибирскую глухомань на съедение несметных полчищ болотных комаров и гнуса, на неизбежную смерть от голода и болезней. Не знал писарь, что кровь народная польется рекой от своей родной советской власти, что стон будет стоять над великой страной, что повиснет над ней черной тучей изувер Джугашвили и чудовищная машина ГПУ, страшные щупальца которого обовьются вокруг каждого человека. Никто не будет чувствовать себя в безопасности. Все будут испытывать постоянное чувство страха быть схваченным и уничтоженным.

Но все это будет позже. А пока еще доживала свои последние годы старая Россия с ее разлагающимся царским двором, где главными советниками русского царя были его жена-немка и проходимец Гришка Распутин. Злой рок неумолимо толкал великую страну к великой трагедии: она сбросит старого тирана и посадит себе на шею нового, неизмеримо более страшного и коварного...

Однако жизнь, как и река времени, течет без перерыва, и я возвращаюсь к рассказу о жизни моих родителей.

В 1909 году отец уезжает в Ново-Николаевск, где жили и работали кузнецами его старшие братья Алексей, Михаил и Яков. Там он вступает в товарищество «Сибирский мукомол» в качестве кузнеца и масленщика при паровой мельничной машине с окладом 25 рублей в месяц. Вскоре его назначили помощником машиниста и увеличили оклад вдвое.

В это время отец познакомился с молодой крестьянской девушкой – Татьяной Александровной Сизиковой – моей мамой. Она была из рода Ячменевых, которые жили в селе Вьюны, что стоит на берегу речки этого же названия и впадает в Обь примерно в 60-ти верстах ниже Ново-Николаевска.

В 1910 году молодые люди поженились, а через год у них родилась Тася – моя старшая сестра. Все складывалось у них хорошо. У главы семьи была

интересная и хорошо оплачиваемая работа. Он поставил себе цель быть вскоре машинистом паровой машины, что в те времена позволяло занимать видное место среди рабочего и служащего люда, а также сулило безбедную жизнь в быстро растущем городе.

Но все вдруг круто изменилось: отец получил сильную травму головы от удара болтами, которыми был свинчен мощный приводной ремень машины. В нарушении правил безопасности он не имел предохранительного ограждения. Оно было снято по распоряжению администрации, превратившей машинное отделение в дополнительный склад зерна. Суд определил администрацию виновной в произошедшем несчастии. Отца вылечили и выдали солидное единовременное пособие. Медицинская комиссия признала его инвалидом второй группы. На семейном совете с участием старших братьев было решено, что в городе теперь делать нечего. У него сильно болела голова, и работать, как прежде, он уже не мог. Все согласились с тем, что отец с мамой и годовалой Тасей, переедут в Батурину – родную деревню всех братьев Ивановых, что в положении отца было очень важно.

Приехали в Батурину. Встретили их деревенские приветливо, сочувствовали отцу. Они были довольны тем, что отец стал опытным кузнецом. Он умел ковать лошадей и ремонтировать такие сложные машины, как сеялки, веялки, сепараторы.

Временно их приютил Вершинин, который в детстве дружил с отцом. Как раз в это время продавался угловой пятистенный дом, стоявший против дома Вершинина. Отец купил его на полученное пособие по инвалидности. Этот дом до сих пор стоит и находится в прекрасном состоянии, благодаря старанию и умению его хозяев, с которыми я иногда переписываюсь.

Соседские мужики помогли отцу поставить хозяйство, а их жены советом и делом помогали маме по дому и уходу за годовалой Тасей.

Мама была общительной и доброй женщиной и потому в деревне ее быстро признали своей, а это так важно, когда люди живут в глухих деревеньках, где каждый знает друг друга.

Когда я, спустя более тридцати лет, приехал в Батурину, то провел несколько часов в кругу ее подруг и знакомых женщин, которые сбежали в наш дом, прослышав, что приехал «Танин младшенький».

Удивительно быстро разбегаются новости в деревне, удивительно доброжелательны ее жители к своим бывшим односельчанам.

У меня хранится напечатанный на машинке протокол, составленный в полицейском участке города Ново-Николаевска в связи с увечьем отца. Это очень любопытный документ является живым свидетелем того далекого времени. Я его привожу дословно.

ПРОТОКОЛ № 20

1912 года, января 15-ого дня в Закаменский полицейский участок г. Ново-Николаевска явился крестьянин Томской губернии и уезда, Спасской волости, д. Батурина Николай Илларионов Иванов, проживающий по ул. Гудимовской в доме №112, который словесно заявил следующее.

26 марта 1911 года он, Иванов, работая на мельнице «Сибирский мукомол» помощником машиниста, дал послеобеденный гудок и пошел в отхожее место. Назад возвращался через обоичное отделение, в котором было темно, т.к. окна отделения были завалены мешками с зерном. Между мешками оставался только узкий проход под низко нависшим приводным ремнем, оградительный футляр которого был снят. Он, Иванов, идя этим узким проходом, нагнулся под ремень, который был в действии, но выпрямился немного раньше времени, т.к. было темно. В результате стяжные винты приводного ремня нанесли ему поранение головы. Он, Иванов, был отправлен в больницу в бесчувственном состоянии. Позднее он лечился в клинике нервных и душевных болезней Императорского Томского Университета, из которого имеет свидетельство о тяжелом увечье. Он, Иванов, в течении десяти месяцев, находясь в болезненном состоянии, не мог заявить о случившемся полиции. Он, Иванов, в подтверждение своего заявления, просит допросить очевидцев и свидетелей происшествия.

Подписи: *Николай Илларионов Иванов*
Околоточный надзиратель Закаменского
участка г. Ново-Николаевска Кривцов

Опрошенный машинист мельницы – мещанин Московской губернии города Вереи Александр Федоров Калинин, проживающий при мельнице по ул. Фабричной, объяснил, что 26 марта 1911 года к нему заступил помощник машиниста Иванов. Через некоторое время к нему подбежал кочегар и сказал, что Иванова поранило приводным ремнем. Когда он, Калинин, пришел, то Иванова уже положили на телегу, чтобы везти в больницу. Лицо и голова Иванова были в крови. В обоичном отделении, где поранило Иванова, было темно, т.к. окна были завалены мешками. Много мешков лежало на полу. Под приводным ремнем был оставлен узкий проход. Ремень был без футляра и находился сравнительно с ростом человека низко. Иванов, как человек высокого роста, должен был сильно нагибаться. В настоящее время означенный приводной ремень находится на той же высоте, но только заключен в футляр.

Подпись: *Александр Калинин*

Опрошенный завальщик мельницы «Сибирский мукомол» – крестьянин Уфимской губернии, Бирского уезда, Андреевской волости Леонтий Андреев Вяткин, проживающий по улице Бийской в доме Куклина №45, объяснил, что 26 марта 1911 года он вместе с Ивановым зашел в обоичное отделение, сам стал засыпать пшеницу, а Иванов пошел в отхожее место. Минут через десять он, Вяткин, нашел Иванова лежащим под приводным ремнем в бессознательном состоянии и когда увидел кровь на голове Иванова и на полу под приводным ремнем, то понял, что Иванова поранило. Тут же он, Вяткин, известил других служащих, и Иванова отправили в больницу.

Управляющий мельницей Богатов по отправке Иванова велел кровь на полу смыть. В обоичном отделении в то время было много мешков с пшеницей, которые закрывали и окно, а потому в отделении было темно. Приводной ремень был низко и не имел футляра. Пол был завален мешками и проход оставался только под ремнем, который был скреплен железными накладками и болтами. Они и ушибли потерпевшего Иванова. Фуражка Иванова была найдена на мешках вверху, т.к. ее отбросило силой приводного ремня.

Подписи: *Леонтий Вяткин*

Околоточный надзиратель Кривцов

С Р О Ч Н О. Настоящее дознание препровождаю Господину Мировому Судье 5-го участка Томского уезда для привлечения управляющего мельницей «Сиб. Мукомол» К.И. Богатова к ответственности по 1494 статье Уложения о наказаниях.

Марта 16-го дня 1912года.

Пристав Закаменского участка г. Ново-Николаевска

Подпись: *Самарин*

Круглая печать с гербом Российской империи

Хочется сказать по этому поводу, что дело отца было быстро и без волокиты решено, и он получил денежное возмещение за свое увечье. А ведь он пришел в Закаменский участок полиции спустя почти год после этого печального события. Этот факт, а также и то, что отцу выдали на руки копию протокола, напечатанную вполне профессионально и грамотно, говорит о том, что уже тогда в Сибири местная администрация работала неплохо.

...Вскоре из Ново-Николаевска на подводах брат отца Яков и взрослый племянник Гриша – сын старшего брата Алексея. Они привезли отцу кузнечный мех, большие тиски и наиболее сложный кузнечный инструмент: клещи,

бородки, гладилки, гвоздильни, плашки, метчики. С их помощью, а также с помощью соседских мужиков, отец переделал большой сарай в просторную кузницу. Вход сделали с улицы, убрав часть заплота (заплот – глухой высокий забор из плах или горбылей).

Батуринские мужики ставили кузницу, как свою: не надо будет больше ездить за много верст к кузнецам в соседних деревнях.

Пришел момент, когда отец бросил в горн древесного угля, подложил под него сухих лучин, поджег их и стал слегка накачивать мех. Угли быстро разгорались и от них запылало жаром. Мама с Тасей на руках с радостью наблюдала, как разгорался огонь. Вдруг она воскликнула:

– Колюша, давай сварим картошку! Не пропадать же такому жару даром!

Отцу понравилась эта мысль, и вскоре в большом чугуне весело бурлила вода, а по кузнице пошел приятный домашний запах варившейся картошки.

Так, в новой кузнице отец начал не сковки гвоздя, а с картошки. Потом уже позже на моей памяти и в деревне, и позже в городе частенько рядом стоял законченный чугунок с каким-либо варевом.

Только после того, как появился дешевый каменный уголь, от которого шел отвратительный серный дух, чугунок из кузницы исчезли.

Помогали отцу в кузнице сами заказчики: качали мех, неумело били молотом за молотобойца, что-либо поддерживали. Постепенно работать в кузнице наловчилась и мама. Хлеб отец не сеял, но имел сенокос, т.к. вскоре купил лошадь Серко, а вскоре корову и овец. Отец особенно был рад коню. Его прежний хозяин был, видно не простой мужик: он обучил Серко многим интересным штукам. Например, если сильно закричать «Грабят!», то он понесет и потом его трудно остановить. А грабили тогда на дороге часто: по лесам шатались беглые каторжники, которых тогда называли варнаками.

В 1913 году родился второй ребенок – брат Миша. Жизнь родителей в Батуриной пошла своим чередом. Но не знали родители и никто в деревне, что над ними нависли черные тучи военной грозы: первого августа 1914 года Россия вступила в первую мировую войну. Много батуринских мужиков не вернется с этой всемирной бойни. Отец избежит окопов этой бесславной войны лишь как инвалид труда.

Затем будут события февраля и октября 1917 года, жестокая гражданская война и военная интервенция, которые не обойдут стороной и нашу деревеньку: уж очень близко она была к большому и важному Томску. Наконец, будет победа Советской власти в Томске и Томской губернии в декабре 1919 года, всего за несколько дней до моего рождения.

Глава 2

Деревня Батурина

Крещение

*Я вырос в хорошей деревне
Красивым — под скрип телег.*

.....
*Там нету домов до неба,
Там нету реки с баржой,
Но там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой!*

Николай Рубцов

1920 год, января 18 дня — дата моего рождения согласно выписке из книги регистрации новорожденных церкви д. Батуриной, Спасской волости, Томского уезда, Томской губернии.

Стояли ясные морозные дни нового двадцатого года, нового двадцатого века. Рядом расположенный Томск в эти дни праздновал свое освобождение от белогвардейцев и других контрреволюционеров. Кончилась братоубийственная война, и Сибирь жила надеждами на мирную, свободную жизнь.

Теперь, прожив жизнь, я могу без всяких «если бы» сказать, что она была счастливой. Я благодарен судьбе за каждый прожитый мною день, будь он светлый, черный или серый. Благоприятные обстоятельства, добрая воля близких и неблизких людей, интересная работа, хорошая семья, счастливые случайности и мои старания сделали ее до конца интересной.

Сейчас у меня покой и воля, что, по мнению поэта, есть синоним счастья для пожилого человека. Поэтому я все более склонен думать, что я не просто жил на земле, а гостил на ней, и она принимала меня как радушная хозяйка.

В то же время меня не покидают горькие думы о тех бедах, которые выпали на долю нашего поколения. В памяти вновь и вновь возникают жуткие картины насильственной коллективизации, приведшей к разрушению столетиями складывавшихся семейных родов и хозяйств, и высылке с родных мест в гиблые места миллионов людей. В итоге – нехватка продуктов питания в городах и голод в деревне. На Украине – житнице страны – вымирали целые деревни. Затем черная волна уничтожения лучших людей в руководстве страной, в науке, в армии, в народном хозяйстве, названных врагами народа. Их миллионы. Вскоре после этого чудовищные потери людей и материальных ценностей государства в трагический 1941 год и огромные потери в последующие годы долгой ожесточенной кровопролитной войны против Гитлеровской Германии. Наконец, миллионы наших соотечественников, уничтоженных фашистами в концентрационных лагерях, миллионы погибших на каторжных работах гитлеровского рейха.

Миллионы могил с крестами, со звездой, могил безымянных и безвестных, братских могил с обелисками и без них, просто братских ям в неведомых местах, тонны пепла из крематориев Майданека и других фабрик смерти! Я не перестаю ужасаться, подумав, сколько же людей погибло! Естественно так устроена жизнь - острота даже этих страшных потерь постепенно угасает. Но забыть этого нельзя!

*Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в твои леса и доли
Со всех сторон нагрянули они -
Иных времен татары и монголы.*

*Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России...*

Николай Рубцов

Я даже косвенно и отдаленно не повинен в гибели хотя бы одной души из этого безвинно погибших и безвременно ушедших людей, но я никогда не забывал и не забываю о том, что все мы, живущие сейчас, в неоплатном долгу перед ними.

Деревня Батурина, где я родился, и по сей день стоит на правом берегу прозрачно-голубой реки Томи. Ниже по реке раскинулся старинный сибирский город Томск. Жители нашей деревни с давних пор выращивали вкусные и пахучие огурцы, которые Томичи очень любили и называли «бату-

ринскими». Еще наша деревня славилась белокочанной капустой и рассыпчатой картошкой. Поэтому батуринские бабы и мужики были завсегдатаями городских базаров.

Когда по дороге из Томска мимо Басандайки едешь в Батурину, то с высокой горы, где дорога спускается вниз, открывается вид на бескрайнюю равнину правого низкого берега реки Томи. На переднем плане видны многочисленные дома большого села Коларово с высокой белокаменной церковью посередине. Верстах пяти за Коларово просматриваются постройки нашей деревни. Далее за Батуриной, почти на горизонте, среди деревьев виднеются домики села Вершинино, где находился наш сельсовет.

Я уже говорил, что в январе 1920 года, Томск праздновал восстановление советской власти в городе и во всей Томской губернии. Отец в это время болел тифом и лежал в Томской инфекционной больнице. Поэтому мама была подолгу в городе, оставляя меня и двухлетнюю Олю на попечение старшей девятилетней дочери Таси. Семилетний Миша по прежним деревенским меркам был взрослым пареньком и уже кое-что делал по хозяйству.

Мама ездила в город на санях, запрягая в них нашего коня Серко. Делала она это проворно и умеючи: в дороге у нее никогда не ослабевал супонь, гужи не сползали с оглобеля, а дуга и седелка не сбивались набок. Дорога в Томск к тому времени стала безопасной: банды были ликвидированы. Однако мама ездила только днем, т.к. стаи голодных волков и при новой власти разбойничали по ночам на дорогах.

Серко был любимцем нашей семьи. Обычно он свободно гулял по двору, и я часто подманивал его к окну на кухне кусочком хлеба. Брал он хлеб добрыми мягкими губами, на которых росли редкие жесткие волоски. Под полом в конюшне Серко жили маленькие зверьки, похожие на куницу. Это были ласки, которые питались мышами и другими мелкими грызунами. В этом смысле они были полезными. Но вреда от них было несравненно больше: по ночам они забирались в гриву Серко и так запутывали волосы, что расчесать ее потом было невозможно. Гриву приходилось отрезать, чтобы скомканные волосы не набивали холку под хомутом. Кроме того, ласки не давали Серко за ночь, как следует отдохнуть.

Эти шустрые ночные зверьки пользовались самой скверной репутацией у деревенских жителей. О них бытовали самые невероятные поверья. Вроде того, что они связаны с нечистой силой, которая и посылает их путать гривы лошадей и щекотать их по ночам.

Вторым по важности на дворе был черный гладкошерстный пес Моряк с белой звездочкой на груди и белыми кончиками лап. Моряк вел себя с большим достоинством и возможно считал себя на дворе первым. Он постоянно сидел на цепи под амбаром, стоящим на высоких стойках. На ночь его спускали на проволоку, высоко протянутую через весь двор от

ворот до заднего огорода. Случалось иногда, что Моряк становился вдруг мрачным и даже злобным. Отец говорил, что он может взбеситься, прилеплял к его носу кусочек вара и отпускал на волю, сняв ошейник. Считалось, что вар на носу позволяет собаке легче перенести бешенство. Моряк тотчас убегал куда-то за деревню в поля и бесследно исчезал. Примерно через две недели он возвращался домой здоровым и веселым. Он радостно прыгал на грудь то одному, то другому, норовя лизнуть в лицо. Все говорили, что собака в это время лечится травами и возвращается к хозяевам только тогда, когда почувствует себя совершенно здоровой. Видимо пес кроме травы ничего не ел, т.к. возвращался страшно истощенным: кожа да кости, как говорила мама. Возможно, он лечился не только травами, но и голодом.

Крестили меня дома. Время было смутное, и церковь не топили. Жители старались без особой нужды не выходить на улицу. Церковные служители, как и многие в деревне, уважали моего отца, и поэтому предложили исполнить этот обряд дома, в тепле. Батюшка принес большой медный крест, рясу и веничек, которым кропят ребенка при крещении. Пономарь приволок купель, похожую на глубокий таз. Мама хорошо натопила дом, приготовила угощение. Облачившись в ризу, батюшка приступил к делу...

Моим крестным отцом стал, гостивший у нас в ту пору, брат отца Михаил Илларионович. Потом, когда я подрос, меня заставляли называть его не дядя Миша, как его звал, а крестным. Но пересилить я себя не мог, чем выводил из себя бабушку Степаниду Григорьевну – мамину мать. Немного научившись грамоте, я решил написать дяде Мише письмо. Бабушка тут как тут:

– Пиши: «Здравствуй, дорогой крестный!».

Я согласно киваю и пишу: «Здравствуй, дорогой Хренный!».

Никто не стал проверять мои каракули и письмо ушло в Новосибирск. Вскоре я получил ответ. Дядя Миша благодарил меня за письмо, приглашал на лето погостить к себе. Написал он и о том, как я его назвал и как это слово следует писать. Дядя Миша был образованным человеком и требовал соблюдения условностей в обращении. С той поры у нас дома при мне дядю Мишу называли только «Хренным».

Женщины для исполнения роли крестной матери тогда под рукой не оказалось, и батюшка великодушно разрешил быть крестной моей старшей сестре Тасе, которой тогда было десять лет.

Стал вопрос как меня назвать. И тут, я считаю, мне не повезло. К тому времени у дяди Миши был годовалый сыночек, которого звали Львом. Был Лев и у старшего брата Ивана Илларионовича, который погиб два года назад во время крестьянских волнений в Кольвани и его жена тетка Прасковья воспитывала сына одна. Поэтому братья порешили, а мама согласилась назвать меня Львом, чтобы и у младшего из братьев Ивановых был свой Лев.

Замечу, что в святцах для родившихся в январе мальчиков, среди других имен русская церковь рекомендует и это имя. Однако имя Лев, на мой взгляд, для русского человека вовсе не годится, и мне оно никогда не нравилось. В детстве ребяташки сочиняли разные неприятные дразнилки. Когда мы приехали в Томск, то мои новые приятели весело кричали: «Лев загрыз собаку, собака съела Льва». Складно, но не обидно. Надо сказать, что отец редко меня называл Львом. Чаще звал Ипатом, особенно, когда был в хорошем настроении. В Сибири вообще парни и мужики часто называли друг друга совсем другим именем. За глаза было только прозвище. Я эту сибирскую привычку переименовывать имя так же усвоил, и многих своих друзей называл Васей. По этой причине был такой курьез. Как-то мы сидели большой компанией, где был и Володя — брат моей жены Милы. Володя был со своей подругой сердца. В разгар веселья я по привычке обратился к Володе, назвав его Васей. Володя привычно откликнулся на это имя. Сидевшая рядом подруга изменилась в лице, незаметно взяла его за руку и повела в другую комнату объясняться... Володя потом рассказывал, что пришлось показывать удостоверение личности.

Хочется рассказать о зыбках, в которых качали меня и других батуриных младенцев. В те времена в своих тесных избах сибиряки не ставили детских кроваток. Они подвешивали младенцев в зыбках, которые не занимали места. Зыбки укреплялись на конце гибкого шеста — очепа, укрепленного к брусу полатей. Эти детали внутреннего обустройства сибирской избы перечисляются в иронической присказке, высмеивающей того, кто строит несбыточные планы далекой поездки: «поедешь с печи на полати, а по брусу домой». Позже в городах стали изготавливать большие пружины для зыбок, которые крепились на крюке, ввернутым в потолок. В отличие от кроваток, зыбку можно было легко и быстро сделать самому, обтянув мешковиной рамку из четырех палок и, подыскав сухой тонкий шест для очепа. К зыбке обычно привязывалась веревка с петлей на конце, в которую женщины вставляли ногу, раскачивая малыша. Руки их были свободны для другой работы, которая всегда находилась в избе с утра до темна.

Зыбка была удобна и в том случае, когда ребенок намокал: достаточно потереть пол под зыбкой - и все дела. Никакой возни с пеленками, которые в зыбке и сами быстро высохнут. Зыбка имела еще одно ценное свойство: ребенка в ней можно было качать, как из стороны в сторону, так и вертикально сверху вниз. При вертикальном раскачивании ребенок быстро успокаивался под воздействием ритмичной смены невесомости в верхней точке и перегрузки в нижней. Когда ребенок засыпал, его потихоньку раскачивали из стороны в сторону, поддерживая его сон. Если ребенка не с кем было оставить дома, и мать была вынуждена брать его с собой в поле или еще куда, то для быстрого и надежного усыпления, она совала ему в рот «жовку» — завернутый в тряпочку разжеванный мак. Хотя сибирский мак совсем не тот,

что на юге, но для ребенка было достаточно и той мизерной доли наркотика, который в нем все же есть. Как видим, уже в те далекие времена на ребенка воздействовали и невесомостью, и перегрузками, и наркотиком.

В Батуриной я прожил только до пяти с половиной лет, и в памяти моей она осталась в пределах досягаемости деревенских ребятишек моего возраста. Деревня представляла собою два ряда домов, протянувшихся вдоль дороги. Еще два ряда домов шли вдоль переулка, который в одну сторону вел к Томи, а в другую — к низенькой деревянной церкви и далее к кладбищу на крутой и высокой горе, за которой уже начиналась тайга.

Наш дом стоял и стоит сейчас на углу пересечения улицы и переулка. Против нашего дома стояла покосившаяся избенка рыжего мужичка Лобанова. Единственная комната в этом ветхом жилище была настолько мала, что ребятишки постоянно сидели на полатах. Когда мы с Олей бежали к Лобановым поиграть — это значило, что мы идем сидеть на полатах, точнее лежать, т.к. сидеть было нельзя: мешал потолок.

Макар и Орина

На противоположном углу от нас стояла небольшая изба деда Макара. Она была срублена из могучих лиственниц, видимо, еще первыми батуринскими жителями: бревна нижних венцов покрылись зеленым мхом, а сама изба заметно осела и скособочилась. Дед Макар был скор на ногу и на руку, не лез в карман за словом, слыл среди деревенских великим краснобаем и любителем почудить на людях.

Вот он сидит у себя дома на лавке рядом с бочкой воды, опершись на ее крышку локтем, и кричит:

— Орина, напой!

Бессловесная, но не по годам подвижная старушка Орина, жена деда Макара, привычно подходит к бочке и ласково говорит:

— Позволь, Макарушка!

Дед важно, как бы досадуя, что его беспричинно беспокоят, убирает локоть. Орина открывает крышку, зачерпывает ковшом воду и подает его деду со словами:

— Изволь, Макарушка!

Хотя все в деревне уже наизусть знали эту наивную сценку, старики ее повторяли при каждом удобном случае. Тогда мы называли соседа Макара

дедом, а ему, наверное, было не более пятидесяти. Дело в том, что все мужики тогда носили усы и бороды и с малолетства тяжело работали. Изнурительная работа и тяжелые бытовые условия быстро старили людей и поэтому старики тогда были молодыми. Недаром дед Макар любил петь озорные частушки, вроде таких:

*Пропьем сестру, прогуляем брата:
Мы надеемся на то — бабушка брюхата...*

Частушки дед Макар обычно пел под свою старенькую гармошку с малиновым мехом. Гармошка была незатейливой однорядной с колокольчиками. На уголках меха поблескивали металлические накладки. Но некоторые уже отскочили, углы меха размохрились и из них посвистывал воздух. Веселой натуре Макара было мало пения и игры, и он то и дело вскакивал со скамейки и быстро ходил по кругу, приплясывая и выделявая замысловатые коленца. В паузах между частушками Макар продолжал играть, подерживая музыкальный такт бесконечным повтором:

*Гри пути-пути-пути-пути...
Гри пути-пути-пути-пути-пути...*

Уставши, дед Макар обычно выкрикивал:

– Орина! Поддержи!

Орина застенчиво улыбалась, шла от шестка на круг, спрятав под фартук изуродованные еще в детстве руки.

– Ты, Макарушка, мил дружок, мне подыграй, а я спою, — и она, не ожидая мелодии, сразу начинала:

*Калинушка да с малинушкой
Раным-рано расцвела.
На ту пору-времячко
Мать дочь родила.
Споила, вскормила,
Замуж отдала.
Я на свою маменьку
Ой-да осердилася:
Я ко своей маменьке
Три года не приду:*

На четвертый годочек
Пташкой прилечу,
Сяду во зелен сад,
Тоскою- кручиною
Весь сад осушу,
Слезами горючими
Речку пропушу.
Матушка по сеням похаживает,
Невестушек-лапушек побуживает:
“Встаньте вы, невестушки,
Лапушки мои!
Што у нас за пташечка
Во саду поет?
Где же эта пташечка
Прицеты берет?”
Первый братец сказал:
“Пойду, посмотрю.”
Другой братец сказал:
“Пойду, застрелю.”
Третий братец сказал:
“Пойду, приведу,
За стол посажу.
Стану ее нежить,
Ласкать, целовать:
Это наше дитячко
С чужой стороны! ...”

Орина пела славно, с большим чувством, медленно двигаясь по кругу и не замечая никого и ничего. Все молчали, замороженные словами песни, и тем как Орина пела. Даже не любивший длиннот Макар терпеливо выводил мелодию песни, резко нажимая на меха, когда Орина делала повторы. Вот кончилась грустная песня, и Макар вновь ведет веселье по знакомой ему торной дорожке.

Если Макар собрался что-либо сделать по дому, то соседи об этом знали задолго. Не было другого дела, они шли к Макару помочь или просто посидеть и послушать этого веселого человека. Помнится, как Макар перекладывал трубу на своей избушке, кирпичи которой разъехались в

стороны, а некоторые давно валялись на замшелой тесовой крыше. Работа эта нехитрая, всем известная. Но Макар делает ее легко, с шутками да прибаутками. Макар чувствует себя на сцене, а мы – словно зрители в самодеятельном театре. Дед замешивает глину в помятом ведре. Долго крутит в нем палкой, пока не получается тягучий как сметана раствор.

– Сам бы ел, да деньги надо! – восклицает Макар, показывая, как глина медленно стекает с поднятой мешалки в ведро. Потом он приставляет к избушке сколоченную из тонких жердей лестницу и, кряхтя и причитая, лезет к развалившейся трубе. Там он разбирает остатки трубы, чистит мастерком кирпичи, не переставая смешить своих слушателей. Сложив первый ряд, дед кричит своему сыну, сидящему с нами внизу:

– Вань. Ванька!

Небольшого росточка мужичок с босыми ногами и в длинной холщовой рубахе без подпояски откликается, задирая вверх нечесаную голову:

– Чо, тять?

– Подай ишшо струменту!

– Какого, тять?

– Воды! Не знаешь, чо ли!

Иван понимающе улыбается, зачерпывает поганым туюском воду из бочки для полива огорода и лезет с ним по лесенке на крышу...

Огненные глаза домового деревенские воспоминания

Из моих детских воспоминаний ярко высвечивается пожарная машина, купленная батуринскими жителями вскладчину, которая стояла недалеко от церкви под специально сделанным для нее навесом. Рядом с навесом на столбе с перекладиной висел кусок рельса, в который били, собирая жителей на сход или еще по какой срочной надобности.

Сразу за околицей начинались посевы, а за ними шли заливные луга с возвышенностями- гривами и заболоченными низинками - еланями. На этих лугах были покосы. За покосами начиналось мелколесье, которое постепенно переходило в тайгу. Темневшая вдали тайга, где хозяйничало зверье, как и незнакомый мне Томск, в противоположной стороне, были для меня одинаково чуждыми и вызывали тревогу.

Чтобы деревенский скот не потравил посевы и не уходил далеко, деревня по околице была обнесена сплошной изгородью из жердей. Крестьяне эту изгородь образно называли поскотиной. В местах, где поскотина пересекала дороги, сделаны жердяные ворота, которые в летнюю пору всегда закрыты. Каждому хозяину отводился свой участок поскотины, который он был обязан держать в исправности. Я несколько раз помогал отцу ремонтировать наш участок. Наиболее тяжелой была замена подгнивших кольев новыми. Делалось это без лопаты или кувалды: заостренный кол загоняли в землю, раскачивали, поднимали и снова сильным ударом загоняли его еще глубже в землю. Чтобы земля была податливой, надо было тонкой струйкой лить воду из чайника в образовавшуюся лунку. Это делал я, вихрем летая на речку Икунину, когда чайник опорожнялся. Вот отец с силой втыкает кол в лунку. Из нее фонтаном вылетает жидкая грязь. Домой мы возвращались страшно перепачканными.

Более грязных мужиков я видел только однажды, когда мы с отцом ездили за древесным углем к углежогам, которые работали в тайге верстах в десяти от нашей деревни. Там заготавливали дрова. Оставшиеся пни углежог выкорчевывали, свозили в огромные кучи и засыпали землей, оставив наверху дымоход, наподобие жерла вулкана. Затем пни поджигали, и они медленно горели, тлели без пламени. Снизу по лоткам вытекал деготь, если пни были березовыми, или смола, если пни были от хвойных деревьев.

Дегтем мазали оси телег, сбрую, сапоги, а смолой — лодки, сваи и другие деревянные изделия, защищая их от гниения. Когда куча прогорала,

землю убирали. Вместо пней громоздились страшные чудища из угля. Мужики крушили их тяжелыми дубинками на мелкие куски. Получившийся древесный уголь они ссыпали в большие плетеные короба. С наступлением санного пути их везли в Томск, где его продавали кузнецам для горнов и горожанам для каминов, печек, самоваров и утюгов.

Когда углежогои дробили обуглившиеся пни, то напоминали выходцев из преисподней: на совершенно черном лице были видны лишь глаза и рот. Труден был их хлеб и добывали они его истинно в поте лица своего...

Самыми радостными событиями моего деревенского детства в те далекие времена были поездки на сенокос, по жерди, по шишки, грибы и ягоды. Как только начинались сборы, Моряк жалобно повизгивал, бегал под амбаром взад и вперед, рвался с цепи. Но ошейник с него снимали только после того, как мы выезжали за ворота: иначе он не давал ничего делать, мешая своей суетой и радостным лаем. Спущенный с цепи, он вихрем вылетал на улицу и занимал свое место перед лошадьёю. У ворот поскотины подвода останавливалась. Я бежал вместе с Мишей открывать и закрывать ворота. Моряк привычно поливал колья изгороди, а потом с деловитым видом принимался что-то выцарапывать из травы. В действительности пес нервничал и старался это скрыть. Дело было в том, что Моряк всегда бежал впереди и заметно гордился тем, что Серко и едущие на подводе следуют за ним. Но собака знала, что вскоре за поскотиной будет развилка дорог, где конь мог свернуть направо, если ехали на Лысую Гриву, или налево, если ехали на Тарганак. Моряк нашел достойный выход из этой щепетильной ситуации и никогда не ставил себя в такое положение, при котором Серко и ехавшие на подводе заметили бы, что он не знает куда бежать. Он останавливался в том месте развилки, откуда еще можно было бежать и в ту, и в другую сторону, не вызывая подозрений, что он не знает дороги. Остановившись в этой спасительной точке он делал вид, что нюхает землю, кося при этом внимательные глаза на мелькающие копыта Серко. Как только он понимал, куда они направляются, тотчас поднимал голову и, как ни в чем ни бывало, бежал вперед, набирая привычную дистанцию.

Интересно было смотреть, как Моряк делал запасы еды. Редко, но случалось, когда он наедался досыта, а в корытце оставались еще хорошие кости. Тогда он их вытаскивал и относил в сторону насколько позволяла цепь. Затем рыл передними лапами глубокую ямку, клал туда кость и... зарывал ее носом. Работал он своим носом как поросенок пяточком. Меня это очень удивило, когда я увидел это впервые.

Я привык к тому, что наш кот Василий, выйдя во двор по большой нужде, отыскивал рыхлую землю, деловито рыл в ней ямку. Сделав свои дела, он старательно зарывал ее опять лапкой. Моряк же рыл ямку лапкой,

а зарывал носом. Это меня очень сместило. Казалось бы, что проще: зарыть яму лапой – быстрее и надежней. Но нет, зарывал только носом. Видимо, из уважения к тому, что зарывал.

Со временем я совершенно забыл об этом своем детском наблюдении. Но как-то совсем недавно вновь увидел, как собака прятала кусок хлеба про запас, зарывая его носом. Снова мне было смешно, и я невольно вспомнил нашего Моряка и как он прятал кости на черный день.

Интересно было смотреть, как ложился Моряк, когда на улице было холодно. На облюбованном месте он начинал крутиться, как бы догоняя свой хвост. Сделав несколько оборотов, он ложился калачиком, прикрыв нос хвостом. Другим манером ложился Трезор – наша вторая собака. У него была длинная густая шерсть (со спины он напоминал овцу), а потому не мерз в сильные морозы. Собравшись подремать, он никогда не крутился, а спокойно ложился на снег и сворачивался кольцом, как это делают северные ездовые собаки.

Как-то совсем недавно я был у своих знакомых на подмосковной даче. День был жарким. Зайдя в дом, я увидел забавную сценку: собаки Даша и Лайма спали рядышком, лежа на спине и широко разбросив лапы по сторонам... Лена и Боря – хозяева и великие любители собак и кошек – пояснили, видя мое немалое удивление:

– В жаркое время они всегда спят на спине. Так им прохладнее. Такое могут позволить только домашние собаки.

Внутренне рассмеявшись, я представил себе этих двух представительниц слабого собачьего пола спящими зимой под нашим батуриным амбаром на спине. Но вернусь к Моряку.

Печальным был конец у этого хорошего пса. По какой-то причине он стал выть по ночам. Мама сильно забеспокоилась, чаще стала подходить к нему и ласкать. Мы стали лучше кормить его. Но Моряк продолжал свои волчьи ночные песни, накликаая беду на свою голову. Однажды отец с заказчиками долго «обмывали» в кузнице что-то сделанное отцом и он лег спать пьяным. Услышав ночью долгий, леденящий вой Моряка, отец вскочил с кровати, схватил со стены двустволку и застрелил беднягу прямо на цепи под амбаром. Утром мы с Мишей сняли ошейник с Моряка, взяли его за передние лапы и оттащили за баню. Там Миша вырыл яму, в которую и зарыл Моряка. Я старался не плакать, т.к. Миша был невозмутим и спокоен. Можно было подумать, что он ежедневно зарывал убитых собак. Меня резко одернул, когда я, забывшись, слегка заревел.

Удивительно, но Миша был любителем расправляться с животинкой. Если надо было зарезать курицу или утопить лишних котят, то отец поручал это дело Мише со словами:

– Иди, отнеси бабушке...

На их условном языке это означало “отправить на тот свет”.

Курице он обычно отрубал голову и бросал на землю, чтобы посмотреть, как она, хлопая крыльями, бегаёт жуткими бессмысленными зигзагами. Недаром о бестолково суетящихся людях говорят: носятся как безголовые куры.

После смерти Моряка в доме долго стояла напряжённая тишина. Двор осиротел. Все об этом думали, но молчали. Наконец, отец привез откуда-то совсем молодую черную собачку. Это был Трезор. В отличие от гладкошерстного Моряка он был невероятно кудлатым и видел только потому, что мы постоянно выстригали ему волосы вокруг глаз. Когда отец продал дом в деревне, Трезор плыл с нами на плоту в Томск и ещё много лет жил в городе.

Рассказывая о деревне, нельзя обойти нашу речку Икунину, которая вытекала из небольшого озера под горой и, петляя, бежала к Томи отдать свою родниковую воду. Название речки созвучно с названием деревни и фамилиями попа Бартунова и пономаря Свистунова. Поэтому деревенские рифмоплеты пустили в ход четверостишие:

*Деревня Батурина,
Речка Икунина.
Поп Бартун,
Пономарь Свистун.*

Самое интересное место на Икуниной было около деревянного мостика на четырёх сваях. Этот мостик был границей моих владений, если бежать по улице в сторону города. Здесь я часто подолгу ждал, когда зазвенит знакомый поддужный колокольчик, и я увижу Серко, запряжённого в долгушку с плетёным кузовком, на которой отец и мама обычно ездили в город.

Центром притяжения для голопузой ребятни были довольно глубокие омутки, вымытые быстрой водой у мостовых опор. В них деревенские бабы обычно мочили разошедшиеся бочки и кадушки, а мы плескались, проводя теплые летние дни в веселых забавах.

Описывая Сибирь, обычно принято рассказывать о её суровых зимах с сорокоградусными морозами. Но сибирское лето! Какое это замечательное время: долго стоит теплая сухая погода – ведро, как говорили тогда сибиряки. Солнышко жаркое, ласковое. В воздухе неповторимый запах разнотравья. Жаркие солнечные дни обычно заканчиваются тихими теплыми светлыми вечерами.

*Идут погожие, июньские деньки
В своей нетленной синенькой рубашке...
Николай Рубцов*

Местами в размытых вешними водами берегах речки выступали слои ярко синей глины, которая напоминала размокшее мыло. Крестьяне мыли ею руки, а мы измазывали себе все лицо и тело. В своих росписях мы не повторяли индейские или африканские маски: мир для меня и моих сверстников был ограничен обыденной жизнью глухой деревушки, которая ничего этого не знала. Поэтому мы подрисовали себе лишь привычные усы, бороды, да морщины на лице. Вообще же мы старались вымазаться до неузнаваемости, подражая взрослым ряженым на деревенских праздниках.

Большой помехой для нас, ребятишек, были речные пиявки, которых мы очень боялись. Но особый страх нам внушали «живые волосы», которые, как все считали, могут быстро и незаметно впиться в человека. Эти змееподобные существа быстро плавали, извиваясь своим очень тонким телом. Деревенские считали, что это конские волосы, ставшие живыми от долгого лежания в воде.

Много-много лет спустя я как-то был под Ленинградом и купался в реке Сестре. Там я вновь увидел эти мерзкие существа, которые быстро плавали между крупных камней, прижимаясь к самому дну. Вновь я испытал неприязнь к этим тонким черным змейкам. В то же время в душе всколыхнулись родные образы речушки моего детства, которая теперь текла в таких далеких и, казалось, нереальных краях...

В деревне против нашего дома жили Лобановы. С лобановскими ребятишками – нашими одноклассниками – мы с Олей играли чаще всего. Когда наступали ненастье и холода, деревенская ребятня сидела безвылазно дома за неимением обуви и одежды. Когда взрослых не было дома, Лобановские ребятишки и мы с Олей начинали отчаянно маячить в окнах: мы звали их к себе, они звали к себе. Наконец, какая-либо из сторон не выдерживала, и, голоушими и босыми, по холодной грязи или даже по снегу, вихрем перебежали дорогу и тотчас забирались на полати отогреваться.

Накануне «переворота» Лобанов – рыжий суетливый мужичок – затеял строительство новой избы: старая избышка по одному окошку на сторону совсем пришла в негодность. Но до бурных событий 1917–1920 годов он успел поставить только сруб, который потом долгие годы маячил у нас перед глазами, пугая в темноте своей необжитостью.

Миша нарочно усиливал мои страхи, утверждая, по вечерам он видит горящие глаза домового то в одном, то в другом оконном проеме. На мой вопрос, почему я не вижу домового, он отвечал, что я не туда смотрю. Мне очень хотелось увидеть хозяина Лобановского дома и я часто с наступлением сумерек упирался лбом в стекла окна и пристально вглядывался в жутковатые оконные проемы заброшенного сруба. Наконец, я увидел эти страшные огненные глаза домового, которые отчетливо помню до сих пор...

Не случайно люди иногда так привыкают к разного рода небылицами своей жизни, что вспоминают и рассказывают о них как о реальных событиях.

Деревенское кладбище

Удивительное кладбище в нашей деревне. Оно спряталось в березовой роще на плоской вершине высокой горы с крутыми овражистыми склонами. Узким перешейком эта гора соединяется с таким же высоким коренным берегом Томи. Выбрали это место наши батуринские предки, видимо, не желая занимать пахотные земли в низине. Кроме того, деревню и окрестные поля весной изредка топило. Этой части кладбище на горе избегало.

В 1957 году спустя более тридцати лет после нашего переселения в Томск я посетил родные места. Обошел всю деревню, нашел памятные с детства старые дома и постройки. Поговорил со старожилками, которые помнили еще нашу семью и были рады встрече. Поднялся и на кладбищенскую гору. Кладбище я застал в ужасающем беспорядке: повсюду повалившиеся полусгнившие кресты, многие могилы можно различить лишь по заросшим бурьяном холмиком. Немногочисленные каменные надгробия, поставленные в прежние времена, сброшены под гору. Там они лежат в густом чертополохе как валуны, оставшиеся от ледника забвения и беспамятства. Были и свежие могилы со стандартными оградками и крестами, сделанными электросварщиками. Но расположены они были как попало, вовсе не вписываясь в издревле принятый порядок захоронения на сельских кладбищах. По сохранившемуся чудом «фамильному камню», о котором мне много раз рассказывал отец, я нашел могилу своего деда Иллариона Иванова и бабушки Анастасии.

Невольно я стал размышлять о причинах заброшенности и неухоженности наших деревенских кладбищ. Много, конечно, объясняется нашей бедностью. Но ведь в старое время и деревенский народ ставил каменные кресты и памятники и соблюдал порядок на кладбищах. Главная причина этого печального обстоятельства, мне кажется, кроется в тех социальных потрясениях, которые выпали на долю русских деревень с начала этого столетия. Сперва грянула русско-японская, а потом Первая мировая война. За Первой мировой потянулась долгая гражданская война. Миллионы и миллионы деревенских парней и мужиков сложили свои головы бог весть где, оставшись лежать на чужбине в бесчисленных братских могилах. Потом произошли великие потрясения 1929-1938 годов, также сорвавшие с родных мест миллионы крестьян и лишившие возможности быть похороненными у себя на родине. Ну, а за всеми этими бедами обрушилась трагедия Великой Отечественной войны, которая выкосила не менее трети жителей каждого села и поселка.

Деревни повсеместно пришли в упадок, и оставшимся в живых было не до

мертвых. Ко всему этому яростная борьба с религией в первые годы после революции, привела к разрушению веками выработанных канонов и обрядов погребения. Отделенная от государства церковь уже не заботилась о кладбищах. Новым же властям не до похорон своих односельчан. Для них они перестали быть Иванами, Михаилами, Николаями, а стали кулаками, середняками, бедняками, колхозниками. Надо было вовремя раскулачить, осудить, отобрать имущество, сослать. К тому же новые власти не знали, как следует поступать с канувшими в Лету при новом строе: не было инструкций, какими должны быть новые обряды.

Ко всему этому надо добавить неистребимую наклонность молодежи (вследствие невоспитанности) бить и крушить направо и налево все, что можно разбить и сокрушить безнаказанно. Это они изуродовали на наших кладбищах старинные памятники и надгробия, многие из которых являли собой произведение искусства.

Кладбище, кладбище... Последнее пристанище человека...

Немного ты можешь рассказать о тех, кто здесь лежит, но много говоришь о тех, кто их похоронил. По тому, как содержится кладбище, можно точно сказать, как обстоят дела у живущих...

*...В тумане смутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.
И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во тьме родного края,
Что я хотел упасть и умереть,
И обнимать ромашки, умирая...
Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня пронесит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!
Когда-ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой-же белой горестной рубашке...*

Николай Рубцов.

Купол звездного неба

*Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом,
Горит, горит звезда моих полей...*

Николай Рубцов

В конце лета 1924 года стояла теплая погода. Дождей давно не было. Отец с моим старшим братом Мишей собрались в урочище Тарганак по жерди. Это довольно далеко от деревни, а мне еще нет и пяти. Поэтому отец сказал маме, чтобы она увела меня в огород, находившейся на заднем дворе за стенами конюшни и глухим заплотом из горбылей, чтобы я не увязался за ними. В это время он быстро запряг Серко в дроги и уже собирался выехать со двора. Я почувствовал неладное и, бросив огородные дела, кинулся к дому. И во время: Миша еще не успел открыть ворота.

Я быстро устроился на дрогах, предвкушая удовольствие дальней поездки, да еще на дрогах! Они плавно качают даже на ухабистой дороге, где телега, по выражению мамы, всю душу вытрясет. Выехали на улицу. Миша закрыл ворота, подошел к отцу, сидевшему впереди, и они, смеясь, о чем-то поговорили.

Отец тронул Серко. Тут Миша спрашивает меня:

— Ленька (он звал меня всегда только Ленькой), а куда ты будешь собирать землянику?

Я быстро понял свою оплошность. Когда отец остановил Серко, я мигом соскочил с дрог и опрометью кинулся в дом. Схватил кружку, в которую всегда собирал ягоды, и выбежал за ворота... Но наших и след простыл: вдали за покотиной виднелось лишь относимое ветром облачко дорожной пыли...

Мне показалось, что солнце погасло и рухнуло небо. Я залился горькими слезами и побежал к маме. Это была первая большая обида в моей жизни.

Тем же летом отец все же взял меня с собой в поле косить траву на Лысой Гриве. Она заметно возвышалась среди бескрайних просторов заливных лугов по берегам Томи. Крестьяне ценили этот покос за высокий и пахучий травостой.

Запахи сибирских трав! Их по-настоящему ценят те, кто когда-то жил в деревне, а теперь дышит автомобильной гарью городов. Эти запахи запомнились мне навсегда и занимают важное место в ощущении Родины.

Когда через тридцать с лишним лет я приехал в Батуруину, то почувствовал себя здесь своим человеком, лишь зайдя в высокие травы батуринских сенокосов. Знакомые с детства запахи как бы говорили:

– Ты наш, чалдон, ты – частица нашего бытия!

Вечером мы сидели у небольшого костра, над которым в закопченном ведерке грелся чай. Когда Миша подправлял прогоревший сушняк, дым подхватывал яркие искры, и они поднимались высоко в черное небо, пока, погаснув, не исчезали. Я всегда любил неторопливые костры. Любил подолгу смотреть на живую, постоянно меняющуюся картину праздника огня.

Чем ярче горит костер, тем плотнее становится окружающая нас темнота. Отвернувшись от огня, я вижу лишь слегка освещенные контуры пасущегося Серко, телегу с поднятыми и связанными оглоблями и темневший конус стоящего вдали стога.

Постепенно мое лицо, грудь, колени сильно нагреваются, а спину неприятно холодит влажный ветерок с близкой реки. Я встаю, грею спину и снова сажусь к костру, вороша его длинным прутиком. Потом я отхожу в темноту и тлеющим его концом выписываю замысловатые зигзаги.

*...Ты прости нас, полюшко усталое,
Ты прости, как братьев и сестер:
Может мы за все свое бывалое
Разожгли последний свой костер...
В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы,
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетный сон природы...
Прощай костер! Прощайте все,
Кто нынче со мною рядом,
Кто воздавал земной красе
Почти молитвенным отрядом...*

Николай Рубцов

После чая мы идем к стогу. Он сделан в виде чума: связанные сверху тонкие жерди обложены вокруг свежим сеном.

Снизу два отверстия, через которые может пролезть человек. Я думал, что это шалаш для косарей и охотников. На самом же деле, так крестьяне метали стога из сырого сена. В таком стогу сено досыхает и стоит сухим до нового лета.

Залезаем в стог. В нем тепло: сено отдавало дневное солнышко. Отец с Мишей надергали сена, разровняли его и накрыли кошмой. И вот мы – трое мужиков – заваливаемся спать. Слышалась негромкая переключка ночных птиц в ближних кустарниках, мирно похрумкивал и шумно фыркал Серко. Изредка доносился глухой стук его копыт и звяканье ботала, когда он делал очередной скачек на спутанных ногах. Путы не дают ему возможности уйти за ночь далеко от стоянки, а по звуку ботала его можно легко отыскать, если он забредет в высокие кустарники или опустится в низинку напиться из бочажка.

Но молодые и резвые лошади, особенно жеребцы, и на опутанных ногах могут за ночь ускакать далеко и их приходится долго искать. Таких лошадей стреноживают: одну из задних ног привязывают к спутанным передним.

*...Мирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье.
И надо мной — бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...
Николай Рубцов*

Неугомонный Миша еще долго возился, то и дело выползал из стога. Я подумал, что он опять ловит этих мерзких летучих мышей, разложив на траве белую тряпку. Так он часто делал в темные вечера на лужайке перед нашим домом.

Вот я слышу его громкий свистящий шепот:

— Ленька! Хочешь посмотреть на Стожары?

Я не знаю, что это такое и молча, стараясь не потревожить спящего отца, быстро выбираюсь из стога. Миша стоит с поднятой рукой, показывая мне на скопище звезд, которое я быстро нахожу на черном небосводе.

— Это Стожары. Их еще называют Вороньим Гнездом, — говорит Миша. Показал он мне и созвездие Большой Медведицы, которое он назвал Ковшом, и которое на ковш, действительно, походило.

Не знал я тогда, что потом много лет я буду привычным взглядом отыскивать на ночном небе созвездие с характерным расположением светил, чтобы найти так нужную иногда Полярную звезду.

Запомнилось образное название созвездия Стожары. Видимо, оно происходит от слов: сто жаров. Не забыть ошеломляющего впечатления, которое на меня произвел впервые увиденный звездный мир. До этого я видел светлое небо днем и немного потемневшее в сумерках. Потом я спал, не подозревая, как меняется облик привычного нам мира ночью! Не знал того, что только при виде грандиозного звездного купола у человека-землянина возникает чувство сопричастности к всей вселенной...

Едва развиднелось, а наши косцы уже всю махали литовками: коси коса, пока роса...

Я же еще сладко спал, не ведал вовсе, какое событие меня ожидает. Проснулся мгновенно от истошного крика Миши:

– Ленька! Вставай! Аэропланы летят!

Меня как подбросило, и я пулей выскочил из стога, не успев еще протереть глаза. Спешил я не потому, что хотел посмотреть на аэропланы. Я никогда их не видел и знал только по рассказам. Меня подхлестнул необычный голос брата.

Отец с Мишей стояли рядом, задрав головы. Они показывали руками, куда мне смотреть и возбужденно переговаривались.

Высоко в чистом небе я увидел два небольших медленно двигавшихся крестика, услышал их стрекотание. Я стоял, как замороженный, чувствуя себя участником этого невероятного события: я своими глазами вижу аэропланы, о которых было так много разговоров.

Долго провожал я взглядом невесть откуда взявшихся и неизвестно куда летевших небесных странников, пока они не растворились в мареве разгравшегося летнего дня.

Улетели аэропланы. Вновь на сенокосе только я, Серко, отец и Миша, да родные картины лежащей окрест природы. Но где-то в глубине души я чувствовал, что в моей жизни произошло что-то очень важное: гигантский купол звездного неба, ярко мерцающие в черноте ночи Стожары и люди, летящие в синеве летнего дня на крылатых машинах...

Много воды утекло с той поры. Иногда, вспоминая события тех далеких лет, я уже стал сомневаться в их достоверности: действительно ли видел я тогда самолеты? Откуда было им взяться? Может это не более, как возникшие в моем детском воображении огненные глаза домового в недостроенном лобановском доме?

Но сомнения мои были напрасными. Как-то, читая мемуары одного из наших первых авиаторов, я узнал, что летом 1924 года проходил международный соревновательный полет по маршруту, Париж-Москва-Владивосток-Токио. Тогда наши самолеты с трудом, но долетели до финиша, а французы и еще, кажется, итальянские сошли с дистанции из-за поломок в двигателях.

Автор воспоминаний и участник этого интересного перелета писал, что его маршрут в Сибири проходил через Томск.

Значит, он прошел и через нашу деревню, наш покос на Лысой Гриве и через мое сердце...

На Лысой Гриве со мной произошел смешной случай. Мы с отцом поехали туда за сеном, которым он набивал сеновал над стойлом Серко. Для этого он брал только хорошо просушенное сено с лучших участков покоса, где было много клевера. Запасенное на сеновале сено отец скармливал зимой при снежных заносах, когда к стогам в поле не подъехать, а также весной до первой травы.

Выехали за поскотину. Моряк, как обычно, бежал впереди, показывая, как ему казалось, Серко дорогу. Иногда он резко прыгал в густую траву на обочине, почуяв полевую мышку или еще какое живое существо.

Бесконечно красива полевая дорога летом в хорошую погоду! Бежит она не спеша, плавно извиваясь среди благоухающих трав, в которых на высокой звонкой ноте непрерывно трещат кузнечики. Ветра почти нет. Тут и там поют жаворонки, неподвижно зависнув высоко над своими гнездами.

*...Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые вечности глаза!
То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленелой крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин-властелин!*
Николай Рубцов

У дороги три колеи: две накатаны колесами, а третья между ними выбита копытами лошадей. Средняя колея обрамлена рядами высоких травинков, испачканных сверху колесной мазью. Я любил бегать по гладким колесным колеям. После дождей они были плотными и влажными, а в жаркое время покрывались толстым слоем мягкой и теплой пыли. Я то и дело спрыгивал с телеги и бежал сзади.

Часто отец, делая вид, что не заметил как я спрыгнул, подгонял Серко. Я прибавлял ходу, потом бежал что есть силы, но расстояние до телеги не уменьшалось. Тогда я поднимал крик, боясь отстать. Серко сбавлял ход и я с радостью наваливался грудью на край телеги и усаживался на свое место. Уставши, я с особым удовольствием предавался счастью поездки. Смотрел, как ритмично переставляет Серко задние ноги, как ладно лежит на нем сбруя, украшенная медными бляшками, как иногда он ударом хвоста сгоняет с кривца надоедливую слепня...

Был у отца в запасе еще один способ поугаить меня: он незаметно прятался за копну, стол, угол дома, дерево, прикрывал шапкой или еще чем мягким рот и звал меня, сильно крича.

Голос его был приглушен, и мне казалось, что отец где-то очень далеко. Если это было в лесу или в поле, или еще в каком месте, я пугался и начинал усиленно крутить головой, стараясь определить где искать отца. Потом я начинал кричать и звать его. Видя, что дело идет к слезам, отец выходил из укрытия, смеясь над моим испугом. Я же радовался, что не потерялся, что отец рядом.

Иногда я таким способом попугивал сына Алика, потом дочку Наташу, а еще позже – внучку Катю, не доводя, конечно, дело до сильного испуга и слез. Всякая забава хороша, если кончается смехом и хорошим настроением.

Приехали на место. На скошенном лугу возвышались поставленные нашими накануне приземистые копны сена.

*В березняке — как в выбеленной хате:
Цветут крушиной в окнах рушники.
Стогуют сено бабы на закате,
Упрятав лица в белые платки.
В той хате пахнет серединой лета
И потом вечеряющей страды.
Уснули в копнах теплые рассветы,
Дымится след глубокой борозды...
В щетине колкой и платки и платье.
Я с берега смотрю из-под руки:
Стогуют бабы сено на закате,
Стогуют бабы лето
У реки...*

Сергей Михеенков

Хорошо, привольно на сенокосе! Только вот по стерне босым ходить нельзя. Но спасала полевая дорога, по которой можно бегать с любой скоростью, не глядя под ноги.

Отец разнуздал Серко. Конь почувствовал облегчение, избавившись, наконец, от железных удил, мешавших ему жевать.

Затем отец ослабил чрезседельник и подпругу и бросил Серко охалку сена. Теперь конь мог свободно нагибаться к земле и жевать.

Правилам обращения и уходу за лошадьми я научился с детства и всегда их строго выполнял в Томском, Сумском и Харьковском артиллерийских училищах, где использовалась конная тяга. Эти правила записаны и в воинс-

ких уставах кавалерии и артиллерии. Они особо предписывают не поить разгоряченного коня, а дать ему время остынуть. Иначе будет опой, конь выйдет из строя и будет годен лишь татарам на махан (мясо).

Давно я не имею дела с конями. Но остро переживаю, когда вижу (в основном на телеэкране), что всадники дают возможность лошади пастись, не разнуздав ее и не ослабив подпругу. Если бы лошадь умела говорить, то она бы сказала незадачливому наезднику, что об удила она крошит коренные зубы, а затянутая подпруга больно режет живот, когда она нагибается к траве.

*...Эх, запряг бы я сейчас кобылку!
И возил бы сено, сколько мог,
А потом втыкал бы важно вилку
Поросенку жаренному в бок...*

Николай Рубцов

Задав Серко корму, отец взял вилы и стал брать сено из копны, ровными пластами укладывая его на телегу. Когда вырос хороший воз, он стал притягивать сено бастриком – длинным и прочным березовым древком. Один конец бастрика крепился веревкой к передку телеги, а другой также веревкой протягивался к задку через кольцо.

Это кольцо крестьяне обычно делали из березового нароста – капа. От долгого употребления кольцо полировалось до блеска и по нему легко скользила веревка.

Пока отец натягивал веревку, я вскарабкался на передок, оседлав бастрик. Наконец бастрик был хорошо притянут, надежно уплотнив воз.

Когда отец закреплял конец туго натянутой веревки, деревянное кольцо вдруг лопнуло и бастрик как катапульта бросил меня вверх и вперед. Перелетев через Серко, я, к счастью, упал на соседнюю копну и заревел белугой. Отец, видя, что все обошлось благополучно, стал меня со смехом спрашивать, как обстоят дела там, в небесах. Не в натуре сибиряков ехать и ехать по поводу случившегося, особенно тогда, когда все хорошо кончилось.

С тех пор, когда мне приходится видеть возы с сеном, я невольно вспоминаю жаркое лето на батуринских покосах, неповторимые запахи подсыхающей скошенной травы и свой полет верхом на бастрике...

*...И грустит, как живой,
и долго
Помнит свой сенокосный рай
Высоко над рекой, под елкой,
Полусгнивший пустой сарай...*

Николай Рубцов

По шишки

*...Моя родимая земляца
Надо мной удерживает власть,—
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась...*

Николай Рубцов

Я уже рассказывал о радостях сенокосной поры. Приятно было прокатиться на телеге, а еще лучше — на долгушке или на дрогах по полевой дороге среди цветущего разнотравья в лучшую пору сибирского лета! А сколько было удовольствия ночевать в свежесметанных стогах! Проехать на подхваченной снизу веревкой копне, которую Серко волочет к жердяному остову будущего стога.

Праздниками были и поездки за черемухой, брусникой, черникой, калиной. Возвращались домой с полными корзинами, которыми заставляли все свободные места на телеге и ещё держали на коленях. Когда ездили за черемухой, то рты и руки у всех были черными, и это делало нас очень похожими друг на друга. Черемуху сушили, бруснику мочили, из черники варили варенье, а калину парили и потом пекли с нею пироги.

Большую радость доставляли и поездки по грибы. Все особенно любили собирать рыжики. Их засаливали и ставили в погреб. Рыжики необыкновенно быстро солятся. Если с вечера их уложить слоями в кадушку, слегка присаливая каждый слой, и придавить камнем, то утром они уже готовы.

Сенокос, ягоды, грибы — все это прекрасно. Но поехать шишковать — это ни с чем не сравнимо! Вся деревня три-четыре года с нетерпением ждет урожая кедровых орехов. Кедр у сибиряков исстари пользуется особым уважением. Они его берегут, несмотря на то, что в их натуре с давних пор утвердилась привычка полного пренебрежения к окружающей их дикой природе: всего кругом всегда было много, и мысль о бережливости не возникала. Но даже самые бесшабашные не осмеливались спилить кедр для того, чтобы обобрать с него шишки, как, бывало, не задумываясь делали с черемухой ради ее ягоды.

О кедре сибиряки знали все подробности. Особенно много разговоров о нем было во время шишкобоя, когда оставались в кедровом лесу несколько дней.

Живет кедр около ста пятидесяти лет. Плодоносит лишь в расцвете своих сил, в возрасте двадцати-семидесяти лет. Шишки зреют два года. Созрев примерно в конце августа, падают на землю не раскрываясь. Природа плохо

позаботилась о самосеве кедр. Береза, например, разбрасывает по ветру миллионы своих зрелых семян. Не случайно брошенные поля, неудобья, канавы зарастают главным образом березой. Часто молодые березки мы видим в расщелинах скал, на стенах и балконах старых кирпичных построек.

К счастью, у кедр есть невольные помощники – это птички кедровки. Они питаются спелыми орехами и, наевшись вдоволь, начинают прятать орехи про запас в землю на полянах и гарях – там, где можно без помех летать. Не все зерна они потом находят. Спелые же орешки, оказавшись в земле, быстро прорастают. Появляются слабые побеги, которые только через двадцать-тридцать лет станут плодоносными кедрами.

Кедровые орехи очень вкусны и питательны. Ими кормятся белки и бурундуки. Любят лакомиться орешками соболи и куницы. А еще это основная пища для небольших птичек – зимородков – в холодную сибирскую зиму, когда у них появляются птенцы. Эти птицы так приспособились к кедру, что выводят птенцов в лютой мороз, когда на кедрах висит еще много неопавших шишек и есть чем питаться самим и кормить своих малышей. Зимородки: родящие зимой.

Осенью 1924 года на кедровые шишки выдался богатый урожай. Уже в середине лета многие батуринские мужики побывали в кедровых лесах и привезли хорошие вести.

– Шишки, Ларивоныч, видимо-невидимо! – возбужденно рассказывал отцу обычно молчаливый и уравновешенный сосед Вершинин. Он только что вернулся из тайги, куда ездил к своему брату, жившему на глухой заимке.

– С хорошего кедр не мене пяти кулей можно взять, – убежденно закончил Вершинин.

Подходил к концу сухой и солнечный август. По вечерам, когда встречали Беляну с выгона, становилось уже зябко. В доме все чаще слышались разговоры о том, когда же лучше ехать шишковать. Поедешь рано – шишка будет неспелой: зеленоватой, крепкой и очень смолистой. Да и сбить ее с кедр будет трудно. Опоздаешь – много спелых шишек попадает на землю, и их соберут более удачливые шишкобои.

Наконец, решено было ехать шишковать. С нами собирались ехать Вершинин с женой и приятель отца Кузовлев со своей многочисленной семьей на двух подводах. Еще Лобанов с женой и старшим сыном. У деда Макара лошади не было, но не взять по шишки его было нельзя – хороший и веселый человек.

Жить несколько дней в глухой тайге далеко от дома в одиночку никто не решался. Потому обычно собирались компаниями в несколько подвод и брали с собой ружья.

К шишкобою готовились основательно: починили кули, подправили большие решета для отсеивания орехов, из листов кровельного железа отец сделал большие противени со множеством дырок для прожаривания шишек над костром. В аршинном березовом швырке* отец продолбил круглое отверстие. Потом в лесу он срубил тонкую сосенку и сделает из нее длинную рукоятку. Получится огромный деревянный молот, которым будут бить по кедр, сбивая с него шишки.

Утром, лишь начало светать, наши четыре подводы выкатились за ворота поскотины. Мы ехали всей семьей в сопровождении Трезора. Его никак не устраивало то, что Серко трусил за телегой Вершинина, и Трезору приходилось бежать сбоку, а не впереди, как обычно. Вскоре проехали заросли молодого березняка и осинника, за которыми открывалось урочище Тарганак. За урочищем дорогу обступил высокий сосновый лес: начиналась коренная тайга.

У прозрачной речушки с обрывистыми берегами мы сделали привал. Дали лошадям немного отдохнуть. В туеса и лагушки набрали свежей водички, слегка перекусили («заморили червячка») и двинулись дальше. День был уже в разгаре, когда показалась темная зелень Ближнего Кедрача. Здесь решили сделать остановку, чтобы пообедать и изготовить молоты и прислоны.** Быстро развели общий костер и стали разогревать еду и кипятить чай.

Я пошел с отцом и Мишей осматривать кедры, которые я видел первый раз в жизни. На кедрах висели редкие шишки.

– Не было шишек, и это не шишки! – ворчал отец. – Здесь уже до нас побывали и посбивали шишки ещё зелеными. Ну и народ: рубит сук, на котором сидит. Зачем им эти зеленые шишки? Одна смола и неспелые зерна.

После обеда отец соорудил большой молот и срубил небольшую сосну для прислона. Решили проверить, как дело пойдет с молотом. Вот отец с мамой и дедом Макаром высоко подняли его за рукоятку и двинулись к большому кедр. Они выбрали место, где ветвей было поменьше, и стали наносить сильные удары по стволу. Попадали редкие шишки. Орина шустро бегала и собирала их в мешок.

– Ну, хватит, – сказал отец. – Молот хорош. Нужны только кедры со спелыми шишками, и дело пойдет!

– Ларивоныч, – засуетился Макар. – Теперича надоть проверить спривность прислона.

– А что его проверять? Бревно оно и есть бревно.

* Швырок – круглое полено

** Прислон – небольшое бревно, торцом которого ударяют по кедр, сбивая с него шишки

– Не скажи, Ларивоныч, не скажи! Надоть непременно спробовать. Вдруг не та механика получилась!

Все засмеялись и двинулись к прислону, лежавшему в сторонке. Они втроем подняли тяжелое сырое бревёшко, поднесли его к другому кедру и, раскачивая, сильно ударили по стволу несколько раз. После каждого удара с кедра слетало несколько шишек, гулко ударяясь о плотную землю. Мне очень хотелось побыстрее схватить шишку, но мама отгоняла меня в сторону, чтобы шишки не разбили голову. Сами же шишкобои, чтобы уберечься, обычно надевали шапки или заматывали головы толстыми платками.

Когда наши компаньоны также закончили изготовление молотов и прислонов, обоз вновь двинулся в путь. Вскоре передняя телега Вершинина свернула с торной дороги, которая вела к Дальнему Кедрачу. Теперь мы ехали по едва заметной колее от давно проезжавших здесь редких телег. Это была тайная дорога, которую знал только Вершинин и которая вела к Медвежьей Пади. За нею находился кедровник, усыпанный, по словам Вершинина, ядреными спелыми шишками. Четыре года назад он набил их здесь столько, сколько мог увезти.

Свернув на заветную дорогу, все мы невольно притихли. Уже никто не перекликался и громко не говорил. Были слышны лишь пофыркиванье лошадей да глухое постукивание хорошо смазанных колес. Кому неведомо состояние человека, который пошел по грибы, ягоды или за зверем и, наконец, приближается к заветному месту, где его ждет большая удача? Мне это чувство хорошо знакомо. Особенно я волновался на охоте, «скрадывая» дичь: сердце готово выскочить из груди, и я ничего не могу с ним поделывать. Видимо, тогда в человеке просыпается первобытный охотник, для которого вопрос «убить или не убить» часто был равносителен вопросу «быть или не быть»: для другого такого счастливого случая у него могло не хватить оставшихся сил, да и это копье могло быть последним.

Чем дальше вглубь тайги продвигался наш обоз, тем она становилась гуще и темнее. Ко мне потихоньку подбирался страх, и я плотнее прижался к маме. Она крепко обняла меня теплой рукой.

– Не бойся, Львишка! Здесь никого нет, – сказала тихо мама. – Видишь: только одни кедровки. Сейчас набьем шишек, и я тебе нашелушу орешков. Свеженькие-то они очень вкусные.

Вершинин время от времени останавливал своего Буланого и шел вперед, отыскивая исчезнувшую вдруг дорогу. Порой встречались упавшие поперек пути деревья, и мужики, кряхтя и чертыхаясь, брались за пилы и топоры.

Приехали на место, когда уже смеркалось. Вершинин нашел поляну, где он провел три дня, шишка здесь в двадцатом году: хорошо было заметно заросшее буйной зеленью старое кострище и полуистлевшие палки шалаша.

Первым делом быстро обежали росшие вблизи кедры и остались довольны: на всех было много крупных спелых шишек. Потом поставили телеги по

большому кругу оглоблями к центру. Распрягли лошадей и привязали на длинных поводках, чтобы они могли пастись. Оглобли подняли вверх и стянули чресседельники. Так они не намокнут в случае дождя, а накинутые на них дерюги или брезенты становятся удобными балаганами для ночевки и отдыха.

Места для костров подготовили между телегами. Таким образом, ночью, когда могут появиться волки, люди и лошади будут находиться в безопасном кольце из огня и телег. Такой порядок ночлега выработан сибиряками с незапамятных времен, и они его строго придерживаются. Так же организуется ночевка и в степи.

Закончив со стоянкой, каждая семья направилась бить шишки прямо от своей телеги: кругом стояли хорошие кедры, усыпанные шишками. Присматривать за стоянкой осталась Орина, которая уже суетилась по хозяйству у телег Кузовлевых. Ей приготовили своеобразный барабан – перевернутое ведро, в которое она должна была стучать палкой в случае какой беды. Оставили и привязанного к телеге Трезора, который отчаянно рвался и скулил, когда мы уходили в лес.

Макар шел впереди, минуя кедры с массой шишек. Недоуменный вопрос отца и мамы он упредил:

– Мы, Танюша, зайдем глубже и почнем бить к стоянке: когда стемнеет – мы будем у костров, а не в тайге. А ить в глухом-от лесу, да в темноте, и волки могут сожрать в одночасье, – закончил Макар изложение своей стратегии.

Все молча согласились. У меня же еще долго дыбились волосы от страха, который нагнал на меня Макар, так просто сказавши, что нас могут съесть волки. Кого-кого, а волков деревенские ребяташки боялись пуще смерти: нас ими постоянно пугали, да и тревожные слухи о нападении этих страшных хищников то и дело проносились по деревне, обрастая все более страшными подробностями.

Удивительным был человеком этот наш сосед дед Макар. Он был умен, имел большой житейский опыт, всячески помогал людям, давал им дельные советы, если возникала какая трудность. Но своего крепкого хозяйства он так и не нажил. Был он истинным бесребреником. Все деревенские уважали и любили его за бескорыстие, за острый язык, за легкий и смешливый характер, за умение пошутить там, где, казалось, нависла большая беда и было не до смеха.

Пройдя шагов сто вглубь кедрача, наша группа остановилась, бросив на землю прислон. Отец поплевал на руки и бодро сказал:

– Начнем с Богом!

Отец, Макар и мама втроем подняли деревянный молот и стали бить по стволу облюбленного кедра. Мы с Тасей, Олей и Мишей встали в сторонке вокруг кедра и запоминали, куда падают шишки. Потом наши бойцы стали бить по другому дереву, а мы кинулись разыскивать добычу.

Устав орудовать молотом, наша троица взялась за прислон, удары которым были хотя и менее эффективны, но не требовали таких усилий, как битье молотом.

В лесу стояла полная тишина и воздух был неподвижен: ни малейшего дуновения ветерка, как это обычно бывает летом в хорошую погоду перед наступлением вечерних сумерек. Поэтому усердно работавшие шишкобой вскоре вспотели, то и дело смахивали с лица крупные капли пота. Но шишек было мало, и они сумели набить лишь три куля, когда уже сильно стемнело и надо было возвращаться на стоянку.

– Завтра шишки будут спелее, да и день весь наш, – подбадривал компанию дед Макар, неся на плече туго набитый куль.

– Эка тяжесть, – повторяла мама, также неся шишки. – А обшелушишь да просеешь, и ведра орехов не будет!

Я брел за мамой, постоянно спотыкаясь о сучья и коряги: мое внимание было поглощено шишкой, крепкие и смолистые чешуйки которой я отдирал зубами и выгрызал орехи.

Когда мы подошли к стоянке, там уже ярко горел костер, разведенный Ориной у телег Кузовлевых. От костра пахло чем-то вкусным, от чего на меня нахлынула и накрыла с головой вязкая волна голода. Я уже не мог ни о чем думать, кроме как о том, чтобы побыстрее и побольше поесть что дадут. Мама позаимствовала огонька у Орины и заторопилась с разведением своего костра, для которого Миша уже принес большую охапку сушняка. Но, несмотря на голод, я остался у костра Кузовлевых, где было тепло и интересно: они уже начали прожигать первые шишки, от чего вокруг распространился приятный запах, напоминавший аромат свежеспеченного хлеба. Разогретые в противне, шишки из твердых и зеленоватых становились мягкими и красноватыми, и на них уже не было этой страшно липучей смолы. Горячие шишки высыпали на дерюгу и стали разбивать их на чурбачке небольшим деревянным вальком. После этого орехи легко вышелушивались. Оставшаяся от шишек мягкая и теплая вкусная мякоть сама просилась в рот, и я ее с удовольствием жевал. Добрая душа тетя Марья – жена Кузовлева – насыпала мне в карман еще теплых орехов, и я побежал к своему костру. Здесь также кипела работа: отец прожигал шишки, Миша разбивал их, Тася и Оля шелушили, а мама просеивала орехи. Я стал помогать маме собирать их и сыпать в мешок.

Свет четырех больших костров хорошо освещал всю поляну и кедры, стоявшие вокруг сплошной стеной. Тайга за кедрами вовсе скрылась в густой тьме, и мне порой казалось, что мы стоим в поле, а вокруг плотным кольцом в один ряд стоят большие деревья.

Дед Макар, помогавший нам с шишками, вдруг закричал на всю поляну:

– Бабоньки! Не пора ли кормить мужиков? Уже ночь на дворе!

От костров весело и дружно отозвались, и вскоре все принялись за ужин.

Подкрепившись, взрослые вновь взялись за шишки, а нас с Олей мама уложила спать в наскоро сооруженном балаганчике под оглоблями телеги. Мы лежали на сене, застланном кошмой, укрывшись лоскутным одеялом. Под головы, чтобы было повыше, были подсунуты хомут и седелка. В щели дырявого брезента проникали веселые зайчики от костров, вносившие в наше убежище уют и отгонявшие страхи. Тем более, совсем рядом были слышны голоса родителей и соседей.

Оля старше меня на два года. Она была великая любительница поговорить и посмеяться по любому поводу и просто так. Вот и теперь она без конца тараторила, а я больше слушал и ограничивался короткими репликами и согласным мычанием: рот был занят орехами, которые я быстро и без остановки щелкал. Мне нравилось, что не попадало ни одного гнилого, который обычно портит все дело: приходится выплевывать вместе с ним и те хорошие, которые успел разжевать, но не проглотил.

На свету гнилой орех легко отличить: на его тупом конце уже не горит ярким огоньком веселый глазок. В темноте же этого не увидишь, приходится разжевывать все ядрышки подряд. Гнилой орех сразу почувствуешь по скверному вкусу, после которого приходится долго отплевываться.

Я, как и все деревенские ребята, с раннего детства научился быстро, по-сибирски, щелкать орехи. Это – целое искусство, которое я постараюсь описать.

Берешь орех и убеждаешься, что у него на торце есть яркий глазок. Потом кладешь орех боком на нижние передние зубы тупым концом в рот, упираешься в торец ореха кончиком языка и слегка сжимаешь зубы так, чтобы скорлупка ореха прогнулась и надтреснула. После этого поворачиваешь орех другим боком и повторяешь описанную операцию. При втором сжатии передних зубов скорлупка ореха лопается пополам, а зернышко остается целым. В умении вовремя остановить сжатие передних зубов (после того, как лопнет скорлупка) и состоит суть искусства быстро щелкать орехи. Немногие умеют это делать и часто перекусывают ядрышко пополам. Эти две половинки или выбрасывай, или доставай из скорлупок английской булавкой. (Именно английской! Обычную булавку или иголку детям никогда не давали, т.к. они их могут нечаянно проглотить).

Итак, два быстрых нажима передними зубами. На кончике языка остается отскочившая половинка скорлупки. Ее мы быстро выплевываем, а передними зубами осторожно вытаскиваем ядрышко и отправляем его на коренные зубы.

К большому сожалению, на кончике языка рано или поздно появляется типун. Приходится разгрызать орехи боковыми зубами, но это уже совсем не то.

Насмеявшись, наговорившись и нащелкавшись орехов, мы с Олей крепко заснули. Я словно провалился в темную безмолвную бездну...

Когда я проснулся, Оли уже не было. Вылез из балагана, жмурясь от ярко светившего солнышка. Кони лениво пощипывали траву. Трезор, натянув цепь, неотрывно смотрел в лес, куда ушли наши, иногда тихонько повизгивая и перебирая передними лапами. Я погладил Трезорку и пошел к тлеющему костру Кузовлевых, у которого жена Макара, сидя на бревнышке, шелушила шишки.

— Ну, Ленчик, пока ты спал, сколь чудес надеялось! — приветствовала меня весело тетка Орина. — Посмотри-тка вокруг: везде шишки валяются. Уж под утро, — продолжала она рассказ, — тайга вдруг эндак загудела, деревья закачались. По всем приметам ураган налетел. Кони заржали, стали рваться с привязи. Все повыскакивали из балаганов. Ларивоныч, так тот с ружьем выскочил! — округлила глаза тетка Орина — Боязно, боязно эндак стало... Постояли мы. Погода еще поиграла, дождь покряпал, а потом все стихло. И мы успокоились. Подбросили в костры сушняка, помолвились и легли спать. Утром встали — и глазам не верим: вся земля в шишках. Теперича вот все молота и прислоны побросали и знай кули шишками набивают. Ваши под ближними кедрами в одночасье три куля набрали. Эвон у телеги стоят. Вот покормлю тебя кашей, и бежи своим помогать. Я тебя провожу, — закончила тетка Орина свой рассказ о тревожной ночи.

Так внезапная непогода оказала нам тогда большую услугу. Мы провели в тайге еще два дня, прожаривая и шелуша шишки, отсеивая орехи. При такой удаче никто не хотел везти домой сырые шишки: орехи занимали в десять раз меньше места и везти их не составляло труда. Наконец, наступил тот момент, когда все устали и всем все надоело. От шелушения горячих шишек на пальцах появились болезненные мозоли. Дружно решили, что пора ехать домой. Утром в день отъезда встали пораньше. Развели общий костер и согрели ведро чая. У всех было приподнятое настроение: везли домой так много чистых орехов!

— Знатно, знатно ноне отшишковались! — повторял то и дело дед Макар, шумно втягивая горячий чай из большой глиняной чашки сквозь узкую щель вытянутых губ.

— Сколь живу в Батуриной, да и от стариков не слыхивал, чтобы вот так пофартило, — поддержал Макара обычно молчавший Вершинин. Не удержалась с советом обстоятельная и деловая, под стать мужу, жена Вершинина:

— Теперича одна забота — сохранить это богатство. Не можете и думать держать в кулях сырые орехи: в два-три дни сопреют. Их надобно не мешкая прокалить. Еще денька три придется покорячиться. Но зато каленные орешки в сухом-от месте с годик, а то и боле могут простоять. Да и

скус у них очинно хорош, у каленых-то! – закончила она, причмокнув и уставившись на Макара, ожидая его поддержки.

– Твоя правда, соседка! Тока калить орехи надоть с головой: перекалишь – сожгешь, не докалишь – спреют. Надоть калить и пробовать, калить и пробовать.

– Ну, поехали с орехами,* – громко сказал отец, вставая. Все засобирались. Наш лагерь стал быстро разрушаться и теперь скорее напоминал потревоженный муравейник. Солнышко уже пошло на закат, когда мы приехали домой. Беяна услышала свою хозяйку и трубно мычала: она соскучилась по маме и не давалась доить соседке, которую мама просила присмотреть за хозяйством, пока мы были в тайге. Отец с Мишей распрягли Серко, перетаскали мешки с орехами в дом и пошли в кузницу. Мама с Тасей принялись растапливать русскую печь. Мы с Олей насыпали на обеденном столе две одинаковых кучки орехов и принялись их шелкать наперегонки.

Мне из той поездки хорошо запомнилось облегчение, которое я подсознательно ощутил, когда наконец кончилась тайга и мы выехали на открытый простор со светлыми перелесками. Я снова попал в родную обстановку, и из моей души исчезли страхи, которые то и дело одолевали, пока нас окружал глухой лес...

Прощай, Батурина!

*Я улыбал...Все дальше...Без оглядки
На мгlistый берег юности своей...*

Николай Рубцов

Было раннее лето 1925 года. Прошло уже тринадцать лет, как отец с мамой и годовалой Тасей переехали после увечья отца из Ново-Николаевска в родную деревню деда Иллариона и бабушки Анастасии. В этой деревне родился отец и все его многочисленные братья, а также родились Миша, Оля и я.

К этому времени Тася стала уже стройной красивой девушкой. Три зимы она прожила в Томске, учась в средней школе. Приютили ее знакомые родителей – супруги Гриченковы. Тасю догонял двенадцатилетний Миша, закончивший батуринскую трехлетку. Сама жизнь подталкивала нашу семью снова в город. Теперь уже в Томск.

*«Поехали с орехами» – часто употребляемая в Сибири фраза, которую обычно произносят перед тем, как тронуться в путь.

Особенно хотел уехать отец. В разговорах с мамой он часто вспоминал братьев-кузнецов, которые жили в Ново-Николаевске и хорошо зарабатывали.

— А какой прок от кузницы в деревне? — задавал он давно знакомый маме вопрос. — Пяять деду Макару дырявые ведра?!

Новая экономическая политика побуждала к активной деятельности и наших батуринских мужиков: их соблазняли льготы, которые давало государство мелким предпринимателям. Отец был среди тех, кто связывал с этой политикой надежды побольше зарабатывать, получше жить, дать детям образование. Особенно его прельщало то, что в городе он получит бесплатный патент для работы в своей кузнице, как инвалид труда. Одним словом, идея переезда в город вызрела окончательно. Ей посвящались короткие летние вечера за столом с подвешенной над ним яркой семилинейной керосиновой лампой.

О своих планах переезда в город родители поделились со всеми знакомыми в городе. Вскоре они присмотрели для нас небольшой двухэтажный флигель, стоявший посередине большого двора по улице Знаменской, которая проходила вблизи берега Томи.

До революции этот флигель был частью большой двухдомовой усадьбы, принадлежавшей богатому томскому домовладельцу Непомнящему. Потом дома перешли к двум разным хозяевам, и огромный двор усадьбы разделили пополам. Флигель приобрела Кайдалова Глафира Федоровна, сделав его доходным домом. Со своей взрослой дочерью Лизой она занимала половину верхнего этажа. Вторую половину она сдавала часовщику Маркову, который держал там большую мастерскую. Поперек всего помещения он соорудил прилавок, около которого принимал клиентов, а все стены завесил стенными часами самых невообразимых форм и размеров.

Особенно интересно там было в полдень, когда все часы на свой лад долго отбивали время. Я это помню хорошо, так как Марков убрал свою мастерскую примерно через месяц, после того как мы переехали в город и все это время ютились на кухне.

Одну квартиру внизу Кайдалова сдавала Шелудякову — инвалиду русско-японской войны, — артиллеристу из крепости Порт-Артур. В комнате у Шелудяковых над комодом висела большая фотография, где он в составе прислуги стоял у огромной крепостной пушки, обнесенной толстой цепью на низеньких чугунных столбиках. Я удивлялся невероятному размеру орудия по сравнению с людьми, которые из нее стреляли и обслуживали. Работал Шелудяков ночным сторожем, обходя наш квартал с деревянной колотушкой, которая напоминала пустой валец для белья.

Вторую квартиру внизу снимал Никифоров Петр Иванович, умеющий складно писать всякие заявления и бумаги.

Отец с мамой быстро съездили в город и посмотрели флигель. Он им очень понравился. Они поговорили с хозяйкой, договорились о цене, дали ей задаток и обязались купить дом не позже середины лета.

Вернулись родители домой уже далеко за полночь. Утром, когда я проснулся, в доме во всю шли разговоры о флигеле в Томске. Отца все спрашивали, почему дом называется флигелем (все говорили «фригель»), но он сам не знал. Как я потом понял, что это незнакомое слово ему нравилось, так как придавало приобретаемому дому оттенок таинственности.

С того момента в нашей семье воцарилась суета. Под натиском еще неясных планов переезда в город рушился установившийся за долгие годы порядок деревенской жизни. Родители стали срочно искать, кому продать свой дом. К счастью, покупатель быстро нашелся. Это был зажиточный крестьянин из деревни Ипатово. Когда сошлись с ним в цене, оказалось, что дом в городе стоил вдвое дороже. Тогда отец договорился с покупателем, что продаст ему Серко со всей упряжью, телегой, кошевой и санями, а также корову и овечек. Серко и корову Беляну я считал членами нашей семьи и потому ужаснулся, услышав, что их собираются продать вместе с домом. Радовало лишь то, что Трезора и огромного сибирского кота Василия твердо обещали взять с собой в Томск. Мне пять с половиной. Пользы в доме от меня никакой. Поэтому я совершенно свободен и могу бегать за родителями, прислушиваясь с кем и о чем они говорят. Я не все понимал, но всегда безошибочно догадывался, когда дела у них шли, а когда во что-то упирались. Вначале они сильно уперлись в то, что и в случае продажи нашей живности и хозяйства, денег на покупку дома все же не хватает. Я успел загореться желанием уехать в город и потому нехватку денег воспринял близко к сердцу. Однако, вскоре появилась надежда: в разговорах родителей замелькало новое и непонятное мне слово векселя, которые могли заменить недостающие деньги. Вначале они мне представлялись вроде упитанных добрых ангелов, которых я много раз видел на картинках из журналов, наклеенных на внутренней стороне маминого сундука. Только после того, как я много раз прослушал способ использования векселей, они стали мне представляться красивыми бумагами, которые могут все.

Наконец, я понял простой план родителей: вместо недостающих денег отец даст векселя, которые обязуется выкупить в течение двух лет.

Для того, чтобы хозяйка флигеля согласилась с этим планом, Серко дважды катал отца в город, пробегая большую часть из двадцати верст рысью. Только благодаря хорошему отдыху и вдоволь задаваемому овсу, Серко сохранял в это тяжелое для него лето необходимую резвость.

Трезор же стал заметно сдавать: он сильно переживал, что его перестали брать в поездки. Каждый раз, когда дрожки выезжали за ворота, он подолгу жалобно визжал и рвался с цепи. Носил еду Трезору только я.

Носил два раза в день Это была моя обязанность по дому. Трезор был постоянно голоден и потому с жадностью набрасывался на кости, суп и вообще на все, что я ему вываливал из миски в деревянное корытце, которое было всегда чисто вылизано.

Я хорошо знал, что с Трезоркой можно было играть, если он в тот момент не ел. Но стоило ему что-либо дать, как надо было быстро отбегать в сторону: при попытке приблизиться к нему он скалил зубы и угрожающе рычал. Можно было не сомневаться, что, он может укусить и своего кор-мильца.

Невольно вспоминается 1949 год, когда мы с Милой, Аликом и Наташей отдыхали на Черном море, в Адлере. Во дворе соседнего дома жил пес. Алик иногда кормил его, бросая еду между кольями ограды. Однажды он положил еду собаке рядом с оградой, задумав погладить ее. Не успел он и дотронуться до головы, как собака схватила его за руку и сильно покусала. Потом я водил его в больницу, где ему делали болезненные уколы от бешенства. Только домашних закормленных теперешних собак можно гладить во время еды, если они, конечно, будут есть то, что вы им дадите. Ведь если дать им кусок хлеба, то они его поню-хают, а потом поднимут голову и презрительно оглядят вас с ног до головы: откуда, мол, ты взялся с такой едой!

Как-то у дверей магазина «Диета» я видел спящую собаку, у носа кото-рой лежал большой кусок колбасы. Как же человек может поставить с ног на голову жизнь своих четвероногих друзей!

Так вот, я говорю, что Трезорка стал терять аппетит, видя, что Серко один без него стал возить отца. Я с удивлением стал замечать, что он уже не накидывался на еду, а в корытце еще кое-что оставалось.

Когда покупка дома была, по выражению отца, на мази (понимал это я буквально, припомнив, как однажды мужики легко передвинули сруб дома по слегам, смазанным дегтем), неожиданно свалилась новая напасть: оказа-лось, что векселя должны быть подписаны поручителем — солидным чело-веком, который бы обязался уплатить деньги по этим векселям, если отец не сможет их выкупить в течение двух лет. Снова в доме тревога, снова хлопоты, снова Серко мчит в город, носится по его улицам в поисках поручителя. Скоро кончается обещанный хозяйке дома срок его покупки и задаток пропадет, как с воза упадет.

— А сколько бы овса можно было купить на эти деньги! — наверное думает Серко, крупной рысью отмахивая очередной квартал города.

Только кот Василий, корова Беяна да пять овечек, которых я не отли-чал друг от друга, продолжали спокойно жить. Их спасало полное неведение о предстоящих больших переменах в их судьбе. Беяна безвыходно находи-лась в стайке, где ее поили, кормили, доили и где она теребила из ясель душистое сено, сброшенное отцом с сеновала. Овец с раннего утра выгоняли

на улицу. Возвращались они к вечеру в плотной кольчуге из репейников, оглашая двор громким бессмысленным бляением. Мне казалось тогда и кажется теперь, что овцы не кричат, а передразнивают друг друга.

Кот Василий ничего не знал потому, что по ночам занимался мышами, а днем, как персидский хан, дремал на солнышке. Кот Василий был у нас всеобщим любимцем и потому чувствовал себя дома этаким хозяином.

К слову расскажу, какой сюрприз этот “хозяин” преподнес нам под новый 1926 год, который мы встречали уже в Томске. Зимой у нас обычно топилась русская печь, стоявшая посередине дома и делившая его на кухню и две комнаты. Только в особо сильные и затяжные морозы отец ставил еще железную печку. В том декабре железная печка еще стояла в амбаре, и к утру дома становилось холодно, неудобно. Сибиряки же любят теплые дома: из теплой избы приятно выходить на мороз и дольше не замерзнешь, находясь на улице. Поэтому мама старалась затопить печь как можно раньше. Топили раньше только березовыми дровами: береза давала много тепла и не ценилась как строительный материал. В ту зиму отец не сумел летом заготовить дрова, и приходилось топить сырыми, только что привезенными из леса. Чтобы они быстрее разгорались мама закладывала их в печь как можно раньше. За ночь они согревались и немного подсыхали. Под эти дрова, сложенные клеткой, мама клала смолистые сосновые лучины, а под них – куски бересты. Утром достаточно было поджечь бересту, как лучины ярко вспыхивали и на их сильном огне быстро разгорались дрова.

Так было и в то злополучное утро. Мама затопила печь и, когда дрова загорелись, подняла на ухвате большой чугунок с картошкой в «мундире» и стала пристраивать его поближе к огню. И тут неожиданно, как черт из табакерки, из печи вихрем вылетает Василий. Мама с испуга уронила ухват и отскочила в сторону. Разбуженный этой суматохой и испуганным вскриком мамы, я соскочил с лежанки и выбежал на кухню. Мама сидела на табуретке, приходила в себя и, смеясь, рассказывала, что произошло. Василий сидел в дальнем углу под лавкой, где зеленым огнем горели его круглые испуганные глаза.

– Ишь, zenки-то выкатил, варнак, – кивнула мама в его сторону.

Когда мама совсем успокоилась, чугунок был снова налит водой и поставлен к огню, мы поймали Василия и стали осматривать. В общем все обошлось благополучно: кот лишь слегка подпалил шерсть и усы. Поворачивая с боку на бок Василия, мама весело приговаривала:

– Ах, чтоб тебя кошки залягали! Чтоб тебе, варнаку, пусто было! Напугал-то как! Да и сам мог сгореть!

Василий был крайне смущен случившимся: он жмурил глаза и отворачивался, хотя смотрели мы на него с любовью и сочувствием. С тех пор Василий уже не лазил в печь погреться, а прыгал на полати или на печку, где было не так тепло, но безопасно.

Почему же кот так долго сидел в топившейся печи и только потом ринулся через завесу огня? Дело в том, что в русской печи дрова вначале горят спереди, у чела*. Сзади же у стены, пода**, они начинают гореть значительно позднее, и там долго остается сносная температура. Вот Василий терпел, пока мог, и только потом, почуяв гибель, кинулся сквозь огонь.

Однако вернусь к тому, что на векселях отца должен был расписаться солидный человек – поручитель. Истинно сказано: ищите – да обрящете! Им согласился быть Федор Гриченков, в семье которого Тася прожила три зимы в Томске, учась в средней школе. В каком-то городском присутствии отец передал Кайдаловой деньги и подписанные Гриченковым векселя. Ему выдали купчую крепость с планом флигеля и надворных построек, красиво вычерченного на прозрачной восковой бумаге.

Позже, когда отец извлекал этот план из желтой плоской шкатулки с документами, я смотрел на него с особым уважением. Мне нравились красивые надписи и четкие прямоугольники построек, которые на деле представляли довольно ветхие конюшни и сараи, стоявшие между флигелем и огородом на задах. Но все это было потом. А сейчас отец возвращался из города и на взмыленном Серко подъезжал на дрожках к воротам. Мы с Мишей были во дворе. По знакомому звону колокольчика догадались, что едет отец, и бросились к воротам. Миша убрал засов и открыл ворота, а я приподнял и отнес в сторону подворотню.

Сделали мы это быстро, и Серко, не сбавив хода влетел в ворота и резко остановился у крыльца: отец любил именно так прикатывать домой, чтобы ни секунды не стоять перед воротами.

Торжественно оглядывая выскочивших его встречать домочадцев, он с видом победителя вынул из-за пазухи заветные бумаги, поднял их как флаг и широко-ми шагами пошел в дом. Мама и мы бросились следом. Все быстро расселись послушать отца и посмотреть на привезенные им документы.

После того, как отец несколько раз, добавляя новые подробности, рассказывал, как дом, наконец, был куплен, он немного успокоился и перевел дух. Все невольно замолкли и в доме воцарилась тишина. Слышалось только лишь громкое тиканье настенных часов из соседней комнаты. (Эти часы сейчас висят в комнате у внучки Кати). Эта минутная тишина была неким рубежом между прошедшей суетой, связанной с покупкой дома, и предстоящей суматохой переезда в город. Недаром в те времена, когда не было автомашин, контейнеров и чемоданов, а имущество простой люд перевозил навалом на телегах и в узлах, говорили: два раза переехать – один раз сгореть.

События эти происходили на исходе жаркого лета 1925 года, за которым пришли теплая осень, закончившаяся чудным бабьим летом. Но все это было уже в Томске...

*Чело - сводчатый вход в печь.

**Под - пол печи, выложенный ровными кирпичами.

Итак, мы сжигаем последние мосты, связывавшие нас с деревней. На дворе появился новый хозяин с женой и взрослым сыном. Мама водит женщину по двору и показывает, где что есть. Знакомит с Беляной, рассказывает сколько раз она телилась, сколько дает молока, когда и чем ее кормит. Потом они скрываются в хлеве, где на разные голоса громко блеют овечки.

Подхожу к отцу, который разговаривает с новым хозяином у привязанного к телеге коня. Серко прядает острыми ушами и косит на незнакомца огромные блестящие глаза, в которых я себя вижу очень маленьким и повернутым вверх ногами. В голосе отца, рассказывающего о коне, я слышу нотки сожаления: ему жаль верного, выносливого и красивого коня. Мне жалко и Серко, и отца, и я, спрятавшись за телегу, беззвучно плачу, тщательно стирая слезы грязными ладошками. Я не хочу, чтобы их видел отец, который не любит как все сибиряки ни слез, ни ласки, ни поцелуев, ни другой сентиментальности. Все это принято скрывать под маской спокойствия и нарочитой грубоватости.

Во время печаль и радость у меня часто сменяли друг друга без перехода. Если дело касалось расставания с родным домом и всем, что было с ним связано, я грустил. Если говорили о предстоящей жизни в городе – радовался, строил воздушные замки.

На следующий день стали собирать и связывать в узлы домашние вещи. Но самые важные события происходили на улице. Там отец с Мишей и соседом Лобановым раскатывали по бревнышку нашу кузницу. Миша стоял на приставной лестнице и желтой краской выводил на бревнах номера. Я несколько раз спросил его, для чего он это делает. Миша молчал испытывая мое терпение. Потом, опустив кисть в банку, он нехотя повернулся ив мою сторону и лениво изрек:

– Ну и дурачина ты, Ленька! Неужели не понимаешь, что без этих номеров нам кузницу в городе не собрать!

Я отстал от него, но, конечно, не понял, как они помогут нам потом вновь построить кузницу. Только позже, когда в Томске собирали сруб, укладывая каждое бревно на свое место, я понял их назначение. Этот эпизод засел у меня в голове бесполезным грузом на всю жизнь. Стоит мне где-либо увидеть дом с пронумерованными бревнами, как я отмечаю про себя, что вот это строение перевозили.

План отца по перевозке кузницы в город был очень простым: из бревен и досок разобранный кузницы сделать плот, не который погрузить ее оборудование и поделочное железо. Наша деревня стоит на Томи выше Томска и плот легко сплавить к городу, пристав всего в одном квартале от купленного дома. На плоту поплывут отец, Миша, я и Трезор. Мама насторожилась. Это я понял по беспокойному взгляду, которым она посмотрела на меня, когда отец поведал ей о своем плане. Я еще не знаю, как к этому отнестись. Вроде интересно. Но я никогда не плавал на плоту, и огромная Томь пугала.

Вершинин

Когда сруб кузницы был на половину разобран, отец послал меня за соседом Вершининым. Я любил выполнять серьезные поручения и мигом слетал за ним. Пришел сосед, запряг Серко в телегу, вынул толстый, густо смазанный дегтем шкворень, и телега отделилась от передка, который тотчас повернулся вверх осью. Затем он положил несколько бревен концами на передок, привязал веревкой, и Серко поволок их к берегу.

Вершинин мужик обстоятельный и уважительный. Он делает все спокойно и молча. Видя, что я собрался с ним к реке, он посадил меня на бревна, а сам пошел сбоку, управляя конем длинными веревочными вожжами. Пока Вершинин сгружает бревна на песчаном берегу, я ношусь по кромке воды, поднимая фонтаны теплых брызг. Потом я смотрю на куст тальника, оказавшийся в воде. Его гибкие прутья с длинными узкими листьями то вовсе скрываются под рябью стремнины, то выскакивают наверх, как бы глотнуть свежего воздуха. Противоположный берег далеко. На нем видны лишь крупные деревья да темные кupy кустарников.

Да, Томь – это не наша батурина река – переплюйка Икунина, которой и на середине воробью по колено. Картина полноводной широкой и быстрой Томи внушает опасения и страхи. Я на миг представил себя во власти этой грозной стихии. Однако картина гибели сменяется счастливым спасением, и я снова, оседлав прут, шлепаю босыми ногами по отмытому прибрежному песку, ловко поддевая носками прозрачную воду.

Возвращаемся за бревнами в деревню. Я иду рядом с Вершинным. На передок не сядешь: он крутится и к тому же весь в дегте. Вершинин нагибается ко мне и ласково спрашивает:

– На вершни хошь?

Я согласно и радостно киваю. Своих ребятишек у Вершинина нет и я чувствую, что ему самому приятно возиться со мной. Он слегка сдвигает седелку к хвосту, осторожно берет меня своими железными клешнями под мышки и сажает на спину Серко между седелкой и хомутом. Серко продолжает идти ровным шагом и лишь изредка оборачивается и косит на меня свои добрые маслянистые глаза.

– Держись за хомут, не бойся, – говорит спокойно Вершинин, идя рядом по заросшему травой переулку. Вот он достает кiset из кармана засаленной поддевки, разматывает веревочку и желтыми заскорузлыми пальцами достает щепотку зеленой пыли. Это – порция нюхательного табака для одного раза. Не убирая кисета, он не спеша закладывает понюшку в нос, шумно втягивая воздух одной и затем второй ноздрей. Я уже знаю, что скоро Вершинин

начнет блаженно чихать, открывая каждый раз рот и закрывая глаза. После этого Вершинин становится особенно сговорчив и добр. Прочихавшись, он будет с нетерпением ждать, когда можно будет опять достать душистый кисет. Если же он поторопится, то понюшка не вызовет желанного чиха. Но тянуть особенно Вершинин не любит, желая поскорее снова получить удовольствие.

Как зовут Вершинина я не знал, В доме у нас его называли только по фамилии. Поэтому я его не называл никак, каждый раз выражая вопрос или просьбу подходящим способом. Как-то я был все же вынужден его назвать и сказал «дядя Вершинин». Он улыбнулся, но ничего не сказал, и я не понял, как он отнесся к такому обращению. Меня он тоже не называл по имени, видимо, по-деревенски стесняясь произнести чуждое для русского языка и уха имя Лев.

Вот так мы с ним и обходились без имен, питая друг к другу самые добрые чувства...

Плот

Наконец, разобранная кузница и станок дляковки лошадей перевезены на берег. Отец с помощниками принялся вязать и сколачивать плот. В ход пошли веревки, проволока, цепи, скобы, гвозди. Вначале плот сооружали на берегу, потом его пришлось столкнуть в воду, так как он получался очень тяжелым и стащить его в реку потом мы бы уже не смогли. Особенно тяжелыми были четыре толстых столба конного станка: нижние их концы были сырыми, так как долгое время стояли вкопанными в землю.

На следующий день стали возить груз: мех, наковальню, инструмент, железо и другую мелочь, которую жаль было бросать. По мере того, как старые щелистые бревна и доски намокали и увеличивался вес погруженного на плот имущества он все более оседал и его время от времени приходилось все дальше отталкивать от берега.

Прибежав в очередной раз на берег покормить мужиков, мама сильно смутилась, увидев наше неуклюжее и перегруженное сооружение.

– Колюша, – ласково с надеждой на согласие обратилась она к отцу, – ребенка, пожалуй, на плот брать не стоит (отец и мама в присутствии старших Таси и Миши обычно называли меня ребенком. Если же меня кто-либо обижал, то ребенком называли обязательно).

– Львишку я лучше отвезу вместе с Тасей и Олей, – продолжала она, – как только вы с Мишей отплывете, я с узлами и ребятами выеду в Томск на Серко.

Я уже привык к мысли, что поплыву на плоту. Поэтому я кинулся к маме,

обнял ее за колени и, задрвав голову, умоляюще смотрел в ее ласковые глаза и слезно просил, чтобы она отпустила меня вместе с отцом и Мишей.

Отец не любил менять своих решений, тем более на глазах семьи. Он посмотрел на плот, на меня и твердо сказал:

– Ребенка посадим в обласок. На нем не опасно, да плыть-то, – добавил он, – всего ничего: утром оттолкнемся, а к обеду причалим.

– Хорошо, Колюша, – согласилась мама: она с ним никогда не спорила. Но по всему было видно, что эта затея была ей не по душе. Она выросла на Оби, видела плоты и настоящих плотогонов и поэтому зрелище нашего ковчега, которым отец будет по сути управлять один, вселяло в нее тревогу.

Отплывали на следующее утро. К реке шли впятером. Мама с Тасей несли большую двуручную корзину со спальными принадлежностями. Оля пыталась им помогать, но чаще носилась за красавцами-мотыльками, во множестве порхавшими в теплом утреннем воздухе. Миша важно нес корзину с едой. Я возглавлял шествие, ведя на цепи Трезора. Отец ночевал на плоту, охраняя его на всякий случай.

Когда мы пришли, он уже был на ногах и, поджидая нас, еще раз проверял укладку имущества. Пока мама его кормила, меня усадили в обласок, а Трезора привязали к наковальне, стоявшей в центре плота рядом с кожаным мехом. Наконец, все готово. Отец и Миша вооружились шестами и встали на краю плота.

– Ну, поплыли с Богом! Отвязывай, Танюша! – скомандовал отец, и они уперлись шестами в берег.

Мама отвязала веревку от вбитого в песок кола, быстро свернула и ловко кинула ее на плот.

– Тебе впору матросом на баржу, – засмеялся отец, отметив ее сноровку, и стал отталкиваться от берега.

Миша помогал. Вот плот подхватило течением и стоявшие рядом мама, Тася и Оля стали быстро удаляться. Смотрел на них я один. Отцу с Мишей было не до этого: они орудовали шестами, отгоняя плот в сторону от быстро приближавшегося к нам песчаного островка. Последнее, что я увидел на батуринском берегу, были совсем маленькие фигурки женской половины нашей семьи. Но и они вскоре исчезли за прибрежными кустами.

Навсегда скрылся из глаз родной берег, берег моего детства, я плыл к незнакомому берегу своей юности...

*...Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать...*

Николай Рубцов

Отгнав плот к середине реки отец и Миша постепенно успокоились. Все шло как надо: плот попал на основной фарватер, и нас понесло еще быстрее. Вскоре наши сплавщики обрели уверенность: они уже сидели на бревнах, греясь на солнышке и весело переговариваясь. Трезор же притих, тревожно озираясь вокруг: всюду была вода, куда бы он ни повернул свою кудлатую голову. Я удобно сидел на среднем сидении обласка и не отрывая глаз смотрел на проплывавшие мимо незнакомые берега. Меня стало занимать, что деревья, росшие вдали от берега, быстро обгоняли прибрежные кусты. Получалась непонятная и забавная карусель. Лес же на далеком высоком берегу Томи был неподвижен. Если не смотреть на постепенно отстававший от нас хоровод деревьев и кустов, то казалось, что наш плот, как и тот далекий лес, стоят на месте. Так мы плыли довольно долго. Плот медленно вращался и привязанный к нему обласок плыл то сзади, то сбоку, то спереди.

Я проголодался и запросил есть. Все оживились, вспомнив, что пора закусить. Миша взял корзинку, достал каждому по шаньге с молотой сушеной черемухой, и мы принялись за еще теплые мамины изделия, которые она пекла только по праздникам. Особенно вкусной была черемуховая начинка. Я всегда начинал есть шаньги с начинки. Голодный Трезор всполошился и всем своим просящим видом, часто переставляя лапы и тонко повизгивая, обращался то к отцу, то к Мише, то ко мне. На меня, как на своего кормильца, он смотрел значительно дольше. Мне ничего не оставалось, как бросить ему доньшко — самую невкусную часть шанежки, которая находилась под начинкой и обычно плохо пропекалась. Но Трезор не знал этого и мгновенно проглотил лакомый кусочек. Потом съели еще по шаньге, запивая зачерпнутой из реки прозрачной и вкусной водой. Трезора Миша также чем-то покормил. Потом его одолела жажда, и Трезор натягивал цепь, стремясь к воде. Миша ослабил ее и он долго и звонко лакал, упершись лапами в крайнее бревно плота.

Занимаясь едой, наши плотогоны поздно заметили мель: плот прощуршал по песчаному дну, остановился, и струи быстрой воды зажурчали по его бокам. Я испугался и смотрел на отца, что он будет делать. Но отец только чесал затылок и повторил, чтобы эту мель язвило.

Если бы наш плот не сидел так глубоко, то мы благополучно миновали бы это мелкое место. Теперь же отец с Мишей разделись и взяв шесты прыгнули в воду, которая даже отцу была выше колен. Они обошли плот кругом, измеряя глубину шестами. Затем они шестами же, как рычагами принялись сталкивать плот на глубокую воду. Трезорка, изнывая под палящим солнцем, рвался в воду, полагая, что его друзья купаются.

С великим трудом снялись с мели. Теперь отец особенно внимательно смотрел вперед, стараясь во время заметить рябь на воде, которая обычно возникает на мелководе.

Томь выше города не судоходна и речники не углубляют ее землечерпалками, как они это делают ниже Томска, поэтому она часто меняет русло, перегоняя с места на место придонный песок и создавая мели.

Мы довольно долго спокойно плыли, не подозревая, что к нам подбирается более серьезная беда. Первым тревогу поднял Трезор, когда он вдруг вскочил и заскулил, перебирая мокрыми лапами. Тогда только мы заметили, что плот наш осел и поверх бревен появилась вода. Наступил тот момент, когда все более намокавшие бревна и доски уже едва удерживали на плаву груз и людей.

Отец с Мишей быстро перебрались ко мне в обласок. Плот слегка приподнялся. Трезор, чуя опасность, рвался к нам в лодку. Его отвязали и устроили на носу.

Отец сел на весла и стал грести. Наш караван постепенно развернулся вдоль реки: обласок шел впереди, таща за собой плот. Отец еще сильнее налег на весла, и мы стали заметно обгонять воду. Отец понимал, что время работает против нас, и надо скорее добраться до города. Он сидел спиной к носу лодки и ему приходилось часто оборачиваться, чтобы видеть, куда грести. Мы с Мишей ему помогали, всматриваясь в расстилающуюся впереди водную гладь. Омели мы уже не думали, так как река становилась все шире и глубже. Теперь отец неотрывно следил за плотом. Вскоре он заметил, что тот вновь оседает. Положение становилось отчаянным. Отец перестал грести, причалил к готовому погрузится в пучину плоту и в сердцах выругался:

- А што бы тебя язвило!

И с таким тяжким вздохом добавил:

- Железо придется сбросить...

С угрюмой решительностью он вскочил на плот и стал быстро кидать в воду свое богатство.

Вот забулькали длинные прутики кругляка, зашлепали большие куски нового полосового железа для колесных шин, подняли фонтаны брызг тяжеленные ящики с болтами и гайками, забулькала прочая железная мелочь. Дошла очередь и до шин, многие из которых были мне знакомы: отец давал мне катать и по улице перед кузницей. Все сверстники завидовали мне тогда, потому что шины были от настоящих тележных колес, а не какие-то ржавые погнутые обручи от разошедшихся бочек, которые обычно катала ребятня.

Остановился отец, когда на плоту остался лишь мех, наковальня, тиски и ящик с инструментом. Он молча сел в обласок и, зачерпывая воду ладонью, умыл вспотевшее лицо. Посидев в раздумьи, взялся за весла. Обласок опять встал впереди, сильно натянув веревку. Теперь наш злополучный ковчег приподнялся и выглядел бодрее, вселяя надежду на благополучный исход сплава.

Мне было жалко отца, жалко железо и особенно колесные шины. Миша, видя, что он сильно расстроен, успокаивал его и говорил, что в городе можно купить любое железо.

На правом берегу показалась группа желтоватых тесовых домиков в окружении темно-зеленого кедровника.

– Басандайка! – обрадовано воскликнул отец, кивнув головой в сторону видневшихся построек. – Теперь до города рукой подать! Дотянем, ребята! – подытожил он весело и сильнее налег на весла.

В наших краях много рек, гор и деревень с татарскими названиями. Но эта, проплывавшая мимо деревенька со звонким татарским названием Басандайка показалась мне чем-то особенным, спасительным: не даром так обрадовался ей отец.

Сидевший на носу Трезор слегка загрустил. Он не все понимал, что делали его двуногие друзья. Особенно озадачило поведение того большого и строгого, когда он кидал все в реку. Трезор едва успевал провожать глазами летевшие в воду всякие штуки. Память ему ничего не подсказывала, так как раньше он ничего подобного не видел. И только тогда, когда все спокойно уселись, и улыбающийся Миша вновь потянулся к заветной корзинке, Трезору снова стало все понятным. Он бодро вскочил, радостно забил хвостом и, взвизгнув на высокой ноте, быстро сглотнул голодную слюну...

Глава 3

Мама

Фотография 1923 года

*Тихая моя родина.
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои...
Николай Рубцов*

В моем сознании мама достаточно ясно проявилась с лета 1924г, когда мне шел пятый год. Тогда мы еще жили в Батуриной. Через год мы переехали в Томск, где она вскоре трагически скончалась совсем молодой.

Судьба мне уготовила слишком малый срок общения с самым дорогим человеком: два последних года нашей жизни в деревне и четыре незаметно пролетевших года в городе. Потом потянулась бесконечная вереница воспоминаний: теплых и грустных, о счастливом времени, прожитом под ее крылышком, и горестных воспоминаний о ее внезапной болезни, кончине и похоронах, таких обыденных и таких прискорбных...

Мама была невысокой, подвижной, слегка полноватой женщиной с пригожим лицом и длинными русыми волосами. Она легко сходилась с людьми, отзывалась на их нужды и заботы и потому у нее всегда было много подруг и на родной Вьюне, и в Новониколаевске, и в Батуриной, и в Томске. С 1911 по 1920 годы она родила двух девочек и трех мальчиков. Умер только мой братишка Валерик, когда ему еще не было и двух лет.

Я в семье родился последним. Родители, представляя меня незнакомым людям, называли обычно последышем, что никак не соответствовало моему виду: я не по годам был рослым и крепким. В тот двадцатый год народ в Сибири сильно бедствовал от разорившей ее гражданской войны. Многие голодали. А тут еще отец заболел тифом и лежал в городской инфекционной больнице в Томске, откуда на Каштак, где было городское кладбище, то и дело возили покойников.

Мама разрывалась между домом и городом: надо было кормить меня – грудного младенца. И надо спасти мужа. Последнее было важнее. Поэтому я был переведен на коровье молоко от нашей Беляны, которым меня кормила старшая в семье девятилетняя Тася.

Позже мама и Тася говорили, что и меня ждала участь Валерияна. Но я каким-то чудом выжил, не откинул свои еще мягкие копытца.

С того времени у меня осталось устойчивое отвращение к парному молоку, а связанные с ним эпизоды, я хорошо помню, несмотря на то, что мне было три – три с половиной года. Они лежат на самом дне моей памяти, хранятся в первых ее ячейках и живут сами по себе, не будучи связанными с другими событиями, существовавшего помимо меня мира.

Тася рассказывала, что я сосал жгутик из тряпочек, которые она обматывала в молоко. Со временем я настолько отвык от маминой груди, что потом ни в какую не хотел ее брать, стеснялся. Когда я уже подрос, мама это обстоятельство использовала, придумав своеобразную игру. Вот она подзывает меня, берет на колени, обнимает мягкими и теплыми руками, целует в макушку. Я на седьмом небе, не часто на мою долю выпадали такие счастливые минутки, но вот мама наклоняется ко мне, и, щекоча горячими губами ухо, шепчет:

– Львишка! Хочешь моего молочка? – сопровождая вопрос движением руки за грудью.

Меня как ветром сдувало с колен и я убегаю в другую комнату, плотно прикрыв за собой дверь, за которой слышны веселые возгласы и смех. Таким же способом мама часто сгоняла меня с колен, чтобы заняться бесконечными делами по хлопотному деревенскому хозяйству.

Летом 1924 года к нам в Батурину приехала бабушка Степанида Григорьевна. Мама очень обрадовалась приезду своей мамы, она вся как-то расцвела и не знала, куда ее посадить. Мы – детвора – также очень радовались, тем более, что «баушка» (как все мы ее звали и как вообще звали бабушек в Сибири) привезла целый мешок всяких печенюшек. Приезд бабушки был ярким событием в моей жизни и потому хорошо запомнился. Бабушке еще не было и пятидесяти, и она была энергичной, работающей женщиной. Но вот бабушка гостит у нас несколько дней. В Сибири считается, что гость – на три дня: потом он включается в работу семьи. И бабушка принялась помогать маме по дому и огороду. В один из дней все женщины мама, бабушка, Тася и Оля – с утра пошли полоть задний огород. Когда я проснулся, то дома никого не застал. Побежал в кузницу, где работал отец с моим старшим братом Мишей, и спросил, куда все ушли. Когда отец был чем-то расстроен или сердился на маму, то на мой вопрос, где мама, обычно грубо отвечал:

– Волки на твоей маме в лес по большой нужде уехали!

И на этот раз оказалось, что на маме уехали волки, и я побежал ее искать.

Обнаружил всех в огороде. Бабушка заметила, что я плохо закрыл за собой калитку и крикнула, чтобы прикрыл ее плотнее. Я кинулся назад, но по пути задержался у толстых стручков бобов и гороха. Вездесущие куры воспользовались моей промашкой и тотчас же проникли в заветный для них огород. Они тотчас накинулись на самое дорогое в нем – огуречные лунки, быстро склевывая нежные зародыши и роя землю крепкими трехпальными лапами. Казалось, что куры только и ждали случая уничтожить знаменитые батуринские огурцы – гордость жителей нашей деревни.

Бабушка первой увидела кур на лунках и ястребом кинулась на них. Совместными усилиями мы впятером с трудом выгнали этих кудачтающих безголовых тварей. Когда с бедой справились, бабушка подошла ко мне и так сильно отругала, что я уже подготовился к затрещине, которую она была готова вот-вот отпустить. Била она обычно концами согнутых пальцев по голове. Я стоял, низко опустив голову и нахмурил белесые брови. Бабушка сказала мне еще несколько резких слов и ушла к своей грядке.

Когда суматоха постепенно улеглась, и женщины вновь усердно пололи, переговаривались между собой, я выдернул из грядки морковку покрупнее, скрутил мягкую ботву, вытер ею морковку и принялся жевать, стоя рядом с мамой. Но удовольствия от морковки я не получил: мне было обидно, что «баушка», которую мы ждали всю зиму и половину лета, наша дорогая «гостыюшка», так отругала меня за невольную ошибку! Я очень ее любил, а теперь – пожалуйста: чуть не ударила. У детей свой мир, в котором все родные и близкие – действующие лица в том житейском спектакле, который сложился у них в голове. В центре же этого нехитрого действия, его главный герой – ребенок. И это естественно, так как он еще не может понять своего действительного места среди взрослых.

Только вот совсем неестественно, когда взрослые не понимают или не хотят понять, что у детей своя логика, с которой надо считаться. Я уже не говорю о том, что как бы взрослый человек не был сердит, волки в лес по нужде должны бегать на своих ногах.

В связи с этими волками припомнилось интересное обстоятельство. Несмотря на то, что отец довольно часто говорил мне, что на маме (а иногда и на бабушке) волки в лес уехали, я всегда представлял себе обратную картину: мама или бабушка ехали в лес на волках. Происходило это, видимо, потому, что представить себе волка, оседлавшего человека, или сидящего в телеге, в которую он запряжен, я не мог: не хватало фантазии.

Лето 1923 года бежало к концу. Стояли погожие деньки. В деревню приехал томский фотограф и снимал всех желающих. На следующий день он выдавал фотографии и собирал деньги. Карточки с большим интересом рассматривали все сбежавшиеся. Я то и дело раздавался веселые возгласы и дружный смех.

Мы с Олей смешались с ватагой ребятишек и бегали от дома к дому, сопровождая важного незнакомца с большим черным ящиком на высокой треноге. Снимались чаще всего семьями у своих домов. Хозяева выносили за ворота скамейки или табуретки, фотограф вбивал два гвоздя в ворота или бревна дома и вешал на них большую белую простыню, которую он носил в бауле. Я впервые видел фотографа и на все, что и как он делал, я смотрел во все глаза и потому до сих пор помню устройство его аппарата, и как он снимал. Мог ли я тогда подумать, что примерно через шесть лет я сам сделаю простенький фотоаппарат и научусь фотографировать. Покупными были только две детали: линза от очков с большим увеличением и металлическая кассета для фотопластинок шесть на девять сантиметров. С тех давних пор я потихоньку фотографирую всю жизнь. Вот и сейчас в перерывах между работой на машинке я делаю репродукции со старых фотографий для своей повести.

Аппарат того фотографа был похож на старенькую гармошку деда Макара: у него тоже был большой кожаный мех. Фотограф подолгу колдовал, накрываясь большим черным платком, потом выныривал из него, щуря глаза от яркого солнца. Затем он торжественно двумя пальцами брался за колпачок на стеклянном глазке аппарата и строго произносил:

– Внимание, снимаю!

Лица фотографируемых каменели, глаза впивались в указанную фотографом точку. Намертво застывали и зрители. В торжественной тишине фотограф снимает колпачок, делает им в воздухе несколько плавных круговых движений и осторожно водружает его на место. Все с облегчением вздыхают, оживленно переговариваются, смеются. Лица снявшихся вновь становятся естественными: симпатичными и веселыми.

Фотограф накидывает на аппарат черный плат, приподнимает его, сводит треногу, укладывает все это на плечо, берет баул, и мы сопровождаем его к следующему дому, где его уже ждут принарядившиеся хозяева.

К моему великому огорчению наш дом прошли мимо. Отец еще не вернулся с охоты, а без него мама сниматься не хотела. Мама говорила, что он вот-вот должен подойти. Легко сказать вот-вот! А если он вообще сегодня не вернется с охоты? Заночует в стогу и все! Фотограф же снимает последний день. Завтра раздаст последние карточки и поминай как его звали.

Мои горькие размышления прервала прибежавшая Тася. Запыхавшаяся, она радостно сообщила, что отец пришел и попросила фотографа вернуться к нашему дому. Я полетел к маме: надо как следует подготовиться.

Фотограф, сняв нашего соседа Вершинина с женой, собрал свои принадлежности и направился к нам. Отец уже снял охотничью сумку, патронташ, отстегнул от пояса стянутых под горло ременной петлей убитых уток и сидит на скамейке в огромных охотничьих сапогах-броднях. Мама берет ружье и охотничьи принадлежности, я беру уток, и мы спешим в дом переодеваться.

Мама еще до прихода отца одела новое платье с белым вязанным воротничком и причесывала волосы. В ушах у нее дутые золотые сережки. Тася тоже одела новое платьице с короткими широкими рукавами. Мама достает из сундука коробочку со своим золотым медальоном и надевает Тасе на шею. У Таси загораются глаза, но она сдерживает радость: сейчас не до этого. Миша одевает недавно купленный ему картуз, подпоясывается широким солдатским ремнем (его особая гордость) и обувает сапоги. На Олю мама махом надевает чистенькое платье-балахончик. На меня надевают рубашку и подвязывают ее подвернувшейся под руку веревочкой. Обуть нам с Олей нечего и мы идем сниматься босыми...

Я рад, что сохранилась эта давнишняя фотография. На ней у меня вполне серьезный вид. Правую руку я держу в единственном кармане: никак не мог упротить маму сделать два кармана, как у больших, когда она на скорую руку строчила мне очередные штаны чуть ниже колен, которые обычно держались на одной ляжке. Другого фасона мама или не знала, или считала этот самым лучшим.

Простая вещь — фотокарточка. Но она запечатлела время и вызывает столько воспоминаний. Нескончаемым потоком течет река времени, все дальше от нас прошлое, но мгновение, остановленное на снимке, не постареет никогда.

Пахотный надел

Ранней весной 1924 года отец, пользуясь льготами НЭПа, получил пахотный надел. Он решил засеять его яровой пшеницей. В деревне с покон веков сеяли озимую рожь, а о «пашеничке» только мечтали, как только могут мечтать люди, у которых на столе всегда черный хлеб. Да и черного в те смутные годы не всегда хватало до нового урожая.

Работники волисполкома отмеряли отцу небольшой участок целины на пойменных лугах за Мокрой Еланью в трех верстах от деревни, чему родители были очень рады. Некоторые хозяева получили землю у Косой Балки, до которой надо было ехать и ехать.

Плуга и бороны у отца не было, и он все это позаимствовал у соседа Вершинина, пообещав ему за это оковать к зиме новые сани.

Ранним утром отец с Мишей запрягли Серко в телегу, погрузили на нее однолемешный плуг, борону «зигзаг» (и то, и другое было в деревне новинкой: у большинства были еще деревянные бороны и сохи), корзинку с едой и лагушку с квасом. Но, к нашему удивлению, они вскоре вернулись сильно расстроенные. Оказалось, что ни Серко, ни отец не умели пахать. Отец только

видел как пашут, но сам за плугом не ходил. Серко горячился, тянул рывками, то и дело останавливался, не в силах тянуть плуг по целине, часто сбивался с борозды.

– Крепка целина, да черт ей рад. Это тебе не огород пахать, где земля перепажана, да перекопана, – ворчал отец, вздыхая.

– Целину надо пахать на хорошей паре. Да и пахать надо уметь.

Втроем – я, отец и Миша – идем снова к Вершинину просить у него теперь еще и коня. Вершинин, выслушав отца, стал усердно скрести затылок. Гнедой для Вершинина – это не плуг и не борона, а живое существо, на котором держалось все хозяйство. Сосед понимал, что Ларионыч хотя и хороший кузнец, но не пахарь и поэтому может ненароком запалить коня. После долгого раздумья и переговоров порешили на том, что надел вспашет и заборонует сам Вершинин, а отец кроме саней отремонтирует ему еще и телегу и два раза подкует Гнедого.

Во время этих переговоров на дворе Вершинина, усталом широкими плахами, неожиданно появился дед Макар. Узнав, что отец собирается заняться пшеницей, он сильно забеспокоился и решительно заговорил:

– Ларивоныч! Ты ведь меня знаешь! Я пахарь природный. Как это там поется: отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним... – затанул дребезжащим голосом Макара.

– Позволь мне, Ларивоныч, засеять твой надел, – скороговоркой продолжал Макар, – я на этом деле не одну собаку съел. Посею – не пожалеешь! Пшеничка вырастет отменная. Не сумлевайся, Ларивоныч!

Отец не стал отказывать услужливому человеку, и дед радостно ухватился двумя руками за поданную ему руку в знак согласия.

Мы с отцом пришли на пашню, когда Вершинин заканчивал боронить, рыхля мощные пласты дерна вековой целины. Он стоял на бороне, управляя длинными вожжами шагавшими в поре Гнедым и Серко. Пушистая шерсть этих небольших сибирских лошадок была мокрой от пота и прилегла к коже, отчего они казались сильно истощавшими. Плуг лежал боком на меже. Его отвал, лемех и нож серебром сияли на весеннем солнышке.

Разборонив последние пласты дерна, Вершинин съехал на межу, отцепил от вальков борону и пошел к нам навстречу, ведя под уздцы усталых лошадей. Отец подошел к Вершинину, обнял его мокрые плечи и сказал:

– Ну, сосед, век буду ковать твоего Гнедко даром! Уж больно тяжелой оказалась эта целина! Я бы никому не поверил, если бы не увидел своими глазами.

Вершинин смутился, не найдясь, что ответить на добрые слова и только широко улыбался, вытирая рукавом мокрый лоб. Потом он полез за кисетом и отзываясь на похвалу, как бы размышляя, заговорил:

– Да, чо, Ларивоныч! Пашешь – плачешь, а жнешь – от радости скачешь. Ну, а касаемо помощи, так это – святое дело. Дерево крепко корнями, а человек – дружбой. В одиночку всего не одолеешь, Кто сам ко всем лицом, к тому и добрые люди не спиной!

Сеять поехали на следующее утро. Серко, заметно напрягая задние ноги, тянул телегу, на которой сидели дед Макар, отец, Миша и я. К тому же мы везли мешок пшеницы, борону и прочую мелочь. Выехали на покосину. По бокам потянулись знакомы поля и перелески.

– Еду как-то поздней осенью, – начал байку Макар, – на своей черной кобыле. Незаметно ночь спустилась, а дорога как на грех бором пошла. Темень – глаза выколи. Даже кобыльего хвоста не вижу, а волков вокруг – страсть: не заметишь, как в одночасье кобылу съедят. Порой соскакиваю, щупаю – кобыла цела и дальше еду. Страшно вспомнить, да грех – утаить! – заканчивает он небылицу, лукаво ухмыляясь в бороду. Все весело переглядываются, понимая, что Макар, как всегда завирает.

– Бают, – продолжает, помолчав, Макар, – что так вот ночью коня у мужика съели, когда он задремал себе на беду. Очнулся, видит: волки шею в хомуте доедают. Мужик их с горя и досады давай кнутом по спинам да по бокам лупцевать. Два волка застряли в хомуте и помчали мужика не хуже пары лошадей. До дома уж совсем немного оставалось, да тут волки сумели из хомута выскочить и в лес податься, – заканчивает под общий смех Макар свою невероятную историю.

Проходит минута и Макар, складно сказав, что плохо, когда нет под рукой гармошки, запевает:

– Ехала телега мимо мужика...

Потом, словно вырвавшись на простор бескрайних лугов, полились заливчатские частушки:

*Я отчаянным родился,
Я отчаянным помру.
Если голову сломают,
Я баранью привяжу...*

После «отчаянных» частушек пошли частушки нескладушки, которых у нас в Сибири великое множество.

*Сидит заяц на березе,
Не женатый – холостой.
На дворе стоит телега –
Никто замуж не берет...*

Дед немного притих, глубоко вздохнул и запел любимые в наших краях душевные частушки.

*Тропка, под ноги ложись,
Ветер, сыпь порошею.
Отвяжись плохая жизнь,
Привяжись хорошая...*

*Ой, летят, летят года —
Кони белогривые.
Отвяжись любовь — беда!
Привяжись счастливая!*

Веселье деда передалось нам, отец улыбается. Изредка он слегка ударяет вожжей и без того старательно везущего нас Серко и с деланной строгостью покрикивает:

– Не спи, милый! Не спи! По-ше-ве-ли-вайся!

Каждая байка деда Макара – забавная небылица, услышав которую даже не улыбочивый человек не может оставаться равнодушным.

Миша пытается рассказывать мне тоже что-то смешное, но больше рукой машет, называя пробежавшие мимо гривы и елани, поля и рощи, озера и старицы. Названия были в основном татарские, Миша старше меня на семь лет. Он хорошо знает ближние окрестности нашей деревни и я в его глазах всего лишь несмышлениш, которому надо все рассказать, да растолковать. Делать это он не любит. Но сейчас у него хорошее настроение и он великодушен.

Приехали на пашню. Отец выпрягает Серко, крепит к хомуту постромки с вальком и цепляет к ним борону. Дед с Мишей снимают с телеги пшеницу и ставят мешок на траву у первой борозды. Макар насыпает зерно в потемневшее от времени берестяное лукошко, напоминающее большое решето, и перекидывает широкую лямку через плечо. Сойдя на пахоту, он посерьезнел и стал творить короткую молитву, крестясь и кланяясь в сторону еще низкого солнышка. Всем передалась торжественность происходящего. Мы замолчали и смотрели на Макара. Закончив молитву, Макар слегка приподнял голову и пошел вдоль кромки поля, захватывая пригоршнями зерно и разбрасывая его перед собой. Он совсем преобразился, в его облике и движениях чувствовалась важность и особая значимость, даже святость того что он делал. Мне казалось, что по нашему полю шел уже не смешливый сосед Макар, а совсем другой человек, который умел делать то, что не умели мы, и который был связан с какими-то таинственными, помогавшими только ему, силами.

*Родина! Просторные поля,
Душ людских родное откровение...
Тыщи лет знавала ты, земля,
Пахаря — единственного гения...*

Сергей Михеенков

За дедом Макаром идет Миша, ведя под уздцы Серко, впряженного в борону. Мы с отцом идем сзади. Отец мотыгой загребает зерна, оставшиеся на поверхности: иначе их тотчас склюют грачи, которые крутятся около пашни, выискивая червячков и прочую живность. Дойдя до конца пашни, мы идем обратно, делая новый ряд.

Дед Макар — веселый по натуре человек — не выдерживает долгого молчания и серьезности. Видимо, вспомнив или сочинив на ходу очередную небылицу, он широко улыбается, а потом смеется, оглядываясь на нас. Вот он в очередной раз останавливается с пустым лукошком, вытирает лоб и отдыхает, опустив руки. Мы с отцом и Мишей подходим к нему. Макар обводит нас веселыми глазами, в которых прыгают резвые чертики, и начинает:

— Подавиться мне сметаной, если совру! Тому назад лет восемь это было. Помню, что накануне переворота. Посеяли мы тогда с покойным отцом по осени рожь у Акча-Бара, что сразу за Долгой гривой будет. Ты, Ларионч, знаешь те поля. Она хорошо взошла, перезимовала благополучно, по весне пошли плотные зеленя. Летом смотрим и глазам не верим — вырос горох. Да такой хороший, что все амбары им забили. В один ларь с горохом дождевая вода попала, так ларь этот в щепы разнесло, туды его в качель! — он весело смеется вместе с нами, хлопая себя по бокам и показывая пожелтевшие от табака зубы.

После посева о пшенице вроде бы забыли, плодородная целина в удобрениях не нуждалась, а обильные дожди, выпавшие в мае, сулили хороший урожай. Отец вообще не показывался у делянки, с утра до позднего вечера работая с Мишей в кузнице. По натуре он был рабочим, а не хлебопашцем. Огород он тоже не любил и делал там только самое необходимое: копал по весне землю да исправлял изгородь.

Мама была совсем другим человеком. Она выросла в семье потомственных хлебопашцев и потому любила и умела работать в поле. Не проходило и недели, чтобы мама, улучив момент, не спросила меня:

- Поедем, посмотрим полоску? — зная наперед, что я всегда с радостью готов прокатиться.

На скорую руку она закладывает Серко в легкие дрожки, и тот на хорошей рыси мчит нас к «хлебу». Приезжаем. Мама привычным движением разнуздывает коня, ослабляет подпругу и чресседельник, бросает Серко

охапку сена и привязывает вожжи к растущему рядом кусту. Это на всякий случай, чтобы Серко не убежал, испугавшись чего-либо, что с ним случилось.

Потом мы обходили нашу полоску. Пшеница взошла на славу – густая, ровная без огрехов.

– Хорошо посеял дедушка Макар! Спасибо ему, – говорит мама, собирая в горсть наливающиеся колосья и нежно отпуская их на волю, разжимая пальцы. Увидев среди колосьев кустик голубых васильков, она нагибается и вырывает его с корнем и кидает на межу. Я поднимаю на маму удивленные глаза. Она отвечает на мой немой вопрос:

– Сорняки это, Львишка, сорняки, хотя очень красивые и называются васильками. Их надо уничтожать! – а сама тянется к другому кустику синеньких цветов с таким ласковым именем.

Мне это кажется странным и я начинаю размышлять. К примеру, чертополох – сразу понятно, что растение плохое – сорняк: у него и вид и название – хуже не придумаешь. И колетса как! А тут – василек. Теперь я думаю, что наверное люди давали такое хорошее имя этому цветку, увидев его впервые в диком поле, где он никому не мешал, а украшал местность. А когда люди стали сеять, и он перебрался на их поля, то было уже поздно придумывать ему новое название.

Как-то отец уехал на Серко в город и мама взяла нас с Олей с собой посмотреть, как растет «пшеничка». Обычно туда мы ездили на дрожках, а тогда отправились пешком. Посмотрели поле и пошли домой опушкой большой рощи белоствольных берез. Мама собирала грибы, складывая их в поднятый за углы передник. Мы с Олей отыскивали переспевшие сладкие ягодки отошедшей уже земляники.

Вдруг откуда ни возьмись появился бешено мчавшийся к нам зайчонок. Вскоре мы увидели преследовавшую его собаку. Обезумевший от страха зверек, ища спасения, подлетел к маме, прыгнул к ней в передник, где лежали грибы и сжался в комочек. Страшно перепуганная мама стояла в полной растерянности. Мы с Олей тоже разинули рты от неожиданности. Быстрее всех нашелся зайчонок. Видя, что смертельная опасность миновала, он выскочил из передника и мгновенно скрылся в высокой траве. Собака же стояла на месте и смотрела то на маму, то в сторону убежавшего зайца. Видимо, она решила, что заяц наш и преследовать его на глазах хозяев побоялась. Собака была соседа, жившего через дом, и всех нас хорошо знала, так как на цепи он ее не держал. Когда волнения улеглись и мы продолжали свой путь вдоль опушки, обсуждая случившееся, она до самой деревни бежала сзади.

Как и многие деревенские женщины той поры, мама была суеверной и потому, рассказывая кому-нибудь о странном случае с зайцем, она неизменно добавляла:

– Не к добру это, не к добру. Но бог не без милости. Может все обойдется...

В разгар лета, когда стал наливаться колос, и небо по вечерам озарялось сполохами бесшумных гроз, по деревне прошел тревожный слух: у многих хозяев медведи потравили посевы. Эта весть встревожила хлебопашцев, взбудоражила охотников. В тот же день вечером, не сговариваясь, мужики собрались на деревенской площади у пожарного сарая, где на невысоком столбе висел кусок рельса. Я пошел с отцом. Охотник зарождался и во мне. К тому же предстояла охота не на каких-то там беззащитных и пугливых уток, а на медведей. К ним народ с незапамятных времен относился одинаково со страхом и уважением. Видимо, сибиряки это переняли от коренных северных народов, которые считали, что человек произошел от медведя.

Позже мне как-то привелось посидеть у костра в верховьях Томи с местными жителями – остяками. Они радушно приняли меня, угостили ухой из стерляди, и наш разговор протянулся за полночь. Посчитав меня «ученым» человеком, хозяева старались вести и «ученые» разговоры. Особенно их волновал вопрос, почему считают, что человек произошел от обезьяны.

– Пошто так говорят ученые люди?! – искренне недоумевал самый старый их собеседников, неотрывно держа у рта тонкий мундштук самодельной трубки.

– Человек – обстоятельный, сильный и умный, как медведь. От медведя он и ведет свой род. Если бы он вел его от мартышки, то был бы суетливым, без конца прыгал и чесался! Видел я как-то в Минусинске ходяк водил мартышку на поводке – одна суета и безобразие! Скажут же – от обезьяны, смешно и даже оскорбительно! – закончил старик и решительно выбил догоревшую трубку, чувствуя неоспоримость своих доводов. У костра притихли, бросая быстрые взгляды в мою сторону. Я не стал разубеждать старого остяка. Тем более, что мне тоже казалось, что лучше бы человек происходил от медведя.

Вновь набив трубку и раскурив ее от прутика, вынутого из огня, древний старик, глядя в огонь, уже спокойно сказал:

– Не знаю, может какой народ и тянет род от обезьяны – спорить не буду. Но мы – остяки – от медведя. Он – наш родоначальник!

В известной песне:

*Ты, медведюшко-батюшка,
Ты не тронь мою коровушку,
Ты не тронь мою коровушку,
Не губи мою головушку...*

Хорошо видно отношение деревенских жителей лесных краев к этому сильному и опасному зверю, который, по их мнению, в то же время пони-

мает заботы крестьян. В Сибири ряженный в шкуру медведя часто занимает центральное место в плясках и хороводах.

Стихийную сходку охотников распалая Пахом Одноногий. Этот средних лет подвижный мужик еще в молодости потерял ногу и теперь ходил то с костылем, то на деревянной «ноге» с подоткнутой под пояс пустой штаниной. Свою инвалидность он переносил легко, и от него можно было часто услышать частушку:

*Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
Сапогов немного надо
И партошина одна..*

Пахом по натуре был легким человеком и слыл в деревне одним из лучших хозяев. У него была добротна срубленная изба, хорошая лошадь, корова и полный двор блеющей, хрюкающей и кудахтающей живности.

Когда надо было косить или делать что другое двумя руками, Пахом бросал костыль и пристегивал к культе широкими ремнями самодельную «ногу» - конусный упор для колена с прибитой снизу круглой резинкой от старой галоши. Особенно удивляло всех то, что и охотился он наравне со здоровыми мужикам, неизменно возвращаясь с хорошей добычей.

Вот и сейчас он засыпал охотников разными советами по истреблению косялапых вредителей. Однако бывалые охотники-медвежатники хорошо знали, что медведи – крайне осторожные звери. Порой им по неделе приходилось сидеть в засаде, ожидая, пока медведь осмелится подойти к приваде – большому куску тухлого мяса или падали, который клали на верный выстрел жаканом. Поэтому было решено не терять время и не охотиться на медведей, а поугатать их, отогнав подальше от посевов.

Мужики распределили между собой ночи, в которые они должны были объехать посева и пострелять в воздух для острастки. Обезд решили делать раз в три дня, и потому на каждого выпала лишь одна поездка. Больше медведи не безобразничали, они ушли к овсам тех деревень, где их не беспокоили ночными выстрелами.

Неслучайно батуринские мужики сошлись на таком мирном решении. Дело в том, что для деревенских жителей медведи не были врагами, зимой они спокойно спали в своих берлогах, а летом питались ягодами и кореньями. На скот медведи нападали крайне редко. Другое дело волки. Эти кровожадные и вечно голодные хищники «резали» овец, телят, коров и лошадей, нанося огромный ущерб крестьянским хозяйствам. Поэтому охота на волков всегда организовывалась как беспощадная расправа. Тут одной острасткой не обойдешься.

Жатва

Кончился жаркий август. Хлеба быстро дозревали. Мама все чаще наведывалась к своей полоске, срывая и растирая в ладонях пожелтевшие колосья: когда зерна станут полными и твердыми – пора жать. И вот долгожданный момент наступил. Мама пересыпала крупные желтые зерна из одной ладони в другую, сдувая половику. Потом она взяла мою руку, насыпала в ладошку немного зерна и сказала:

– Ану, Львишка, пожуй! – отправила себе в рот остальные зерна. Разжевав их, она с какой-то беспредельной радостью стала оглядывать желтое поле, по которому легкий теплый ветерок гонял низкие пологие волны. От переполнившего ее счастья мама схватила меня под мышки и стала отчаянно крутить, задорно восклицая:

– Лев-чик, Лев-чик, хлеб поспел! Лев-чик, Лев-чик, хлеб поспел! – Кружась, она приблизилась к долгушке, с маху усадила меня на нее, как лихой извозчик, прыгнула боком на край плетеного коробка, и Серко, резво взяв с места, помчал нас домой. Я посмотрел на маму и незаметно сплюнул не понравившиеся мне сырые зерна...

Мама с бабушкой уже давно приготовились к жатве. Они любили эту прекрасную пору крестьянской жизни и с нетерпением ждали ее: купили в городе серпы, напекли впрок хлеба и наварили кваса, который стоял в погребе на льду, набирая силу. Все приготовления делались не спеша и обстоятельно. На все лады упоминали поговорку о том, что день жатвы год кормит.

Женщины учитывали, что будут еще помощники, которых надо хорошо накормить. Аппетит же у работающих в поле волчий. Они это хорошо знали: на их родной Вьюне хлеба сеяли много, чтобы хватило и для себя, и для продажи на базарах Ново-Николаевска, куда его возили с установлением санного пути по замершей Оби.

Жатва всегда считалась женской работой. Мужики включались в уборку лишь с обмолота. Вот и сейчас, когда мама и бабушка только и говорят о жатве, отец не проявляет к ней никакого интереса, а только иногда, как бы между прочим, спрашивает:

– Ну, бабоньки, когда жать начнем?

Наконец, жатва началась. Рано утром, когда я еще крепко спал, мама, выполняя данное мне слово, осторожно будит меня, еще полусонного несет к телеге и укладывает на дерюгу, посланную на сено. Бабушка с соседками уже сидит на телеге, свесив босые ноги, и щелкал орехи. Мама взяла вожжи, выровняла их, и когда отец открыл ворота, слегка ударила ими Серко, причмокнула, и мы тронулись.

Я в полудреме лежал на спине между сидевшими вокруг меня женщинами и смотрел на редкие облака, светлевшие в лучах встававшего солнца. Когда колеса катились по неровным колеям, я раскачивался с боку на бок, отчего облака также качались из стороны в сторону. Постепенно небо потемнело, голоса женщин укатились куда-то вдаль и я незаметно заснул...

Разбудили меня громкие возгласы мамы. Я быстро сел, протер кулаками сонные глаза и увидел на поле женщин с блестящими на солнце серпами. Женщины что-то весело кричали, показывая на лежавшие рядом снопы. Видимо, соседи жали уже давно. К тому же на поле они, наверное, пришли пешком: ни коня, ни телеги поблизости не было видно. наших женщин это обстоятельство смутило и задело за живое. Бабушка, знавшая к каждому случаю присловья и поговорки, кричит им:

– Бог в помощь, девоньки красные! Ранняя пташка клюв очищает, а поздняя – глаза протирает. Но мы вас догоним, нас четверо.

Потом она повернулась к маме, поправила платок и как бы про себя, заговорила:

– Баско жнут девчата! Небось и встали, когда еще черти в кулачки не били. А мы замешкались, Танюша! Ну, ничего. Ведь с нами еще мужик, – и она смеясь, похлопала меня по спине.

– В страду одна забота – не остановилась бы работа! – сказала бабушка уверенно, – а мы и не остановимся!

Подъехали к делянке. Мама мигом распрягла Серко, привязала к телеге и задала сена. Бабушка с соседками Прасковьей и Дарьей быстро смотали с серпов тряпки, в которые они были завернуты, чтобы никто не порезался. Косые и острые зубы серпов напоминали мне зубы шуки, с которыми я однажды познакомился, сунув из любопытства руку ей в пасть. Потом женщины одели на свои вечно босые ноги опорки, чтобы не колко было на стерне, разошлись по кромке поля с интервалом в три шага, дружно перекрестились на солнышко и начали жать.

Пока мне было интересно, я смотрел, как они работают. Хотя они делали одно и то же, но каждая трудилась по-своему: в движениях каждой были особенности. Больше всего я смотрел на маму, и мне казалось, что она жнет лучше остальных. Потом мне захотелось пить: солнце поднялось высоко и палило нещадно. Я побежал к телеге искать лагушку с квасом. Нашел ее под кустом рядом с корзиной со снедью. Выдернув деревянную затычку с тряпочкой из носка лагушки, я вволю напился холодного квасу, поговорил с Серко и пошел к своим. Жницы уже успели углубиться в пшеничное поле и за спиной у каждой лежали снопы. Вперед ушли бабушка и Прасковья. Мама с Дарьей жали ровень, но поотстали.

– Мы с тобой, Дарьюшка, как в парной упряжке: идем ухо в ухо. И снопов у нас поровну, – говорит мама, быстрыми движениями стягивая очередной сноп.

— А мама-то твоя — эвона где, отвечает круглолицая Дарья. Никогда не скажешь, что ей шестой десяток пошел! Все кольванские такие: много сеют и хлебом живут — большой город рядом. Земли много хорошей. И Прасковья кольванская, — продолжала Дарья, не переставая жать, — Федор в двадцатом там ее сосватал.

— Я родом с тех же мест, — говорит мама, — но давно уехала оттуда. С тех пор жала вот только у тебя и у Прасковьи. Вроде умею, но сноровки нет. А без сноровки быстро и хорошо не получается!

Потом она поворачивается ко мне и кричит:

— Левчик, постели себе сенца да посиди рядышком!

Я пошел к телеге, где Серко на солнцепеке лениво жевал сено, выбирая клевер и траву с листочками. Я знал, что есть он не хотел: с вечера ему задали полную мерку овса. Ему, как и мне, хотелось пить, и он ждал, когда ему принесут ведро воды или поведут поить. Серко обрадовался моему появлению и тихо заржал. Я стал выбирать ему листочки и клеверинки, которые он охотно брал, вытягивая мягкие, в редких волосках, губы. Чтобы побаловать своего друга, я пошел к корзинке, отломил краюшку от черной ковриги, разломил ее пополам, и стал кормить Серко хлебом, уплетая свою часть. Потом, когда мы сели обедать и мама увидела начатую булку, я признался, что отломил кусочек на двоих.

— Кусочек — с коровий носочек! — рассмеялась мама. Бабушка всем своим видом показывала, что не одобряет такого самовольства. Не даром она мне уже много раз назидательно говорила:

— Ешь только дома за столом. На улице кошки кусок отберут!

Когда хлеб был съеден, я стал гладить Серко по голове и смотреться в его большущие глаза: мне было смешно, как искривлялось, уменьшалось и перевертывалось мое лицо. Серко же тыкался в ладонь, подталкивал меня головой в бок, прося еще хлеба, к которому я успел его приучить. Потом я взял охапку сена и пошел к маме. По пути я думал, как бы не забыть сказать ей, что Серко пора поить. Наверное она поведет его на Томь и посадит меня верхом. Принесенное сено я положил у последнего маминого снопа, лег на живот, подпер подбородок ладонями и, болтая согнутыми ногами, стал смотреть на маму. Вот она быстро положила готовый сноп, вновь повернулась к пшенице, левой рукой захватила горсть колосьев, слегка пригнула их к себе, завела кривое лезвие серпа в промежуток, образовавшейся между отклоненными злаками и полукружьем оставшихся на месте, быстро опустила серп почти до земли, резким движением срезала колосья и положила их на стерню. Так она жала, пока не пришла пора вязать сноп. Теперь она срезает совсем немного колосьев, кладет серп, выпрямляется и быстрыми движениями скручивает связло, прижимая один его конец к боку локтем при перехвате рук. Потом она берет связло за концы,

нагибается к куче срезанных колосьев, подхватывает их на руки и плотно стягивает, аккуратно подтыкая концы соломенного жгута Сноп готов. Мама поднимает его вверх, подбрасывает как ребенка и говорит, повернувши ко мне раскрасневшееся потное лицо:

– Еще один братец родился! Положим его рядышком с другими, чтобы не плакал. – С этими словами она кладет сноп на землю, улыбаясь мне, и снова принимается за работу.

Много позже я прочитал у Есенина:

*...Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.*

Эти стихи, как и все написанное поэтом, были созвучны моей душе, я понимал, о чем он пишет, какие образы стоят за его строкой. Я видел как жали налившиеся колосья, как по осени в деревне резали гусей, именно под горло. Понять и полюбить Есенина мне помогло мое деревенское детство.

Солнце поднялось высоко, я с нетерпением жду обеда. Жара становится невыносимой. Кровососущая братия с остервенением набрасывается на меня и на Серко. Говорят, что запах пота эти паразиты чувят за много верст. Быстрых паутов я убиваю быстрым и неожиданным шлепком. Оводы значительно крупнее и менее осторожны, их можно поймать живьем и поиграть. Сильным оводам я вставляю в конец брюшка длинную тонкую соломинку и отпускаю. Овод с соломинкой летит прямо и его долго видно. Летит уже не просто овод, а мой овод. Шершней (так мы называем шмелей), ос и пчел я боюсь и отгоняю их веткой или еще чем придется. С ними шутки плохи.

Наконец, я плетусь к маме и плачусь ей, что мне жарко и что хочу «ись». Мама кладет серп в сторону, обнимает горячими руками, целует в макушку:

– Потерпи, Левчик! Бабушка говорит, что ты настоящий мужик, помощник. Иди полежи в теньке под телегой. Всем ись хочется. Сейчас мы придем и поедим вместе.

Я пошел к телеге, постелил под ней сена, лег и стал смотреть на Серко. Беднягу донимали пауты, оводы и откуда-то взявшиеся мелкие шустрые мухи, которые лезли ему в глаза. Серко, словно заведенный, резко мотал головой, как бы кивая, отчаянно хлестал себя хвостом и время от времени бил копытом о землю. Когда очередной кровопивец садился ему на спину или холку, откуда его согнать головой, хвостом или ударом копыта невозможно, Серко резко дергал кожей, летучий враг не удерживается и слетает.

Способность лошади трясти кожей в нужном месте меня удивляет. Я сам пытаюсь подергать кожей на спине и резко, как Серко, подвигать ушами, но ничего не получается, двигаются только губы, брови да плечи. Если бы у людей, думаю я, не было рук, то мы бы умели дергать кожей на спине, как это могут лошади.

Ночное

Я смотрю на муки Серко и вспоминаю рассказы Миши о ночном. В компании со своими сверстниками он часто пасет Серко ночью, когда насекомых совсем мало и лошади, сбившись в небольшой табун, могут спокойно покормиться. Пока они пасутся, ребята разводят большой костер, пекут в горячей золе картошку, варят в котелке чай и рассказывают истории одна другой страшнее и невероятней.

Славшему с открытым ртом на сенокосе мужику в рот заполз уж и он его проглотил: ему снилось, что он пил холодную воду. Что ни делали - уж не выползал. Какая-то бабка – знахарка посоветовала ему лечь в темном амбаре на пол и поставить у открытого рта миску с парным молоком. Это помогло. Уж выполз, почувяв лакомое блюдо. Все говорили, что ужи любят молоко и даже хитрят сосать коров, когда они отдыхают, лежа на траве у озер и прудов, или стоят в воде на водопое. Этим рассказам я верил и, когда мне приходилось спать на покосе или еще где на природе, я плотно сжимал губы, боясь, чтобы во сне рот сам по себе не открылся.

За разговорами у костра поспеваает картошка: она уже легко протыкается прутиком. Ребята выгребают почерневшие картофелины из золы, перемешанной с горячими угольками, обдирают жесткую обуглившуюся кожуру и, обжигаясь, едят, макая в соль, насыпанную в тряпицу. Потом по очереди пьют горячий чай из одной жестяной кружки: и котелок, и кружка – гордость какого-то парнишки, отец которого привез их с войны. На темнеющем небосклоне все ярче светит луна. Начали перекличку ночные птицы. Громко кричит коростель в ближней елани. У нас эту птичку с острым клювом и редким желтоватым оперением называют дергач. Время уже за полночь. Один за другим они пристраиваются у костра, кутаются в прихваченные из дома попоны и армяки. Разговоры постепенно стихают. Вскоре все смолкают и засыпают.

Насытившиеся кони один за другим, подпрыгивая на спутанных ногах, становятся рядком под дым догорающего костра. Надоедливые насекомые оставляют коней в покое и они, стоя неподвижно, отдыхают и смотрят на огонь огромными немигающими глазами. Постепенно становится прохладнее. Близится росистый рассвет...

*Все люблю без памяти
В деревенском стане я,
Будоражит сердце мне
В сумерках полей*

*Крики перепелок,
Ранних звезд мерцанье,
Ржание стреноженных
Молодых коней...*

Николай Рубцов

Ночное – раздолье и для лошадей, и для ребят. Поэтому, видя, как мучается Серко, отбиваясь на жаре от насекомых, я мысленно пасу его в ночном, где нам обоим хорошо.

Наконец, пришли наши жницы, до бровей повязанные белыми платками с раскрасневшимися и потными лицами. Они мигом расстелили в тени куста дерюжку, нарезали сала и хлеба, начистили зеленого лука и чеснока, положили сваренные вкрутую яйца, развязали тряпочку с солью, поставили ближе лагушку с квасом, и пиршество началось.

Что может быть лучше обеда на вольном воздухе в кругу близких и родных людей, с которыми ты делал трудную работу?! Особенно, если еще горит костер, да удалась погодка. В моей жизни – это самые дорогие сердцу события, которые я хорошо помню и вспоминаю о них, как о самом светлом и радостном.

Любовь к пирам на воле нам – славянам видимо передалась от далеких предков – язычников. Они были детьми окружавшей их могучей и дикой природы и потому почитали, как богов, огонь и солнце, лес и воду, зверя и птицу...

После обеда мать уложила меня снова под телегой, укрыла от мух и слепней, и я быстро заснул. Проснулся, когда вечерело: солнце не пекло, опустившись ниже и сделавшись больше и краснее.

Я встал, погладил Серко, попил квасу и пошел к своим. Женщины уже кончили жать и ставили суслоны: три снопа устанавливали пирамидой колосьями вверх, а четвертый, раздвинув, одевали на них, как шапку, вниз колосьями. Снопам в суслонах не страшен дождь, меньше урон от птиц и особенно от полевых мышей, хомяков и сусликов, которые тащат зерно в норы, делая большие запасы на долгую зиму.

Когда снопы, лежавшие тут и там, как воины на поле брани, сбегались веселыми группками в суслоны, мама запрягла коня, а бабушка с помощницами снова замотали серпы в тряпки и засунули их под сено на телеге. Потом вместе допили оставшийся в лагушке квас, уселись на телегу и двинулись домой. Долго ехали молча: все устали. Думали каждый о своем. Вдруг Палаша высоким звонким голосом затянула:

*О чем, де — ва, пла — чешь?
О чем, де — ва, пла — чешь?*

Песню дружно подхватили все женщины, будто давно ждавшие, когда Палаша начнет именно эту песню:

О чем, де — ва, пла — чешь?

О чем сле — зы ль — ешь?

Ну, как мне не плакать!

Ну, как мне не плакать!

Слез горь — ких не лить!

.....

Широкие просторы родных окрестностей прислушиваются к знакомой раздольной и печальной песне — рассказу о трагической судьбе влюбленной пары: цыганка нагадала девушке, что ее жених погибнет по дороге на свадьбу. И он, действительно, погиб, когда

...Тронулся поезд и рушится мост...

Я сижу на задке телеги спиной к Серко и вслушиваюсь в слова песни. Мне жалко жениха и невесту, хотя представить себе гибель молодого человека я не могу, так как ни поезда, ни железнодорожного моста я еще не видел. Я представляю себе мостик через нашу Икунину. Но он слишком мал и погибнуть на нем никак нельзя, даже если он сломается. Потом я смотрю на нашу делянку, где рядом с ярко желтой полосой еще несжатой пшеницы стоят темные фигуры суслонов. Чем дальше мы отъезжаем, тем все более мне кажется, что эти похожие на людей фигурки вовсе не суслоны, а озорные парни на вечеринке, обнявшись и присевши на корточки, шушукаются, как лучше подшутить над девчатами...

Когда с жатвой было покончено, отец стал искать гумно или ток, где можно было бы обмолотить пшеницу. Тянуть с обмолотом нельзя: уже много дней стоит ведро и зерно стало осыпаться. Зажиточные крестьяне, постоянно сеявшие хлеб, имели на своем подворье гумна. Малоимущие и беднота строили вскладчину крытые тока и пользовались ими по очереди. Отец договорился с владельцами такого тока, обязавшись за это сделать им что-то в кузнице. Ток — крытый без стен сарай с деревянным полом — стоял недалеко от ворот поскотины.

На следующий день с утра мама с бабушкой и Тасей метлами и голиками вымели на току пол, а отец с Мишей уехали за снопами, застелив телегу брезентом, чтобы по дороге не терять зерно. Пока я бегал домой, посланный мамой за какой-то надобностью, первые снопы уже привезли, и женщины, положив их рядком, били цепами по колосьям. Помолотив с одной стороны, снопы поворачивали и снова молотили. Обмолоченные снопы

мама с бабушкой внимательно осматривали, не остались ли в них зерна, и складывали на другой стороне тока. Тася с Олей сгребали обмолоченное зерно в кучу большими деревянными лопатами, на каких обычно сажают булки в русскую печь. Затем клали новый ряд снопов и снова в воздухе мелькали отполированные до блеска березовые палки цепов, укрепленные к концам древков прочными петлями из сыромятной кожи.

*... Соломенный ветер сибирской моей стороны.
Порывистый август. Горячие дни обмолота.
Цепов перестук обрывает рассветные сны.
Еще до зари закипает на гумнах работа.
Весь мир деревенский ржаную соломой пропах.
Во рту пересохло — и маковой нету росинки.
И мы, маломерки, укрывшись в прохладных снопах,
Следим, как мелькает крыло материнской косынки.
И наши сердчишки детского счастья полны.
И фыркает лошадь, обес поедая в попоне.*

.....
*Соленые капли сбегают с отцовской спины.
Тяжелые зерна лежат на отцовской ладони...*

Виктор Кочетков

Молотьба отработана веками крестьянского труда и потому она идет быстро, но без спешки и суеты. Если в поле женщины жали каждая сама по себе, то молотят они вместе и действия их четко согласованы. Это сразу видно, если даже минуту последить за молотьбой: мама, бабушка и Тася стоят вокруг снопов и бьют цепами в строгой последовательности — бабушка, мама, Тася — бабушка, мама, Тася... В такт их ударов я произношу какие-то слова или бесконечно считаю: раз, два, три, раз, два, три... Движения их спокойны, и мне иногда кажется, что они вовсе не взмахивают древками, но палки их цепов резко бьют по колосьям, делая между ударами мгновенный оборот в воздухе.

Бабушка с мамой следят, чтобы слой обмолачиваемых колосьев не уменьшался. Иначе зерно будет дробиться, попадая между полом и цепом.

Обмолотив зерно, принялись веять его, ссыпать в мешки и свозить в амбар на нашем дворе. Вначале веяли самым древним способом: деревянными лопатами зерно подбрасывали вверх, чтобы половину относил ветер. Когда ветер стихал, то работа останавливалась и это портило настроение. Особенно нервничал отец: он когда-то работал помощником машиниста паровой машины на мельнице в Ново-Николаевске, и эта допотопная очистка зерна была ему не по нутру.

Наконец, он не выдержал, вскочил на телегу и, хлестнув Серко вожжами, крикнул:

– Поеду к Петру за веялкой!

Миша кинулся вдогонку. Отец придержал коня, и они покатали к мостику через Икунину, где стоял дом Петра Зоркальцева – приятеля отца. Ветер совсем стих, и на току присели отдохнуть. Было то время пополудни, когда природа часто замирает перед наступлением ранних сумерек.

Вскоре они вернулись. На телеге стояло громоздкое сооружение, напомиравшее большую сорокаведерную бочку. Это была фабричная веялка, покрашенная в желтый цвет. Общими усилиями ее стащили с телеги и установили на току. У веялки была большая на двоих рукоятка, при помощи которой вращались лопасти из широких досок. Они создавали сильную струю воздуха, которая сдувала полову и другой легкий мусор далеко от зерен. Никто до этого не работал на веялке, однако, дело пошло сразу: отец засыпал зерно в приемник, Тася, Оля и немножко я крутили ручку, а бабушка с мамой и Мишей собирали провеянное зерно и ссыпали в мешки.

Завязывая очередной мешок, мама обратилась к отцу:

– Ты, Колюша, отдохнул бы! С этим делом теперь мы и одни справимся.

– Отдохни, отдохни, Ларивоныч, – уважительно поддакнула бабушка. Она подошла к отцу, взяла у него совок и сама стала засыпать зерно в веялку. Отец вытер вспотевший лоб и стал молча ходить вокруг нас. Он был рад отдыху, но не мог далеко отойти: было видно, что он любовался спорой работой всей семьи.

– Вот это – да! Вот, что значит механика! А то – лопатами! Что ими сделаешь? Мусор был – мусор и останется! – горячился отец.

– К этой бы веялке, мечтательно растягивает он слова, – да еще бы конный привод! Мы бы вдвоем с Серко за день все зерно в Батуриной провеяли. Ну, а если поставить паровичок, – совсем размечтался отец, – то можно было бы обмолотить и провеять все зерно Спасской волости! Видел я в Красном Яру молотилку и веялку с паровым приводом. Не работа, а радость!

Когда все зерно было провеяно и свезено в закрома, отец с Мишей с утра до позднего вечера гревели в кузнице наковальней, выполняя накопившиеся за эти дни заказы. Особенно звонкими были удары отцовского ручника, когда он, указав им, куда надо бить Мише молотом, ударял для благозвучия вхолостую по наковальне. Это придавало работе веселую музыкальность и легкость. Время от времени за звонкими ударами ручника тут же шли учащающиеся дробные удары, которые вскоре замирали: отец прижимал ручник к наковальне после удара. Этим он давал молотобойцу знать, что бить больше не надо, что кузнец один будет дорабатывать изделие или сунет его в горн, чтобы снова хорошо разогреть.

Иногда приводили ковать лошадей, и тогда отец с Мишей подолгу крутились у конного станка, на котором была подтянута лошадь. Для наших мужиков вроде и не было хлопот с пшеницей, как будто они вообще не выходили из кузницы.

Мама же и бабушка то и дело находили причину сбежать в амбар и сунуть поглубже руку в закрома, наполненные отливающим желтизной зерном. Им не терпелось испечь, наконец, «пшеничного» хлеба, белого хлебушка из своей муки. Их нетерпение было понятным: мы всегда ели только черный хлеб. Он был дешевле, да и вся округа сеяла для себя только рожь: пшеница урождалась не всегда и мужики сеять ее побаивались. Отец же сеял пшеницу ничем не рискуя, так как в его руках был молоток, который он уважительно называл кормильцем.

С нетерпением ждали белой муки и мы с Олей. При всяком удобном случае мы расспрашивали маму и бабушку, что они нам из нее испекут. Они говорили о всяких коржиках, шанежках, пирожках, пельменях, отчего воображение вовсе разыгрывалось и ждать становилось невмоготу. С особым удовольствием бабушка рассказывала о вкусном белом хлебе из муки нового урожая. Особенно хорош этот хлеб был еще горячим, только что вынутым из печи.

Из всей этой обещанной вкусной стряпни я более всего мечтал о жареных в кипящем масле шариках из белого теста. Мама как-то испекла мне такие штуки, посыпав сверху мелко разбитым в тряпочке сахаром. С тех пор я об этих жареных шариках только и думал. Нравились мне и белые домашние баранки, которые мама вначале варила в кипящей воде, а потом подрумянивала в русской печи на противне.

Мельница

Мама с бабушкой давно вели разговоры, как бы побыстрее помолоть зерно. Я был постоянно начеку, боясь, чтобы мама не уехала на мельницу без меня. Мельницу я еще никогда не видел и потому без конца рисовал картины ее устройства. Спрашивал о мельнице Мишу. Он бывал на мельнице не раз, но на мой вопрос ответил коротко и непонятно: вода крутит колесо и все дела.

Рассказывать и объяснять мне Миша вообще не любил, считая, что я все равно не пойму. Семь лет – все же большая разница в годах: я был совсем малышом, а Миша по прежним деревенским меркам был уже взрослым пареньком – помощником в кузнице и по дому.

Мельничное колесо, по его словам, я представлял себе в виде большого тележного колеса, погруженного в речку. Крутила колесо вода, как я думал, ударяя по спицам. Вообще всякие новые дела меня сильно волновали, и я был готов не спать и не есть, чтобы не пропустить их.

Наконец, мама узнала, что в деревне Ипатово примерно в пятнадцати верстах от нас в сторону тайги работает водяная мельница, которую держал Угрюмый. Так звали мельника – старика Пахома: без прозвища в деревне никто не обходился. Мельника хорошо знал отец, не раз выполнявший его заказы «по железной части».

Рано утром отец запряг Серко, кинул на телегу несколько небольших мешков с пшеницей и ящик трехвершковых фабричных гвоздей. Отец по себе знал, что гвозди будут тем золотым ключиком, который откроет мельницу. Ехали мы с мамой вдвоем.

Вскоре, сменяя шаг на рысь, Серко домчал нас до Ипатово. Мама говорит мне, что в этой деревне жила когда-то сестра отца – Наталья. Я рассматриваю дома незнакомой деревеньки: в эту сторону я еще никогда так далеко не ездил. Деревня маленькая – всего два порядка домов вдоль единственной улицы. Дома и сараи под тесовыми крышами, многие из которых уже поросли густым зеленым мхом. Справа и слева – высокие заплоты из толстенных горбылей. Посреди деревни в низинке поперек дороги течет ручей с каменистым дном. Берега ручья вытоптаны копытами скотины. У развесистой ветлы в черной грязи лежат, блаженствуя, свиньи. Гуси и утки бродят по воде, то и дело опуская голову вниз и щелкая широкими клювами, выискивая что-нибудь съедобное.

Без этой живности деревенская улица – не улица. Я вырос на такой улице и хорошо знал повадки ее обитателей. Свиньи – осторожны и пугливы. Но, если сумеешь потихоньку подойти к ним и почесать рукой или палочкой брюхо, как они сразу валяться на бок, удовлетворенно хрюкают и закрывают свои маленькие красные глазки: удовольствие берет верх над страхом быть зарезанными, который у них в крови.

Овцы любят ботвы от свеклы и моркови, клевер. Но они бестолковы, как и свиньи, и приучить их к себе невозможно. Бараны же более сообразительны, но очень мстительны. Как-то мы с Петькой Лобановым – моим погодком – сидели на бревнах против нашего дома. К нам подошел большой круторогий баран. Я сорвал травинку и поднес ее к носу барана. Баран съел. Петька тоже дал ему что-то. Потом баран уставился на моего приятеля немигающим взглядом. Петьке это очень не понравилось, и он плюнул ему в морду. И тут произошло неожиданное: баран нагнул голову, выставив могучий лоб с крутыми рогами, и ударил Петьку в грудь. Мой приятель слетел с бревен и растянулся на траве. Быстро придя в себя, он вскочил и с ревом кинулся домой. Расправившись с обидчиком, баран медленно повернул голову в мою сторону. Я застыл на месте и с ужасом следил за его стеклянными глазами. Про себя я повторял:

– Барашек, барашек, я тут причем! Я в тебя не плевал!

Бараньи стекляшки с вертикальными, как у кошки, зрачками постепен-

но ушли в сторону, их хозяин лениво отвернулся, спрыгнул с бревен и не спеша направился к овечкам... У меня отлегло от сердца. С тех пор я хорошо усвоил, что с баранами надо обходиться вежливо.

Кур я презирал за их суетливость и бестолковость. Верхом глупости в поведении кур была их привычка сломя голову с истерическим кудахтаньем перебежать дорогу, увидев мчащуюся повозку. Перебежать дорогу именно под носом скачущих лошадей. Вот куры роют землю и что-то клюют. С приближением быстро едущего экипажа они поднимают истошный крик, как будто пришел конец света, и в панике несутся на другую сторону улицы, попадая под ноги лошадей и колеса. Зачем они это делают никому не известно, в том числе и самим курам.

Совсем по-иному ведут себя степенные гуси и утки: они переходят дорогу только при необходимости и делают это важно, без спешки, вышагивая «гуськом». Все невольно уступают им дорогу. Особенно торжественно выглядит процессия малышей, которую возглавляет гусыня или мамутка. За всю жизнь я не припомню случая, чтобы кто-нибудь обидел их на дороге.

В двадцатых годах, когда по дорогам сибирских городов и деревень побежали первые автомобили, в правилах для шоферов было записано, что они не отвечают за кур, но не имеют права давить гусей и уток. В 1930 году Миша учился на шофера и рассказывал мне:

– Уткам и гусям мы должны уступать дорогу. А вот кур можно давить – за них шофер не отвечает.

Право безнаказанно давить кур Миша воспринимал, как какую-то радостную свободу, а в моем воображении рисовался мчащийся по дороге грузовик, из под колес которого летят пух и перья от попавших под колеса кур.

Из всей деревенской живности я более всего любил телят и жеребят. Они мне казались ласковыми детьми больших и порой опасных родителей, от которых надо держаться подальше. Особенно я страшился бодучих коров, быков и лягающихся лошадей. А тут подходи и спокойно гладь этих будущих грозных животных.

Особенно приятно было играть с совсем еще маленькими телятами. Обычно я совал им в рот пальцы, и они их начинали азартно сосать. Как-то я играл с теленком. Подошел второй и стал обнюхивать мою щеку, обдавая лицо парным дыханием. Потом он добрался до уха и стал его сосать, как соску. Мне было приятно, щекотно и смешно. Но потом я подумал, а вдруг теленок откусит ухо, и отстранил голову, сунув и ему в рот пальцы.

На жеребят было приятно смотреть, как они резвятся, бегая вокруг матери. Но они очень пугливы и их так просто не погладишь. Подрастая, жеребенок становится особенно красивым: тело словно точеное, шерстка

ровная и блестящая, а хвостик и грива – волнистые, как завитые. Ведет он себя вольно и независимо, украшая своим присутствием привычную троицу: коня, возницу и телегу. Он сопровождает их, как тень, повсюду. Вот он бежит мелкой рысцой, резко сгибая ноги и высоко подбрасывая легкий корпус. Голова высоко поднята, а хвостик в постоянном движении. Неожиданно он переходит в галоп, взбрыкивает задними ногами, делает большой круг по обочине дороги и, успокоившись, снова трусит рядом с матерью. При каждой остановке он подбегает к ней, наклоняется под брюхо, выбрасывая вперед тонкие ножки и вытягивая шею. Добравшись до вымени, резко ударяет по нему мордочкой, давая знать матери, зачем он к ней подбирается и принимается за сосок. Оглобля ему мешает, но он уже приловчился. Потом он перебегает на другую сторону и принимается за второй сосок.

Но не все коту масленица: приходит время, и на подросшего жеребенка одевают специально сшитую для него маленькую уздечку и отлучают от матери. Постепенно из стригунка вырастает рабочая лошадь, на которой тогда держалось и деревенское, и городское хозяйство.

После Ипатово дорога пошла вдоль глубокого оврага с речушкой на дне. Вскоре я увидел сплошную стену из бревен перегородивших овраг. Бревна шли в два ряда. Между ними – заросшая травой земля с тропинкой посередине. Мама сказала, что это плотина, которой запрудили речку, и за ней образовалось большое озеро – пруд. На дальнем конце плотины стоял необычно высокий бревенчатый домик с маленькими окошками отдушниками. Рядом с домиком, блестя на солнце медленно вращалось большое позеленевшее колесо, из-под которого вырывался шумный водяной поток.

– Вот это и есть мельница. Водяная мельница, – сказала мама. – Нам, Левчик, повезло: и мельница работает, и народа нет. Вон всего одна подвода стоит, – показывает она в сторону коновязи.

Мы опустились с крутого берега, переехали через речку по небольшому мостику и направились к мельнице. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее слышался шум воды. Остановились у коновязи. Мама разнуздала Серко привязала вожжи к бревну, наполовину изгрызенному лошадьми, и мы пошли на мельницу. По узкому деревянному мостку переходим над глубокой канавой, обшитой толстыми досками, на дне которой шумит вода. Я потянул маму за руку, и она остановилась, понимая, что я хочу посмотреть на колесо. Его широкие плечи неспешно выныривали из воды, делали круг в воздухе и вновь погружались в стремительный поток. Вода к колесу шла через широкую щель из-под широкого деревянного щита. Вместе с колесом вращалась и его ось – гладко оструганное бревно. Один конец его крутился в густо смазанной дегтем втулке, а другой – длинный – уходил в отверстие в стене мельницы.

– Чтобы колесо крутилось быстрее и зерно молотось поскорее, – говорит мама, перекрикивая шум воды, – мельник поднимает вот эту задвижку выше и

тогда воды под колесо течет больше. А если мельницу надо остановить, то задвижку опускают совсем.

– Ну, пошли, – подталкивает мама. – Еще успеешь насмотреться, пока молоть будем.

Подходим к мельнице. Дверь распахнута. Из глубины помещения доносятся приглушенный гул. Стены мельницы чуть сотрясаются.

– Жернова работают, – объяснила мама, и мы пошли вверх по пологой лестнице с широкими ступеньками. Поднявшись, увидели вращающийся круглый камень, молодого парня, засыпавшего зерно в конусный ящик над камнем и совершенно белого от мучной пыли могучего старика, стоявшего прядом с парнем.

– Это Угрюмый. Мельник, – подумал я, и теснее прижался к маме. В воздухе висела белая пыль и пахло подгоревшей мукой. Мама подошла к старику, поздоровалась, назвалась и сказала, зачем приехала. Когда мельник услышал, что мама – жена батурина кузница Николая, лицо его заметно пошло. Он отвел ее подальше от жерновов, где было потише, и, поглаживая бороду, добродушно заговорил:

– Дык, как-же! Знаю, знаю Ларивоныча. Он мне шибко тады по весне подсобил. Не пустить бы мне без него меленку. Он и кузнец, и в мельницах толк имеет. Да...

Узнав, что кузнец Николай прислал ему ящик гвоздей, глаза его, едва заметные под лохматыми бровями, засветились. Старик вовсе повеселел и прозвище Угрюмый к нему уже никак не шло.

– Тебя звать-то как, молодуха? – С первого-то разу не запомнил, обратился мельник к маме.

– Какая я молодуха!! Вот этот мужичок, – кивнула она в мою сторону, – пятый, поскребыш. А зовут меня Татьяной.

– Доброе имя. И этот твой поскребыш – парнишка крепкий. Небось седьмое лето на солнышке пятки греет?

– Нет, Пахом Лукич, всего пятое, – с гордостью в голосе весело отвечает мама.

– Рослый малец! Дык ему иначе нельзя – кузнецом будет, – говорит мельник и гладит меня своей жесткой медвежьей лапицей по голове.

– Ларивонычу низкий поклон от меня и премногая благодарность. За гвозди особливо спасибо предай. Меленка всюю рассыпаться стала и эти штуки мне счас – што ложка к обеду! А зерно твое, Танюша, смелем в одночасье самым высоким помолом. Довольна останешься.

– У меня, Пахом Лукич, – пшеничка, – предупредила мама, видя что парень мелет рожь.

– Настрою, настрою, Танюша, жернова на твою пшеничку. Не сумлевайся. Все на ять спворим!

Видя подобрившего мельника, я осмелел и тяну маму за руку, делая знак рукой, что хочу ей что-то сказать. Мама нагибается – я говорю:

– Мельницу хочется посмотреть.

Дед заметил это и, ухмыляясь, спрашивает:

– Что мужик-от твой баит?

– Да вот мельницей интересуется. Он у меня шибко любопытный.

По лицу деда видно, что ему лестно внимание к его немудреному заведению и он обводит его оценивающим взглядом, будто видя впервые.

Мельник внимательно посмотрел на меня и, наклонившись, спросил, как меня зовут.

– Лев, – отвечаю я. Но, видя, что мельник смотрит на меня с недоумением, и зная, что имя у меня чудное, не деревенское, быстро добавляю:

– Ленькой все кличут.

– Ну, это другое дело, – сказал с облегчением мельник. – Ленька - это баско. А то – Лев. Это вроде того, что меня назвать не Пахомом, а медведем. Никто на меленку и не приехал бы – побоялись. А тут, слыш-ка, к Медведю еще и Лев пожаловал в гости! – и дед зашелся глухим, пополам с кашлем смехом. Мы с мамой тоже смеемся. Я почти совсем освоился: мельник и мельница уже не кажутся мне такими чужими.

– Покажу тебе свою меленку, покажу. Может она тебе пондравится и ты захочешь мельником стать, а не кузнецом.

– Мешки-то велики ли у тебя, Татьяна? – поворачивает он кудлатую голову к маме.

– Да нет, все маломерки: по два пудика, не больше.

– Тады справишься сама. Баба ты крепкая. Волоки их сюда и ставь вот здесь, – указывает он место на засыпанном мукой полу.

– А мы пока с твоим Левонтием по меленке походим. Гвозди не таскай! Сам принесу.

Мама пошла за мешками, а мы с дедом спустились вниз. Там мельник открыл небольшую дверку, и мы вошли в сумрачное помещение, где казалось само по себе вращалось огромное деревянное колесо, которое своими зубьями соединялось с вращающимся колесом.

– Это, Левонтий, машинное отделение, – сказал мельник важно, попутно осматривая работавшие механизмы и смазывая их долинным помазком, который он обмакнул в лагушку с дегтем.

– Старуха моя по вредности называет его мышинным отделением. Может она и права: мышей тут хватает.

Потом он молча подошел к стене, взял стоящую там крепкую палку, сделал страшное лицо и, понизив голос, заговорил:

– Быват, вечером зайдешь суда – вроде никого нет. А присмотришься – по углам черти! Вот я их этой палкой и выгоняю. Вишь на ней клочки черной

шерсти остались! Черти, ты знашь, вроде черных иманов*...

Совсем недавно я видел огненные глаза домового в недостроенном лобановском доме и потому слова мельника о чертах принял всерьез и стал в ужасе оглядывать темные углы мрачного помещения, где пахло затхлой мукой и мышами. Ничего не увидев, я устремляю на деда квадратные от страха глаза. Мельник, видя мой немалый испуг, быстро и уже по-доброму заговорил:

– Да шуткую я, шуткую, Левонтий! Уж вон как состарился – дальше ехать некуда, – а грех, как люблю подшутить над кем! Нету никаких чертей, Левонтьюшка! Нету! Никому не верь, что черти водятся. Уж сколько раз я в самые глухие ночи серняки** здесь чиркал и ни одного черта ни разу не увидел. Уж где-где, а здесь на водяной мельнице им бы самое место! Черти, лешаки, домовые, водяные – все это бабушкины сказки. Но бывает они человеку со страху блазнятся***. Первое дело тады – осенить себя крестом и сказать: «Сгинь, сатана» или какую короткую молитву сотворить, но все это – не против нечистой силы. Ее нету, Левонтий! Крестится и говорит святые слова человек для того, чтобы укрепить свой дух, не бояться темноты или еще чево там.

Мельник смолкает, кладет мне на голову свою тяжелую, теплую ладонь и что-то обдумывает. Мне приятна близость сурового незнакомого человека, и я стою неподвижно, стараясь не крутить головой. Окончательно успокоившись я отгоняю всякие мысли о нечистой силе.

– Ну, слушай, внучок, начал он, наконец, свой рассказ. – Вот эта штуковина, – стучит он палкой по вращающемуся бревну, – ось водяного колеса.

Про себя я подумал, что водяное колесо я уже видел, но слушаю молча и только киваю головой, стараясь поймать взгляд мельника.

– Ось, – продолжает он, – крутит вот это колесо и его веретено, – дед показывает на толстую квадратную железину, которая уходит вверх к жерновам.

– Нижний конец веретена упирается в пятку, дед стучит по массивной, вроде наковальни, чугунной подставке с лункой посередине.

Я заглядываю под колесо и рассматриваю эту измазанную дегтем штуковину со смешным названием «пятка».

Мельник смолк и, глядя мне в глаза, спросил:

– Все понял, Левонтий?

Механика дедовой меленки была проста, и я почти слово в слово повторил его объяснения.

– Однако, Левонтий, парень ты баш-ко-ви-тай! – растянул он последнее слово. Я обрадовался похвале и сообщил мельнику, что отец работал на паровой мельнице и рассказывал мне про нее.

* Иман – баран (местн.)

** Серняки – спички (местн.)

*** Блазниться – казаться

– Слышал, слышал, как та машина твою тятюку по голове погладила! Не случись этой беды – далеко бы пошел Николай Ларивонч: руки у него золотые, да и Ново-Николаевск – не Батурина.

– Теперь, внучок, пойдём наверх, к жерновому поставу. Посмотрим, как зерно в муку перемальывается, – и он слегка подтолкнул меня к выходу.

В дверях мы встретились с мамой: она уже перетаскала мешки, накормила Серко и шла к нам. Вместе мы идем наверх.

– Парень-от засыпал последний мешок, сейчас начнем молоть твою пашенничку, – говорит, обращаясь к маме, мельник.

Мы стоим у жерновов и дед, снова повернувшись ко мне, заканчивает свой рассказ:

– Вот жернова. Верхний, – дед указывает на вращающийся круглый камень, – зовется бегун. Нижний камень, неподвижный, – лежняк. Вот по этому лоточку, вишь, зерно сыплется в дырку бегуна. Эта дырка зовется глазом. Через глаз зерно попадает в глоток и разбегается между жерновами. Вначале оно мелется крупно – в крупу, а потом мелко – в муку. Крупно – крупа, мелко – мука. От мелкоты помола и названия эти пошли. Тут вот мука собирается после размола и мы ее в мешок.

Я весело смотрю на деда и радуюсь тому, что все понял. Еще никто так старательно не объяснял мне сложного дела. Мама незаметно нагибается ко мне:

– Скажи дедушке Пахому спасибо!

Для меня это непросто: сказать спасибо очень хочется, но не могу преодолеть стеснения. Дома я вроде еще никому и никогда не говорил спасибо. И от меня этого не требовали. Дед, видя мою нерешительность, гладит меня жесткой ручищей по голове. Я, наконец, преодолев робость и, с благодарностью глядя ему в глаза, говорю:

– Спасибо, дедушка Пахом!

Я видел, что деду было приятно рассказывать мне о своей меленке. Всю жизнь он толчется на ней. Один день, как капли воды, похож на тысячи таких же дней. Сейчас же он выступал как учитель и поэтому чувствовал душевный подъем.

– Не хотел тебе рассказывать, – начал с какой-то торжественностью в голосе дед. – Думал ты, Левонтий, не одолеешь самой главной премудрости нашего дела. Но теперь вижу – поймешь. Расскажу тебе, как жернова сами собою управляют! – От этих слов у меня ушки на макушке, и я готовлюсь обязательно понять эту хитрость. Не хочется подкачать в глазах мельника, особенно теперь, после его похвалы. Да и мама с парнем, молвшим рожь, тоже приготовились слушать.

– Ты уже знаешь вот этот лоток, – начал мельник новый рассказ, – по которому зерно в глаз бегуна сыплется, – показывает на трясущееся длинное

корытце. – А пошто зерно в лотке не застревает? Лоток-от совсем мало наклонен! – обращается ко мне мой учитель и сам отвечает:

– Да потому, что он трясется. Ударяется вот об эти пальцы и трясется, дед показывает на железные штырьки, укрепленные по кругу на бегуне, к которым лоток прижимала небольшая пружинка. – Чем шибче крутится бегун, – продолжает мельник, – тем шибче трясется лоток, тем больше зерна сыплется в глаз бегуна. Иначе камень о камень тереться будут. В муке будет песок и тады ее только свиньям на корм. Да и бороздки на жерновах будут стираться. Насечь их сызнава – большая морока: надо останавливать мельницу и поднимать бегун. А в нем тридцать пудов с гаком! А гак бывает больше половины. Если же воды в пруде мало или маловато приподнял задвижку, то бегун будет крутиться лениво. Тады и лоток будет трястись лениво, и меньше зерна подаст в глаз бегуна. А подай он зерна больше – жернова забьет и они перестанут молоть, а будут только мять зерно.

Дед перевел дыхание и продолжал:

– Если бы ни это хитрое устройство, то здесь неотлучно должен был стоять человек и делать то, что сичас делает сама машина. В этом вся хитрость! – дед с достоинством оглядывает нас поочередно, как-будто рассказал о том, над чем трудился всю жизнь и что, наконец, у него здорово получилось.

Я уже другими глазами смотрю на трясущийся лоток и на то, как по нему безостановочно бегут и бегут зерна. На конце лотка они срываются и исчезают в черноте отверстия в жернове. Видимо для большей убедительности, мельник потянулся к лотку и отодвинул его от штырьков. Лоток перестал трястись, и зерна на нем остановились, как приклеенные. Когда дед опустил лоток, он снова затрясся, ударяясь о штырьки на жернове, и зерна снова побежали по нему, словно живые.

– У меня на меленке, – говорит задумчиво, вроде бы ни к кому не обращаясь, дед, – как-то проездом был ба-ль-шой томский анжинер. Дак на этот лоток он долго, как на родное дитя смотрел. А потом подошел ко мне, обнял эндак за плечи и сказал:

– Это, дед, самое первое устройство, которое люди придумали, чтобы машина сама собой управляла. И еще сказал, что сделали они это ишшо до рождения Христа.

Услышав это, я проникаюсь еще большим уважением к мельнику, к его меленке и к этому хитроумному приспособлению. Про себя я восклицаю:

– Вот так да! Придумать такое, когда еще и бога не было!

Я невольно вспоминаю строгие глаза Николая Угодника на нашей большой иконе, и думаю, что вот его еще не было, а мельники такие дела творили. Я расту в собственных глазах: я много узнал и мне уже кажется, что не белобрысый мальчишка ходит у жерновов, а весь в мучной пыли молодой мельник.

Наконец, парень вытряхнул из мешка последнюю рожь, и дед сказал маме, чтобы она поставила мешок поближе и развязала его. Я же со знанием дела стал наблюдать за ними и слушать, что они говорили. Мельник напоминает, что нельзя допустить, чтобы бегун крутился на лежняке без зерна, хотя это было понятно из его недавнего рассказа. Поэтому, когда уже последнее зерно движется по лотку, следующий хозяин должен засыпать свое зерно в приемник.

Вот мама, стоя на ступеньках небольшой лесенки, засыпает первую порцию своей пшеницы. Втроем мы смотрим, как постепенно тощие сероватые зерна ржи сменяются в лотке крутобокой янтарной пшеницей. Когда по лотку пошла чистая пшеница, мы стали смотреть на сыпавшуюся из-под бегуна муку, которая стала постепенно светлеть.

– Пошла, пошла, дочка, твоя пшеничная мучка, - говорит с удовлетворением дед Пахом. Хорошо просушили зерно, молодцы! Вишь как шустро пошел бегун: у парня-то рожь сыровата была и бегун работал трудно.

Дед говорит с нами, а сам растирает между пальцами все новые порции муки. По выражению его лица видно, что он чем-то недоволен.

– Сичас сделаем, дочка, размол потоньше, - и, глядя на меня, крутит небольшое колесо, тонкая железная ось которого уходит вниз в машинное отделение. Я улыбаюсь и понимающе киваю ему головой. Мельник снова подходит к жерновам и снова растирает между пальцами теплую муку. Наконец, он живо восклицает:

– Вот теперь што надо! Пошшупай мучицу, Танюша!

Мама пробует муку на ощупь с сияющей улыбкой.

– Спасибо, Пахом Лукич!

– Мучица тоньше волоса, первый сорт!

Мама еще полюбовалась, как идет ее мелкая белая мука, а потом обратилась к мельнику:

– Пахом Лукич! Присмотрите за помолом, а я сбегаю по-быстрому за харчами. Небось все проголодались?!

– Это бы не помешало, Танюша, – оживился мельник, – а то кишка кишке давно фиги показывают.

Услышав о еде, я почувствовал сильный голод. Мама быстро сбежала по лестнице, а мельник, окинув взглядом работы жернова, подошел к досчатому столику, прибитому под маленьким без стекла окошечком, смахнул рукой мучную пыль и пододвинул к столу сбитые на скорую руку табуретки.

Вернулась запыхавшаяся мама. Она поставила на столик большой берестяной туес с квасом, а на табуретку положила узел с провизией. Вскоре на прикрытом белой холстиной столе появились вареные яйца, сало, огурцы, лук, чеснок, черный хлеб, шанежки с творогом.

– Садитесь, мужички! Ешьте на здоровье, а я побуду у жерновов.

Дед Пахом важно огладил бороду, перекрестился в угол и сел за стол боком к стене. Я вытер подбородок рукавом, перекрестился в ту же сторону, невольно повторяя деда, и сел напротив. Тот пододвинул к себе туес, потянул за тряпицу и вынул тугую деревянную крышку с берестяной ручкой. Потом он налил квас в жестяный кружки. Я очень хотел пить и одним духом опорожнил свою кружку. Вскоре меня «шибануло» в нос: мама всегда клала в хлебный квас немного хмеля и изюма. Потом я проворно принялся за еду, незаметно наблюдая за дедом Пахомом. Ел он много, но спокойно, не суетясь. Наевшись, мельник смел крошки со стола в ладонь и кинул их в рот. Потом встал, перекрестился, поблагодарил маму и пошел к жерновам.

Смололи мы зерно, когда стало уже темнеть. Завидев нас, Серко тихо и радостно заржал, часто переступая копытами. Он без конца мотал головой, прятал ушами и поглядывал на нас большими маслянистыми глазами.

– Соскучился, дорогой наш работничек, – сказала мама, хлопая коня по холке. – Сейчас побежишь! Застоялся, небось, у коновязи-то?

Мама усадила меня на середину телеги между мешками. Мука, смолотая последней, была еще теплой. Я уселся поудобней, прижавшись к теплому мешку, и мы тронулись. Потом мама укрыла меня брезентовым дождевиком и я, умаявшись за день, быстро заснул. Когда приехали домой и мама разбудила меня, на дворе была уже ночь. С ее помощью я добрался до своей лежанки. Последнее, что я услышал, когда мама укрывала меня тяжелым лоскутным одеялом, были ее слова о том, что завтра из белой муки напечем всякой всячины. Сны мои в ту ночь были, наверное, тоже белыми: снились белые шанежки и весь в белом старый мельник, от которого я узнал так много интересного.

Наша первая пшеница стала и последней: следующей весной – весной 1925 года отец отказался от надела. Он решил переехать в Томск и деревенские дела его больше уже не интересовали. Новая экономическая политика толкала мужика под бока, не давая ему обрастать мхом. Она заставляла его думать и предпринимать что-то более выгодное, сулящее лучшую жизнь.

От своей матери Степаниды Григорьевны мама унаследовала неистовость в работе, умение легко, хорошо и быстро делать все по дому, во дворе, в огороде, в поле и в лесу. Она была сильной и ловкой. Часто, когда в кузнице не доставало помощника, отец звал маму, и она била молотом или умело орудовала двухметровой натяжкой, при помощи которой на деревянный обод колеса надевали сильно разогретую шину. Делать все надо было очень быстро. Иначе шина остывала, уменьшаясь в размере, и на колесо ее уже не натянешь. Если не было четвертого человека (натяжек было четыре), то на одну натяжку изо всей силы давил я. В помощь мне отец на мой рычаг подвешивал двухпудовую гирию. Но главной моей обязанностью в кузнице было раздувание горна –

качение меха. Для этого я должен был тянуть книзу и потом отпускать цепочку, прикрепленную к концу деревянного рычага. Цепочку удлинители, чтобы я мог достать ручку. Работа эта была легкой, но изнуряла своей однообразностью. Главное – нельзя никуда отойти, когда в горне нагревалось железо. Поэтому при первой возможности я разрешал подуть своим приятелям, которые постоянно крутились в кузнице или около нее, ожидая пока отец отпустит меня, и мы ватагой побежим купаться на Томь. За долгие годы я этим мехом перекачал столько воздуха, что его, наверное, хватило бы надуть шар с небольшую планету.

В те далекие времена автомобили были еще в диковинку и все грузы перевозились на лошадях. Поэтому в Томске было много артелей, занимавшихся извозом. От таких артелей отец часто получал заказы на оковку телег для перевозки тяжелого груза – дормезов. Двор забивали новенькими, пахнущими свежим деревом деталями этих повозок: площадками, передками, оглоблями и колесами. Увидев гору деревянных конструкций, бухты новенького еще не заржавевшего проката, которые надо было превратить в шины, болты подпорки, стремянки и сжечь гору каменного угля, я ужасался, сколько мне надо дуть, сколько придется глотать ядовитого желто-зеленого дыма от этого проклятого каменного (а не желанного древесного!) угля. Кузница строилась под древесный уголь, который совсем не дымил.

Когда же отец перешел на дешевый каменный уголь, то мы стали задыхаться: в густом дыму были видны лишь тени людей. Избавлялись мы от дыма только устраивая сквозняк. Но зимой на сквозняке много не поработаешь.

Отец же с мамой ходили довольными и радовались возможности хорошо заработать. Наиболее трудоемкой при оковке дормезов была установка железных втулок в ступицы колес. Устанавливать их надо было соосно, как теперь говорят специалисты. В противном случае колесо будет «писать восьмерку», что никак недопустимо: над кузнецом будут смеяться, да и колесо долго не послужит. Втулки вставляла обычно мама. Надо сказать, что иногда даже если и не захочешь, да станешь специалистом, если надо свернуть гору работы. Вот привезли десять дормезов. Значит надо оковать сорок колес и вставить восемьдесят (!) втулок. Хочешь - не хочешь, а навык появится. Вдвоем с мамой мы работаем так: я подкатываю колесо, кладу его на бок и ставлю втулку на ступицу. Затем откатываю колесо со вставленными втулками и устанавливаю его к тем, что ждут своей очереди на ошиновку. Мама центрует втулку и сильно бьет по ней боком молота и полукруглым долотом по контуру вмятины выдалбливает место для втулки. После этого тяжелым ручником (молотком для одной руки) она забивает втулку на место, я поворачиваю колесо другой стороной и ставлю вторую втулку и мама таким же способом устанавливает ее в ступицу.

Потом она двуручным скобелем разворачивает отверстие между втулками, прижав одной ногой обод колеса к земле. Я придерживаю колесо с противоположной стороны.

Теперь остается натянуть на это колесо шину, укрепить ее четырьмя болтами, смазать ступицу дегтем, надеть на ось уже окованного дормеза и воткнуть чекушку.

Телега. Немудреная и древняя, как мир конструкция! Но как приятно посмотреть на нее, обойти вокруг и даже погладить, после того как мы оковали все ее части и даже собрали. Она становится немного своей, и потому я грустно смотрю вслед мужику, который привел лошадь, запряг ее в новую телегу и поехал, отчаянно грохоча по булыжной мостовой...

Много лет спустя, для меня станет понятной простая истина: человеку дорого то, во что он вложил свой труд, а, значит, и частицу своей души.

В деревне мама, как и все женщины и дети, ходила босой. Когда мы переехали в город, то летом ноги наши также не знали обуви. Особенно плохо босым было в кузнице, где всегда можно наступит на горячее железо, отлетевшую окалину или уголек. Отец сердился, когда в кузницу приходили босыми: надо было работать, а не высматривать место, куда можно наступить босой ногой.

Однако и на улице босоногих ожидали неприятности: на тротуарах можно загнать занозу в подошву, а в траве наступить на осколок разбитой бутылки. В то время в окраинных районах Томска тротуары были деревянными. Из старых растоптанных досок постоянно торчали острые иглы отслоившейся древесины. Заноза была очень болезненной и вытащить ее порой было трудно. Часто приходилось острым перочинным ножичком разрезать кожу над занозой, чтобы ее можно было ухватить. К ранке мы привязывали подорожник и обычно дня через три-четыре нога заживала. Но бывало ранка загнаивалась и приходилось долго прыгать на одной ноге.

С Петькой Ковалевым – моим соседом – произошел такой случай. Как-то он занозил ногу. Занозу вытащили, однако нога разболелась: подошва вспухла и наполнилась гноем. Наконец, его отвезли в больницу. Хирург разрезал вздувшуюся кожу, удалил нагноение, очистил раны и перевязал. Закончив работу доктор весело обратился к Петьке:

– Ну, ты, парень, молодец! Умеешь терпеть!

– Да он тотчас уснул, – сказала помогавшая врачу сестра, – как только вы разрезали подошву и выпустили гной. Он и сейчас крепко спит. Мать его говорила, что последние две ночи он не спал из-за сильной боли.

Так Петьку спящего и отвезли в палату, где он проснулся только утром на другой день.

Летом мама обувалась, лишь идя в церковь, на базар или в магазин. Пятки ее ног часто растрескивались и даже кровоточили, доставляя мучения.

Приходится также удивляться, насколько несообразны были привычки и традиции в одежде сибирячек.

В лютые морозы мама часто прибегала домой с обмороженными выше колен ногами, восклицая уже с порога:

- Ой, ребятки, ноженьки ознобила, ноженьки ознобила!

Бабушка и Тася бросались растирать обмороженные места, обильно смазывая их гусиным жиром. Одета же она была тепло: в ватном пальто, валенках, на голове – теплая шаль. Но дело в том, что шерстяные чулки завязывались выше колен тугой веревочкой, или круглой резинкой, которые сильно перетягивали ноги. Для теплоты мама одевала кроме обычных нижней и верхней еще две-три верхних юбки. Однако, ноги выше колен оставались голыми. Нельзя сказать, что сибирячки не знали о пользе теплых штанов. Но как можно?! Штаны ведь носили татарки. А мы – русские, нам нельзя! Сколько же времени должно было пройти, чтобы наши женщины стали одеваться тепло, отбросив нелепые предрассудки и традиции.

В Томск мы приехали в разгар НЭПа. В лавчонках, у постоянных дворов, на углах улиц бойко торговали пряниками, конфетами и прочим нехитрым товаром. Даже у нас в Заозерье - окраине города – появились продавцы мороженого с белыми колясками и белыми нарукавниками, бравшие пятак за порцию.

Отец также почувствовал льготы новой политики: он стал больше зарабатывать и вскоре выкупил векселя, полностью рассчитавшись за дом. Но, к нашему горю, это не пошло на пользу семье. Вначале отец на широкую ногу «отметил» уплаты последних долгов, собрав полный дом друзей и знакомых. А потом вошли в привычку вечеринки дома и выпивки в кузнице в конце дня.

Этот летний день 1927 года, когда народ стал жить особенно хорошо и когда отец отдал последний долг бывшей хозяйке дома – Глафире Федоровне Кайдаловой, оказался для нас переломным: до него наша семья поднималась вверх, а после него – покатила вниз, как это обычно случается с семьями, в которых его глава начинает пить. Это печальное движение по наклону будет трагически осложнено внезапной смертью мамы.

В натуре отца, как и в натуре большинства русских рабочих людей и особенно у сибиряков, жила унаследованная у дедов и прадедов неистребимая страсть широко и бесшабашно прогулять появившуюся у него деньги, которую он обязательно считает лишней. У него даже и мысли не было купить хорошей муки, покормить семью мясом, купить жене и детям обновки, отложить на «черный день». Такие мысли к нему не приходили, так как не с кого было брать пример. Да и кто похвалит за такую жизнь. Скажут: Ларионыч –

скупердяй. А тут поставишь четверть водки на стол – и всем угодишь, и самому совсем хорошо. Собутыльники начнут хором:

- Ну, Ларивоныч! Хороший ты есть человек. И мастер ты первоклассный. Надо подковать коня – веду к Николаю! Надо оковать дрожки – еду к Николаю!

Тут как на грех (пришла беда – открывай ворота) каждый месяц стал ударяться в запой наш прекрасный, всеми уважаемый в Томске доктор Шастин, который лечил и нашу семью. Я его просто боготворил. Вот он приходит к нам в дом. Интеллигентный, хорошо одетый, с хорошими манерами, опытнейший врач. У него черная шевелюра, красивое лицо и немного крючковатый нос. Он не спеша моет руки. Рядом стоит Тася со свежим полотенцем. Потом он слушает нас, что мы говорим о больном. Затем подсаживается к кровати больного и слушает его жалобы, выслушивает сердце и легкие вынув черную трубку из кармана. Определив заболевание, он успокаивает больного, выписывает рецепт и объясняет, как принимать лекарства. Только от одного его посещения больному и всем домочадцам становилось легче. И этот человек регулярно раз в месяц в течение нескольких дней приходил по вечерам к отцу в кузницу, чтобы напиться до «положения риз»...

Отец, к сожалению, не понимал трагедии этого человека и очень гордился, что знаменитый в городе доктор пьет вместе с ним в кузнице.

Примерно через неделю запой кончался, и Шастин вновь шел к пациентам, делал свое святое дело.

Мой друг Колька

Я сказал, что у отца и мысль в голову не приходила купить нам что-либо из одежды в магазине. Но в детстве я все же поносил такую обновку: синюю в полоску рубашку и такой же расцветки короткие штаны. Но эту «пару» мне подарила мать моего приятеля Кольки Шелудякова за то, что ее «фулиган» сын выбил мне два зуба лопатой. А дело было так. Мой брат Миша, который был старше меня на семь лет, повесил на высокой слеге в сенном сарае большие качели. Закончив их наладку, он подозвал Кольку, вручил ему штыковую лопату лезвием вверх и сказал:

– Назначаю тебя часовым! Никого не подпускай к качелям до моего прихода. А это – твоя винтовка, – указал он ему на лопату.

Колька встал к качелям и вытянулся, как солдат. Я хорошо понимал, что охранять качели Колька должен был от меня. Таким уж был мой старший брат, который часто делал все так, чтобы досадить мне.

Качели висят. Колька стоит на страже, делая чужое лицо. Я ему говорю, что давай покачаемся, пока нет Миши. Но он молчит и вроде не слышит меня. Тогда я делаю слабые попытки сесть на качели. Колька угрожающе берет лопату на изготовку. Я вижу, что он в точности копирует действия красноармейцев на учебных занятиях по штыковому бою. В четырех кварталах от нас на горе Каштак были казармы и большой плац, где обучали бойцов воинским премудростям. Мы туда часто бегали поглазеть на эти занятия.

Миша долго не шел. Желание покачаться взяло верх над страхом, я быстро прыгнул на качели и стал раскачиваться. В первый момент Колька растерялся, не зная, что предпринять, но вот, когда качели двигались в его сторону, «часовой» неожиданно ткнул меня лопатой в лицо. По счастливой случайности удар пришелся между губами по верхним, тогда еще молочным зубам. Два из них, стоявших впереди, вылетели и я их сплюнул на землю вместе с кровью. Обливаясь слезами и зажав рот ладошкой, я опрометью бросился к маме. К моему немалому удивлению мама отреагировала на это происшествие спокойно. Убедившись, что пострадали только зубы, она меня спросила:

— А зачем тебе молочные зубы? Ты бы с ними потом мучился, когда стали бы шататься. Теперь у тебя вместо выбитых вырастут два хороших зуба, — бодро закончила она расследование случившегося.

Надо сказать, что слова мамы потом в точности сбылись.

Вскоре бледная и сильно расстроенная прибежала Мария Маркеловна — мать Кольки. Трясущимися руками она взяла меня за голову, осматривая лицо и заглядывая в рот.

— Вот ведь стервец какой! А угодил бы в глаз или переносицу?! Фулиган, как ешь фулиган! — она ласково гладит меня по голове и всячески успокаивает. Потом она вновь начинает ругать сына:

— Я этому стервцу ремня вложила и привязала к кровати. До ночи будет сидеть на привязи без еды!

Я и раньше знал о странном наказании, которым подвергался мой приятель. Я даже как-то застал его на привязи, и Мария Маркеловна быстро выпроводила меня из дому. Ничего подобного раньше я не видел и не слышал. Но, по словам Кольки, это для него не наказание. Как-то в разговоре он беспечно заметил:

— Посижу немного, а потом мать меня отвязывает. Другое дело — собака: всю жизнь на привязи. Вот ей не позавидуешь. Да и веревку мать короче двух локтей не делает. Если не очень проштрафлюсь, — добавил он, отведя глаза в сторону.

Я вспомнил Колькины слова о длине веревки и подумал с надеждой, что вот сейчас Мария Маркеловна наверняка привязала его очень коротко, на длинную веревку я был не согласен.

На другой день, когда мы уже сели ужинать, и я, как кошка, боком кусал хлеб к нам наверх с виноватым видом поднялся Колька. Он сильно конфузясь и глядя себе под ноги, быстро и невнятно пробурчал себе под нос, видимо, заученную фразу о том, чтобы его простили и подал маме завязанный ленточкой сверток. Мама его тотчас развернула. В нем оказался купленный Марией Маркеловной синий в белую полоску костюмчик. Я выскочил из-за стола и быстро примерил его. Он был мне в пору, и я несказанно обрадовался обновке. Впервые на мне была одежда из магазина! Мой приятель был прощен. Мама усадила его за стол и дала нам по большому куску меда на сотах, желая как-то отметить состоявшуюся мировую.

Оставшись после смерти мужа одна, Мария Маркеловна отдала все силы, чтобы обучить и поставить на ноги сына. Сама она была неграмотной и жили они на деньги от продажи молока своей коровы Зорьки. С Колей мы учились вместе до восьмого класса. Потом я поступил в Томскую артиллерийскую школу, а Коля закончил десятилетку, затем Томский политехнический институт. Учились мы оба легко и тихо соперничали в знаниях и оценках. Коля был большим книголюбом, заядлым шахматистом и хорошим спортсменом. Этих качеств у меня не было, и я ему по-хорошему завидовал. Коля был на удивление отчаянным парнем. К примеру, приходим с ним в магазин покупать книги или еще какие мелочи. Пока я выбираю товар, плачу деньги, Колька успевает украсть все ему необходимое и ждет меня где-нибудь на углу по пути домой. Воровал он совершенно спокойно, не краснея и не меняясь в лице.

Помню и я собрался украсть со стены термометр. Во время экскурсии в овощехранилище. Наш класс ушел в другой отсек. И я, преодолев страх, двинулся к термометру. Но столкнулся с биологичкой. Увидев меня, она испуганно спросила:

– Иванов! Ты что такой красный? Заболел что ли?

Я сказал, что немного болит голова и с легкой душой побежал догонять своих.

После окончания института Колю оставили на какой-то кафедре и освободили от призыва в армию. Зимой 1943 года, когда всюю полыхала Великая Отечественная война, в институте случился большой пожар. Приехали пожарные. Все они были стариками и никак не могли затащить по узкой и высокой пожарной лестнице брандспойт. Коля видит эту ситуацию и решает действовать: он быстро вскарабкался по жидкой лестнице на крышу здания и затушил огонь. Но беда была в том, что на крыше он был без шапки, которая

у него слетела с головы, когда он карабкался вверх, а на улице была стужа и сильный ветер. В результате он простудил голову и вскоре умер от менингита. Было ему тогда двадцать два года...

Бедная Мария Маркеловна! Какой это был для нее жестокий удар! Совсем недавно она схоронила мужа – инвалида русско-японской войны, а вот теперь – единственного сына.

Каждый раз потом, приезжая в Томск, я обязательно шел в домик Шелудякиных в Картасном переулке, куда они переехали от нас в 1930 году. Мария Маркеловна и раньше относилась ко мне как к родному сыну, особенно после смерти мамы. А теперь, после гибели Коли, я стал для нее самым близким человеком на свете. Ее сын и я были для нее теперь неотделимы.

Мария Маркеловна обычно ничего не знает о моем приезде в Томск, и я появляюсь в ее доме неожиданно. Вот я стучусь в дверь, вхожу в комнату. Навстречу мне неуверенно идет сухонькая старушка. Она внимательно рассматривает пришельца подслеповатыми глазами и, не узнав, надевает старинные без одной дужки (ее заменяет веревочная петелька) очки в узкой металлической оправе. Теперь она узнает меня и радостно восклицает:

– Лёфчик! Лёфчик дорогой приехал!

Она обнимает меня и сквозь слезы едва выговаривает:

– Колюшка-то, Колюшка мой ушел от нас... А был бы жив, как встретились бы сейчас неразлучные друзья! – Она постепенно успокаивается, достает знакомый мне с давних пор старинный альбом в толстых тесненных корочках, и мы долго рассматриваем фотографии, вспоминая дорогие подробности минувших лет. Вот и фотография могилы Коли на Воскресенском кладбище, где похоронена и моя мама. У могилы в скорбной позе стоит красивая, стройная девушка.

– Это колина невеста, – с горьким вздохом говорит Мария Маркеловна. На весну сорок третьего намечали свадьбу... Вот и повенчался на матушке сырой земле, – говорит она плача и вытирая бегущие по щекам слезы.

Похоронить единственного и такого хорошего сына! Сколько трагедии в одних только словах! А ведь был еще и стук молотка, навечно забивавшего крышку гроба, и скорбный, наверное, самый ужасный глухой стук первых комьев земли по опущенному в могилу гробу, когда навек засыпают то, что осталось от молодого, энергичного, доброго, любящего сына, каждый час и каждую минуту жизни которого мать знала, как мгновения собственного бытия...

Вспомнил о синем в полоску костюмчике, а рассказал о трагической смерти своего приятеля и горе его матери. Так устроена жизнь. Еще и еще смотрю на фотографию, где я стою в этом костюмчике рядом с мамой,

Тасей и Олей. Сфотографировали нас в 1927 году в Томске у дверей нашей кузницы. Отца и Миши дома не было. Отец ударился в очередной загул и, взяв с собой старшего сына, укатил в Новосибирск. Там жили также любившие широко погулять братья отца – Михаил и Яков, а также его великовозрастные племянники Григорий Алексеевич, Александр Алексеевич и Лев Иванович. Все они, кроме брата Михаила, были первоклассными кузнецами и заправскими гуляками.

Недавно из Калуги ко мне приезжал сын Якова Илларионовича – Анатолий, мой двоюродный брат. Я показал ему кое-что из написанного о своей жизни. Анатолий, сам литературный работник, горячо поддержал мое начинание и сказал, что, действительно, неплохо было бы описать нашу сибирскую жизнь тех времен: много было в ней яркого и много несообразного.

Стали вспоминать детство. Анатолий с присущей ему экспрессией и образностью, заговорил:

– Как хорошо мы жили в Новосибирске. У отца была своя кузница. Лихие извозчики ремонтировали свои экипажи на резиновом ходу только у него. Потом вдруг родители засобирались, и мы укатили куда-то в Восточную Сибирь на золотые прииски: отец прослышал, что там кузнецы много зарабатывают. А в Новосибирске он мало зарабатывал! – выразительно поднял густые черные брови Анатолий, хорошо понимая, что я-то знал, сколько зарабатывали кузнецы Ивановы в этом быстро росшем сибирском городе.

– Поработал он там два года, – продолжал Анатолий, – скопил денег. Появилось и золотишко. Раз такое дело – надо поехать в Новосибирск, навестить родню, погулять вволю. Быстро собрались, поехали... и понеслась душа в рай. Мигом прогулял и деньги, и золото. Потом собрали кое-как деньги на билеты и снова поехали на прииски, чтобы потом опять пустить весь заработок на ветер! Вот такая карусель. Сейчас даже представить трудно, как мог семейный человек, а нас с отцом было пятеро, так легко сняться с насиженного места и ехать, куда ворон костей не заносил. Вот натура: заработать и прогулять, заработать и прогулять!

Толя еще хотел что-то сказать, но только тяжело вздохнул.

Преисподняя

В доме было скучновато. Шла вторая неделя, как отец с Мишей гостили в Новосибирске. По вечерам мы обычно выходили за ворота посидеть на лавочке, пощелкать орехи, поговорить с соседями, встретить стадо. В те времена большинство горожан еще держали коров и коз, и стадо, возвращавшееся вечером с Черемошкинских лугов, долго шло мимо нас. Каждая необычная корова оживленно обсуждалась: у этой большое вымя и она дает много молока, у той нет рогов – она комолая и ее можно не бояться, у третьей рассечена на спине кожа: ее пастух ударил кнутом. Вот идет корова с уздой на голове. Узда изнутри утыкана множеством острых гвоздей: эта корова имеет дурную привычку сосать свое вымя. Вот хозяева и сделали на ее носу своеобразного ежа, который колет ее в брюхо и вымя, если она попытается это делать.

В городе мама уже не держала коровы и скучала по своей Беляне, которую продали вместе с домом. Встречать стадо мы привыкли в деревне. Ждали на скамеечке у открытых ворот, когда появится наша белая красавица. Встретив, мы провожаем Беляну в стайку¹, где мама, ополоснув вымя, начинает ее доить и первые тугие струи молока звонко бьют по дну подойника.

И теперь, в городе, с наступлением сумерек мама обычно весело кричит нам: – Ребятки! Пошли стадо встречать.

Мы выбегаем на улицу и усаживаемся на скамейку возле ворот. Мама сидит посередине, а мы с Олей, прижавшись в ней с боков, греемся: к вечеру становится уже прохладно – лето идет к концу. Вскоре появляется и Мария Маркеловна встречать свою Зорьку, которую встречаем и мы. По обеим сторонам улицы на скамейках сидят женщины и дети, также встречая своих буренок. Многие весело перекрикиваются через дорогу. Вот вдаль появляется плотная масса протяжно мычащих коров. По мере того, как стадо проходит вдоль улицы, из него выходят по одной-две коровы и скрываются в распахнутых воротах или калитках в сопровождении встретивших их хозяев. Над стадом висит теплая пыль, чувствуется острый запах парного молока и влажного дыхания сотен коров.

Наконец, выходит из стада Зорька. Завидев хозяйку, она, не умея радоваться, печально мычит и смотрит на нее большими грустными глазами. Мария Маркеловна протягивает ей кусочек подсоленного хлеба и ведет доить. Мы идем рядом, глядя корову по спине и бокам. Потом мы уходим домой. Мама дает мне небольшой бидончик, и я бегу к Марии Маркеловне за парным молоком. Все с удовольствием выпивают по кружке теплого, пахнущего коровой, молока, а мне наливают жестяную кружку и ставят остывать: парное я пить не могу.

В один из таких вечеров мы вот сидели вчетвером за воротами в ожидании стада. Вдруг со стороны вокзала на широкой рыси воротам бесшумно подкатили

два «лихача» – легковых извозчика на экипажах с поднимающимся кожаным верхом и обрешиненными колесами. Из пролеток постепенно выбираются подвыпившие отец, дядя Яков и мои великовозрастные двоюродные братья Гриша, Саша и Лев. Дядя Яков небрежно сует Мише горсть серебра, и тот идет расплачиваться. Гулять идут к нам шеренгой в обнимку. Отец затягивает свою традиционную «Выплывают расписные...», которую все дружно подхватывают. Мы изумлены и обрадованы их неожиданным появлением. Они обнимают и целуют нас, обдавая тугим запахом винного перегара.

– Вот, Танюша дорогая, – говорит дядя Яков, обращаясь к маме, – погуляли в Новосибирске у всех по очереди, а потом Колюша и говорит, давайте махнем ко мне в Томск! Сказано – сделано: берем извозчиков и на вокзал. Купили билеты, подождали поезда в ресторане и едва добрались до вагона. Проснулись – Томск! Хорошо, что дороги дальше нет, а то бы обязательно проспали свою остановку. Ты извини, Танюша, что мы без предупреждения. Не беспокойся и ничего нам особого не готовь. Мы денек-другой погостим и – домой. Главное, Танюша, решили – сделали. В этом бальшой смысл, Танюша! Иначе жизнь будет пресной, если загадывать, да обдумывать, да подсчитывать, – заканчивает дядя Яков свою тираду.

Шумная компания минует двор и поднимается по широкой крутой лестнице к нам на второй этаж. Я знал, чувствовал, что мама не одобряет этот бесшабашный стихийный разгул. Но она так встречала, так угощала, так ухаживала за гостями, как будто с дня на день ожидала их приезда в течении многих лет. И вот они, наконец-то приехали! Она, конечно, была рада приезду большой и дружной мужниной родни, но бесконечные попойки отца угнетали ее. К концу работы в кузнице обычно подбирались компании, и я едва успевал «летать на уголок» так, «чтобы одна нога была здесь, а другая – там». Я стрелой носился в оба конца. Отцу было важно показать мужикам, как быстро выполняются его распоряжения. «Винополка» была в двух кварталах от кузницы. Водка стояла там на широких полках от пола до потолка. На самом верху неизменно маячили запылывшиеся огромные бутылки-четверти. Под ними шли полки с большими литровыми бутылками, которые иногда покупали. Еще ниже стоял самых ходовой товар: поллитровки, четвертушки и «шкалики». Бутылка водки стоила тогда три рубля, если сдашь пустую посуду и пробку к ней, стоившую пять копеек.

Для сравнения скажу, что подковать коня «кругом» (четыре ноги) стоило двадцать пять рублей. Так что денег на водку у отца хватало.

К дверям винной лавки вела растоптанная в щепы деревянная лестница, по бокам которой на траве обычно спали и проводили дни спившиеся грузчики и прочая пропащая гольтыба. Идя в школу, я огибал это мрачное заведение и видел потерявших человеческий облик мужиков, медленно умиравших на улице. Ничего подобного в Батуриной не было, и я с трудом привыкал к этой черной

стороне городской жизни. Хулиганистые же местные мальчишки не упускали случая подразнить бродяг и даже потыкать спящих палкой.

Некоторых из этих спившихся работяг я хорошо знал. Особенно я жалел кровельщика Клещева. Он часто бывал у нас в кузнице и несколько раз ремонтировал крышу на нашем доме. Клещева все Заозерье уважало за то, что работал он всегда трезвым и не было ему равных в его деле.

Железная крыша, сделанная Клещевым, не протекала. Швы были как по нитке, а сточные трубы были украшены замысловатыми кружевами, кошниками, вырезанными из жести.

И вот теперь Клещ, как все его звали, умирал. Он сидел неподвижно, прислонившись к завалинке монополюшки, и никого не узнавал. Его угасающее сознание сузилось до глотка водки, которую ему иногда подносила какая-нибудь сердобольная душа...

Сколько на моей памяти сгинуло от водки вот таких мастеров с золотыми руками!

Очень тревожно в доме стало после того, как отец повадился в пивную на Подгорной улице, в трех кварталах от дома. Оттуда он всегда возвращался «в стельку» пьяным и без копейки денег. Там были отпетые городские выпивохи и жулики, которые ловко обирали отца, не привыкшего еще к нравам городских кабаков. Однажды очередной собутыльник привел его домой без кошелька и серебряных часов «Павел Буре», которыми отец очень гордился.

Вскоре мама стала посылать меня за отцом, если он долго не возвращался. Пивная находилась в глубоком каменном подвале бывшего купеческого дома, в котором после революции открыли лавку потребкооперации – потребиловку, как ее все называли. Вот я в очередной раз бегу за отцом. По узкой, крутой темной с одним перильцем лестнице я спускаюсь в эту преисподнюю. Под сырым многосводчатым бетонным потолком тускло горит электролампочка с длинными зигзагообразными угольными нитями. Это – новинка. Электричество в Заозерье стали проводить совсем недавно. Красноватый свет с трудом пробивает спертый воздух, сизый от махорочного дыма. Посетители этого заведения, теснясь, стоят вдоль узких полок, прибитых к стене. Другие плотно окружили высокие столики, намертво укрепленные на столбиках посреди подвала. Громкие пьяные голоса слились в общий гул. Иногда слышны удары тяжелых пивных кружек из зеленого бутылочного стекла. Кое-где скопление людей еще гуще – это компании пьют за что-то, выкрикивая пьяные тосты, от которых коробится штукатурка.

Меня всегда поражала способность многих мужиков пить пиво без конца. Возбуждая жажду, они жевали круто посоленные жареные сухарики, сухую пересоленную рыбешку или бросали в кружку сухие щепотки соли.

– Вчера, паря, мы с братаном за вечерок ящик пива высидели! – слышится хвастливый возглас из угла преисподней. Про себя умножаю пять на пять –

столько бутылок в пивном ящике. Двадцать пять бутылок на двоих!!!

Когда глаза привыкли к сумраку, я приподнимаюсь на цыпочки и внимательно оглядываю головы рослых мужиков. Наконец различаю усатую голову отца и начинаю протискиваться в его сторону. Подобравшись, несмело тяну его за рукав и зову домой. Отцу неудобно перед собутыльниками и он мне суровым голосом велит идти и ждать на улице.

– Я скоро приду, – говорит отец, толкая меня в спину.

Это «скоро» я хорошо знаю, если отец стоит за пивным столиком, где ему льстят, за подносимое им угощение. С печальными думами протискиваюсь к выходу. Выхожу из подвала и полной грудью вдыхаю свежий вечерний воздух. Отсюда я уже никуда не уйду, пока не выйдет отец.

Пьяный отец становился агрессивным, любил показать свой нрав в полную силу. Старшая сестра Тася рассказывала, что в Батуриной он несколько раз бил маму, привязываясь обычно к какому-нибудь пустяку. Вообще в прежние времена среди темного сибирского люда бытовало дикое суждение, что любящий муж должен иногда бить свою жену. Многие сибирские мужчины следовали этой зверской традиции.

С раннего детства запомнилось мне, что если отец идет домой с песней «Выплывают расписные...», то значит он пьян. В доме воцарялись тревога и страх. Тревожились за здоровье отца: у него мог начаться нервный припадок. Боялись ни за что ни про что получить оплеуху.

Вот он заходит в дом, садится на стул и одетым валится на кровать, поднимает ногу и пьяным голосом властно командует:

– Таня! Разуи!

Никому из нас он делать это не разрешает. Должна разувать мама.

Прибегает запыхавшись мама, стягивает сапоги, сматывает портянки, снимает пальто, поудобнее укладывает и без конца ласково повторяет:

– Колюша, Колюша...

С тех давних пор я ненавижу кураж пьяных мужиков над своими домочадцами.

Питались мы довольно скудно, если учесть возможности, которые у нас были при таких больших заработках отца. Мама и мы – сарынь, как называл своих детей отец, ели из общей миски. С нами иногда ел и отец. Но обычно мама готовила ему отдельно. Так было принято тогда во многих рабочих семьях. Да, в общем-то, это было необходимо: при тяжелой работе в кузнице без сытной пищи долго не протянешь.

Яблоки, шедшие к нам из Китая в ящиках из тонко настроганного бамбука, мама всегда покупала подгнившие: они очень дешево стоили. Потом я долго считал, что яблоки бывают только подпорченными и был очень удивлен, увидев у одноклассницы – дочери учительницы – целое румяное яблоко.

На базаре мама брала дешевую ржаную муку грубого помола. Сеяла ее через редкое сито, сплетенное из конского волоса. Отсеивались только

крупные отруби, мышинный помет и прочий крупный мусор. Но зато как мама сеяла! Казалось бы, что за мудрость - просеять муку. Но как ловко, легко и даже изящно она это делала. Плечи и даже руки ее были неподвижны, хотя сито резко дергалось из стороны в сторону и раздавались звонкие шлепки боковины сита о ладони. Часто я просил у нее сито и сам пытался так сеять, но у меня ничего не получалось: я шатался всем телом, а сито медленно ходило из стороны в сторону.

– Да ты сам-то стой на месте, а сито кидай пальцами и кистями, и тебе будет легче, и мука будет быстрее просеиваться! – старалась научить меня мама.

Я также любил смотреть, как мама большой двуручной веселкой месила тесто в квашне, как оно подходило, вспучиваясь крутым куполом над ее краями. Но главное представление для меня начиналось, когда мама с какой-то особой красотой в ловких движениях со звонкими шлепками катала булки.

Сделав очередную булку, мама ловко подбрасывала ее и она точно шлепалась на свое место на широком деревянном подносе, посыпанном мукой. Последнюю, самую интересную операцию обычно делал я: обмакивая палец в муку и тыкал им в серединку каждой булки, делая в них глубокие ямки. Мама говорила, что их делают для того, чтобы в печи не отходила верхняя корочка.

Не знали тогда ни мама, ни я, никто другой, что совсем скоро вот также будет скатана и испечена ее последняя ржаная булка. Тесто тогда совсем плохо подойдет из-за того, что мука была смолота из подопревшей ржи, мама вытащит из печи неудавшиеся плоские булки и поест этот вязкий, еще горячий хлеб. От этого у нее случится непроходимость кишечника. Врачи не сумеют своевременно и правильно установить причину болезни, и она через три дня скончается. Но до этой трагедии еще три года в ежедневной суете, заботах и редких праздниках.

Праздники, как и все хорошее, мне запомнились особенно. В эти дни мама обычно с раннего утра пекла блины. Я их очень любил, особенно, если их обмакивать в горячее топленое масло. Чтобы не опоздать к первому блину я часто ложился спать на полу под большим обеденным столом, который стоял на кухонной половине дома у русской печи.

Однажды мама уже напекла блинов, а я все спал. Тогда она положила мне на голову теплый блин и я тотчас проснулся... Это ощущение теплого блина, как чувство материнской ласки, осталось в моей памяти навсегда ярким огоньком, озарившим мое далекое детство.

Белье мама шила сама на машинке «Зингер». Она так быстро работала ножной педалью, что вся машинка ходила ходуном. Я со страхом смотрел на ее лихорадочную дрожь и мне казалось, что она вот-вот разлетится на части. Я постоянно крутился рядом, когда мама шила и потому скоро научился складывать и раскладывать машинку, смазывать ее, наматывать шпульками,

устанавливать приводной ремень и заправлять нитку. Потом мама научила меня сшивать лоскутки.

Особенно я любил смотреть, как мама шила мне рубашки и штаны. Безропотно я сносил бесконечные примерки: мама шила «на глазок», не делая никаких предварительных мерок и выкроек.

*...Стрекочет в машинке
Железный кузнечик.
Стоит у машинки
Босой человек.
Стоит, улыбаясь,
И ждет, не дождетя:
Когда же у мамы
Обновка сошьется.*

Татьяна Степина

Все это мне потом пригодилось: я умею ремонтировать и настраивать швейные машинки и шью на них чехлы для автомашины и прочие несложные вещи.

Интересна история нашей швейной машинки. Организованная еще в конце века немецкая компания «Зингер», стала продавать всему свету свои замечательные швейные машинки. Продавались они и на льготных условиях – в рассрочку: при покупке надо было уплатить только четверть стоимости. Остальные три четверти покупатель мог выплачивать в течение двух лет.

В Томске было представительство этой торговой фирмы и отец в 1913 году, уплатив первый взнос, привез маме новенькую машинку.

Но вот испортились отношения с Германией. Грянула первая мировая война, а за ней Октябрьская революция. Деньги за машинку платить стало некому. Так и осталась она у нас, приобретенная за четверть стоимости. Сейчас на этой машинке шьет моя сестра Оля. Почти сто лет назад немцы весь мир снабдили прекрасными машинками, которые многим служат до сих пор.

В 1928 году мы с приятелем Колей Шелудяковым, жившим на нижнем этаже нашего флигеля, записались в первый класс начальной школы. Она была рядом – в пяти минутах ходьбы. Именно так: зашли в канцелярию школы и записались. Никто из родителей с нами не ходил: все были заняты своими делами. Первого сентября пришли в школу и стали учиться. Никаких торжеств, никаких цветов, никаких восторженных родителей, никакой школьной формы.

Одеты ребята были по-разному: дети из культурных семей были в чистых, сшитых по мерке одеждах, а остальные – в чем попало: в обносках взрослых, в латаных-перелатаных штанах и рубашках. Многие не умывались по утрам.

Мой одноклассник Костя Фоминых – сын сапожника, который ремонтировал нам обувь – страдал хроническим насморком и без конца сморкался в кулак, вытирая его подолом рубашки. От этого рубашка его ниже ремня всегда стояла колом.

Немногие ребята имели портфели для книг. Ни в школьной форме, ни с ранцами появиться было нельзя: это было бы равносильно приходу в школу в форме юнкера с погонами. Большинство мальчишек носили книги и тетрадки за поясом.

Запомнился поход нашего первого класса в поликлинику на медосмотр. Шли долго шумным строем попарно к центру города, где на берегу Ушайки стояло старинное трехэтажное здание поликлиники. Там я впервые увидел строгую медицинскую чистоту и белизну оборудования разных кабинетов. Осмотр вызвал у нас много смеха и шумных разговоров, когда каждый рассказывал, но никто не слушал. Особенно потешались над маленькой тихой девочкой – которая мне очень нравилась – со странной фамилией Продай-Душа. Она считалась почти глухой, и ее посадили на первую парту против учителя.

На осмотре же врачи обнаружили у нее много разбухших зерен пшеницы, которые забивали слуховые проходы. Девочка рассказала, что в деревне у бабушки она спала на печи, на которой сушили зерно. Вот оно и набилось ей в уши.

У многих ребят обнаружили вшей. Но медики поступили деликатно: осмотр на вшивость они не объявляли и проводили не скопом, а вызывая ребят по одному. Обнаружив паразитов, они тут же давали советы, как от них избавиться. Узнавали мы о вшах лишь от тех ребят, которые по простоте душевной сами рассказывали об этом. Дело в том, что вшивость у ребят и взрослых тогда была обычным делом. Мне как-то довелось слышать от взрослого человека «теорию» о том, что вши рождаются из человеческой кожи и как бы ты ни мылся, все равно заведутся.

В те времена многие жили в тесных и грязных помещениях. Плохо было с мылом, плохо с банями, плохо с бельем, плохо с пропагандой чистоты в быту. Почти в каждой квартире масса мух, тараканов и клопов. Исключение составляли лишь немногие культурные семьи.

Вблизи нашего дома в Томске было два постоянных двора. Их держали зажиточные домовладельцы Севастьянов и Ведерников. Когда в холода мужики не могли спать в своих телегах, они забивали хозяйский дом, где лежали вповалку так плотно, что ноги не куда было поставить, а в спертom воздухе можно было «вешать топор». Особенно тесно и душно было в долгие зимние ночи. О какой тут чистоте и опрятности можно было говорить! Главное было – не замерзнуть.

У нас в доме тоже были клопы и тараканы. Но с ними мы вели постоянную войну: зимой мама насыпала снег на противени и сметала на них тараканов гусиным крылом. Тараканы, падая на снег, чумели и лежали, как мертвые. Тараканов,

забившихся в щели, мама вываривала крутым кипятком. Примерно раз в месяц мы с Мишей выносили все железные кровати и доски с них во двор, где мазали их керосином и прожигали паяльной лампой.

Когда меня осмотрел врач в поликлинике на Ушайке, то он мне сказал:

– Ты молодец! И сам, и твоя одежда чистые. Но тебе еще надо научиться чистить зубы щеткой с порошком. После еды не забывай утереть рот, а то у тебя в уголках губ образовались заеды. Ногти стриги чаще и не допускай под ними грязи.

Потом он коротко рассказал мне, как уберечься от глистов. Тогда эта болезнь была очень распространена среди простого люда.

Мне понравилось, что пожилой врач разговаривал со мной серьезно и уважительно. Его советы я запомнил, как «Отче наш» и строго выполнял всю жизнь.

Вернувшись после медосмотра, я обо всем подробно рассказал маме. Она внимательно слушала, переспросив о том, что ей показалось особенно важным. Я понимал, что и для нее советы врача были интересными.

Расстроили ее мои заеды. Она пошла в комнату, принесла клок ваты смочила его водкой (благо этого добра в нашем доме было всегда достаточно) и стала протирать мне губы. Я взревел от боли и вырвался из ее рук.

– Ничего, Левчик! Ничего! Боль утихнет и все пройдет. Я тебе повешу вот тут около умывальника отдельное полотенчко и ты будешь вытирать им только лицо. А зубную щетку я тебе завтра куплю. Будешь чистить отцовым зубным порошком. Коробочка стоит всегда на умывальнике, – мама улыбнулась, обняла меня и погладила по голове.

Мне было долго не по себе, что я не обратил внимание на покрасневшие уголки губ и не мог себе простить, что получил замечание от чужого человека.

Выстрел

Директором нашей четырехлетки был спокойный и строгий человек с седой окладистой бородкой. Школой он заведовал еще с дореволюционных времен. Звали его Дмитрий Иванович. Все школьники его уважали, но боялись. Сильно провинившихся он вызывал к себе в кабинет на беседу, после которой даже отчаянные ребята надолго притихали. Злостных хулиганов тогда исключали из школы. Такой исключенный становился истинным несчастьем для учеников, которых бил, отбирал деньги и завтраки. Однажды из школы исключили знаменитого на все Заозерье хулигана по кличке Василка. Так тот не только отбирал деньги у ребят, а еще и втыкал в заднее место финку, тем, у кого нет денег. Чтобы рана от ножа была небольшой, он обертывал его лезвие изоляционной лентой, оставляя свободным острый конец. Этот мерзавец мне запомнился навсегда, хотя лично мне он вреда не причинил. Он знал моего брата Мишу, который имел «деловые» контакты с местной шпаной: ковал финки и ремонтировал оружие.

Сняли с работы Дмитрия Ивановича после ужасного случая, который произошел весной 1929 года. Как-то на переменке мы, как обычно, носились по огромному залу, в который выходили двери всех классных комнат первого этажа. У глухой стены зала была построена высокая сцена с небольшими лестничками по бокам. В разгар всеобщей беготни и невообразимого гвалта мы услышали громкий крик мальчишки, стоявшего на середине сцены:

– Тише! Тише! Я сейчас буду стреляться!

Кто притих, а кто еще сильнее стал бесноваться, приняв его крики за дурную шутку. Но вот мальчик поставил у ног ученическую сумку и вытащил из нее старинный четырехствольный пистолет. Шум в зале сразу стих. Потом мальчик взвел курок и приставил пистолет к виску. Зал замер... я с ужасом узнал пистолет: его недавно приносил взрослый парень, и Миша что-то исправлял в нем...

В гробовой тишине огромного помещения все услышали жутковато-торжественный голос мальчугана:

– Что! Не верите?! – и в этот момент раздался выстрел. Из пробитой головы на стену полетели окровавленные мозги. Несчастный рухнул, как подкошенный. Загрохотал по доскам тяжелый пистолет. Девочки враз истошно завизжали и, толкая друг друга, мы кинулись вон из зала. Нас быстро отпустили по домам, сказав, что завтра занятий не будет.

Я на одном дыхании прилетел домой и рассказал маме о случившемся. Мама изменилась в лице, взяла меня за руку, села на стул и прижала к себе...

– Это сынок столяра с Картасного? – спросила она с горестным вздохом. Я молча кивнул и опустил голову.

– Да, что же он, мальчишечка, удумал такое?! Грех-то какой! Грех-то какой! – без конца повторяла мама, смахивая свободной рукой бегущие слезы. У меня к горлу подкатывался большой и твердый комок...

Потом наша учительница Маковецкая Александра Григорьевна, то и дело вытирая платочком покрасневшие глаза, говорила нам на уроке, что он был дисциплинированным и хорошо учился.

Долго еще после этой трагедии мы тихо проводили перемены, держась подальше от сцены, сквозь щели которой можно было увидеть багровое пятно высохшей крови. Впоследствии так никто и не узнал причины трагедии. Однако три человека знали значительно больше остальных. Когда похоронная процессия прошла мимо нашей кузницы, я не выдержал и незаметно потянул Мишу за рукав, показывая глазами, что нам надо выйти во двор. Оказавшись наедине, я, волнуясь, сказал:

– Этот пистолет ремонтировал ты. Я помню и того парня, который его приносил. Это его брат.

Миша помолчал, почесал в затылке и сделал недовольную гримасу. Говорить ему со мной, да еще по этому щекотливому вопросу не хотелось. Потянув еще немного, он нехотя заговорил:

– Зачем я взялся за этот допотопный хлам. Никак не думал, что из него можно выстрелить. У него и курок не взводился – все проржавело. Я смазал только ось стволов и развернул их. Вчера приходил его брат. Просил никому о пистолете не говорить. И ты сдуру не брякни об этом кому-нибудь. Петька тайком взял этот пистолет, хотел похвастаться в школе. Он не знал, что один ствол братан вечером зарядил. Вот и получилось... Теперь хоронят бедолагу, – закончил хмуро Миша и, повернувшись ко мне спиной, пошел в кузницу.

Казалось бы какой урок я получил на всю жизнь! Так нет! Пройдет каких-то четыре года, и я сам начну по вечерам ремонтировать старинные револьверы и пистолеты. Их тащило в кузницу заозерное хулиганье. Любовь к технике и особенно к оружию решительно брала верх над благоразумием.

Более серьезное отношение к оружию появится у меня лишь после случая с револьвером, когда я учился в военном училище, в 1936 году, который мог окончиться для меня трагически. Но об этом я расскажу позже.

Черная ночь в октябре

Шел к исходу 1929 год. На дворе стоял угрюмый холодный октябрь. Мама доживала свои последние денечки. Я уже рассказывал, что она испекла ржаной хлеб. Он не удался, был вязким, глинистым. Она поела этого, еще горячего хлеба, попила холодной воды и ей вскоре сделалось плохо. На второй день мама уже лежала с высокой температурой. Позвали жившего по соседству врача Янкелевича. Но он ошибся и стал лечить ее не от той болезни.

Когда маме стало совсем плохо, меня послали за Шастиним. Это в четырех кварталах в сторону Каштака. Прибегаю к красивому двухэтажному дому. Поднимаюсь по знакомой лестнице и звоню в дверь с медной пластиной «Доктор Шастин А.И.». Отворяет женщина с печальными глазами. Выслушав меня, она говорит, что доктор болен. Опять запой, подумал я с горечью, и кинулся обратно.

Еще день мама пролежала в огне. Наконец, ее увезли на скорой помощи в больницу. Тася уехала с мамой, а мы в великой тревоге стали ждать от нее вестей. В хирургической клинике, где ее немедленно оперировали, Тасе сообщили, что мама умерла. С этой ужасной вестью Тася бросилась домой. Вот она рыдающая появляется на пороге нашего дома. Мы поняли, что произошло непоправимое...

Я очень любил маму и постоянно чувствовал ее большую любовь ко мне. И вдруг ее не стало. Я едва выдерживал лавину внезапно обрушившегося на нашу семью горя. Дома творилось невероятное: бабушка, Тася, Оля и Евлаша рыдали и причитали. Всюду плачущие родственники, мамы подруги, соседки...

Черные дни похорон... Черные дни, недели и месяцы после...

Надо сказать, что мама как-то предчувствовала свою скорую кончину, вспоминая иногда случай с зайцем и вороной. О зайце я уже рассказал, а ворона...

Произошло это в морозное зимнее утро 1929 года. В сильные морозы, когда столбик термометра опускался ниже сорока, городские птицы искали где бы погреться: воробьи залетали в сени и форточки, забивались надолго за наличники окон в свои теплые гнезда, вороны садились на трубы недавно истопленных печей, откуда еще тянуло угарным газом. Вот на трубе нашего дома какая-то незадачливая ворона и надышалась таким газом, угорела и свалилась в трубу. Пытаясь вылететь обратно, она соскребла много сажу, и, выбившись из сил, упала на вьюшку. Утром мама по обыкновению встала на табуретку и открыла дверцу, чтобы вытащить вьюшки. Но из дымохода в области сажу вырвалась ворона. Мама от неожиданности и испуга свалилась с табуретки, чудом не сломав себе кости. Обезумевшая птица носилась по кухне, билась в окна. Дело усложнил Василий, который как

сумасшедший носился за добычей. Наконец, ворона была поймана и выброшена на улицу. Взбудораженный Василий с горящими глазами ходил по кухне, где, казалось, только что прошел Мамай.

Случай с вороной, как и случай с зайцем в Батуриной, мама восприняла с большой тревогой. Несколько дней после этого она была задумчивой и грустной. Потом перед своей внезапной кончиной она их вспомнит и расценит, как роковые предупреждения. Чувствуя свой близкий конец, она обреченно скажет:

– Видно, господь мне тогда подавал знаки, призывал к себе. На все воля божья...

Когда ее несли на носилках к машине, я запомнил как она смотрела на нас, на стены комнат, на дом... Было видно, что она навсегда прощается с любимыми людьми и родными стенами...

Отец продолжает пить. Незаметно, в коротких репликах он стал нам внушать мысль, что повесится или накинёт на голый провод высокого напряжения проволоку и его убьет током. Все мы были в ужасном напряжении и в постоянном страхе. Не могу сейчас объяснить, зачем он это делал.

На семейном совете решили поселить меня в спальне отца, чтобы будить всех, если ему станет плохо и не дать ему ночью повеситься. Потянулась вереница тяжелых изнуряющих ночей: пьяный отец валится в постель, а я прислушиваюсь к его дыханию. Ночь оказывается такой долгой... Усталость берет свое, я на какой-то миг засыпаю, не слышу очередного вздоха отца. Мгновенно слетает сонливость, я до предела округляю ничего не видящие в темноте глаза и весь превращаюсь в слух. Сердце сильно колотится. Убедившись, что отец ровно дышит, я успокаиваюсь и вновь дремлю. Часто у отца появляются какие-то судороги, он скрипит зубами, пугая меня этим до смерти. Мне казалось всегда, что он умирает.

Дважды отец вешался на своем пояском ремне, привязав его к спинке железной кровати. Дважды я кидался на кухню за хлебным ножом и перерезал ремень. Самое страшное было, проснувшись увидеть, как отец привязывал ремень к кровати и делал петлю. Я приходил в ужас, изо всех сил притворялся спящим и ждал момент, когда отец сунет голову в петлю, и я могу бежать за ножом. Мысли отговорить отца у меня не возникало: я даже боялся, как бы он не увидел, что я не сплю.

Мне трудно сейчас сказать определенно, почему отец так тиранил близких и любящих его людей. Возможно, это дурной характер или результат пьянства. Вероятнее всего и то, и другое вместе взятое. Ясно, что если бы он действительно хотел покончить с собой, то сделал бы это незаметно для окружающих, не угнетал нас постоянными намеками на самоубийство. Да и попытки повеситься на головке кровати, стоя на коленях, – не жуткие ли это инсценировки, чтобы показать, как он страдает?! Это предположение имеет

достаточно веское основание: отец любил иногда поболеть всем на показ, поугубить нас своей болезнью. Этого я ему простить никак не могу.

Если бы я мог тогда рассуждать здраво! Но я мыслил наивно, руководствуясь только чувствами. Я был потрясен смертью мамы и панически боялся, что и с отцом может произойти несчастье. Даже когда он тихо засыпал, я крадучись подходил к нему и с тревогой прислушивался к его дыханию.

Утром я бежал в школу, отвечал уроки. Меня спасало то, что учился я легко. Программу первых трех классов и кое-что из программ старших классов я хорошо знал, так как всегда сидел рядом с Олей, Тасей и Мишей, когда они учили уроки.

Трагедия тех дней не прошла для меня бесследно: стала болеть голова, часто шла кровь из носа. Все говорили, что у меня малокровие. Но на этом деле ограничивалось: никто и никак меня не лечил.

Более тяжкими последствиями того страшного времени стали непрерывные сновидения, в которых я маму видел живой. Проснувшись, я не понимал, не осознавал, что видел сон. Где-то в глубинах сознания эти сны стали постепенно откладываться, формируя некую вторую действительность. У меня возникло и стало крепнуть смутное чувство, что мама не умерла. Появилось неосознанное убеждение, что она жива, но по какой-то причине не может жить с нами.

Жизнь моя раздвоилась: днем обычные дела, а по ночам – стереотипные сновидения, в которых мама была обязательной участницей, но под разными предлогами уходившая куда-то перед тем, как мне проснуться. До сих пор не могу понять, почему эти сновидения я сразу не мог вынести «на поверхность», если так можно выразиться осознать, что вижу сны. Видимо, моя еще слабая и травмированная психика не справлялась с такой нагрузкой.

Так многие годы я по ночам общался с мамой: то мы с ней ходили по грибы, то ездили на сенокос, то ходили на базар или еще куда-нибудь всей семьей. Но вот приближаемся к нашему дому на Войковой... Казалось, войди она с нами в дом – и всем бедам конец! Но и на этот раз она находит убедительную причину уйти, и мы ее отпускаем. Удивительно то, что всякий раз мой сон заканчивался так, что увиденные в нем события не противоречили реальной жизни. Продолжалось это восемь долгих лет...

Уже будучи курсантом военной школы я стал постепенно осознавать, что вижу бесконечный сон о маме, в котором она была живой. Но прошло еще довольно много времени, чтобы я окончательно понял, что много лет видел сны.

Разобравшись со всем происшедшим (об этом ни с кем не поговоришь!), я долго размышлял тогда по этому поводу. Вроде почувствовал некое облегчение. Но появилась и какая-то тихая безотчетная печаль: мне еще раз пришлось хоронить маму. Теперь уже окончательно...

Грузом тягчайших воспоминаний навсегда остались в моей памяти христианские ритуалы похорон. Всю ночь одетый в черное высокий и худой человек, похожий на монаха, тихо и монотонно читал непонятный текст, вперив взор в освещенный свечами трепник на аналое. Всякий раз когда он поворачивал желтые с обтрепанными краями страницы, огоньки свечей трепетно колебались и резкие черные тени, как большие летучие мыши, метались по белым стенам комнаты.

За окном стояла глухая октябрьская ночь, темноту которой усиливала черная земля, еще не успевшая покрыться снегом. Темнота за окнами была настолько плотной, что казалось в окна вставлены черные стекла.

Сердобольная жена нашего знакомого часовщика Маркова все уговаривала меня лечь спать. Она была задушевной подругой мамы и в эти скорбные дни трогательно заботилась обо мне, как о самом маленьком в нашей осиротевшей семье. Но сама мысль о сне при таком горе казалась мне кощунственной. Да и все в доме по сути не спали, а только притихали в ночи.

Я считал, что нельзя надолго оставлять маму одну и потому время от времени вставал с постели и неслышно входил в жуткую полутьму угловой комнаты, где у белого гроба одиноко маячила согбенная фигура церковного служки, и огоньки двух свечей на высоком аналое раскачивали пугающие тени. Иногда у гроба я заставал словно застывших в беззвучном плаче бабушку, Тасю и Евлашу.

Мама казалась мне спящей: на ее лице не было той страшной маски смерти, которая обычно ложится на лица умерших в старости или от тяжелой и долгой болезни.

С первыми лучами холодного октябрьского солнца в доме незаметно все пришло в тихое движение. Появился высокий седобородый священник с псаломщиком. Пока священник, не спеша, торжественно облачался в серебряную ризу, псаломщик принялся разжигать кадило. Он поднял скользившую по трем цепочкам крышечку кадила, положил в него горячие угольки из топившейся печи, закрыл кадило и стал его раскачивать. Когда угольки раскраснелись, он кинул на них несколько кусочков похожего на канифоль ладана, и его сильный, неповторимый запах мгновенно разошелся по всему дому.

Постепенно все комнаты заполнились народом, и священник приступил к панихиде. Торжественно и печально зазвучал его низкий голос, который, казалось, выражал нашу боль и скорбь. Широко расходящаяся книзу ряса с вышитыми серебром крестами и другими таинственными символами придавала священнику вид человека иного, незнакомого и непонятного мне мира.

Я смотрел на бесстрастное и неподвижное лицо мамы, на сложенные на груди руки с наклоненной к ним небольшой иконкой и думал, что вот еще немного, ее унесут и она исчезнет навсегда...

Кончилась панихида. Сразу возник тихий говор десятков людей, битком заполнивших все комнаты. Постепенно народ стал выходить во двор. Четверо рослых мужиков – наших хороших знакомых – положили вокруг шеи на плечи концы вышитых длинных похоронных полотенец, которые бабушка ткала и вышивала для себя. Выпрямившись, они подняли гроб и двинулись к выходу. У крыльца они поставили его на табуретки. Священник обошел гроб, творя молитву прощания умершей с ее домом. Затем мужики вновь подняли гроб и понесли его к настезь открытым воротам. Неведомо откуда взявшиеся две одинаковые черные старушки тотчас перевернули табуретки вверх ножками, объясняя в один голос тем, кто был поблизости, что это надо обязательно сделать, чтобы в доме еще кто-нибудь вскорости не умер.

Вышли на мостовую, и печальная процессия со священником впереди двинулась по Войковой к Знаменской церкви. Ребята, шедшие в школу, узнавали меня, смотрели сочувственно. Некоторые молча подходили ко мне и немного шли рядом.

Все Заозерье знало отца, который был единственным кузнецом в этом большом районе города. Многие знали и маму, часто помогавшую ему в кузнице.

Вот и церковь. Гроб внесли внутрь и установили посередине огромного помещения перед алтарем. Всюду лики святых, освещенных слабым светом восковых свечей. Все торжественно, угрюмо и печально.

Я смотрел на маму и чувствовал, что она все более и более отдаляется от меня, становится недоступной и чужой. Это чувство отчуждения самого любимого и дорогого мне человека еще больше усилилось, когда у изголовья гроба установили два серебряных напольных подсвечника с толстыми витыми свечами, а священник перекрестил маму большим медным крестом и положил ей на лоб широкую черную ленту с незнакомыми словами, написанными серебряной краской старославянской вязью.

После панихиды наша семья, родные и близкие попрощались с мамой, и траурная процессия снова со священником впереди направилась через Базарный мост на гору Каштак через Воскресенский взвоз и далее к Воскресенскому кладбищу. Медленно двигается наша процессия все выше в гору.

Я иду в валенках, глядя себе под ноги, рядом с отцом и бабушкой по окаменевшей от стужи грязи. Пронеся тяжелый гроб несколько кварталов, мужики на ходу сменяют друг друга. Наконец, миновали каменную арку кладбища с крестом и иконой посередине. Процессия вытянулась и мы пошли по узкой дорожке между могильных оградок и густо росших по сторонам берез, уже сбросивших пожелтевшую листву. Гроб поставили у свежерытой могилы, где без шапок стояли брат Миша и Андрей Иванович - жилец нашего дома. Все встали вокруг гроба и священник приступил к обряду погребения.... Не могу, не в силах описать, что было: бабушкины

деревенские причитания по умершей любимой дочери, рыдания Таси, Оли и Евлаши, слезы отца и Миши, слезы родных, близких, знакомых...

С того трагического октября я не выношу похорон. По возможности избегаю их и всей душой сочувствую тем, кто хоронит дорогих им людей.

Я уже рассказал, что у нас одно время жил художник Кузьмич, у которого Миша научился рисовать пейзажи. Помню, он неплохо скопировал картину Поленова «Заросший пруд». В подшивках старого журнала «Нива» (ими был забит чердак нашего дома в Томске) Тася нашла стихотворение, в котором описывалось горе по умершему родному человеку. Отцу оно понравилось и Миша старательно маленькой кисточкой написал это стихотворение на большом железном листе масляной краской. Лист прибили на кресте внизу. Потом, когда мы приходили к могиле мамы, то обычно заставляли там людей, которые, опершись на оградку, читали это довольно длинное стихотворение. Некоторые переписывали его. Вспоминая его, я теперь могу сказать, что писал его не поэт, но писал искренне, зная, что значит вдруг потерять любимого человека.

Замолоцкие

После смерти мамы я особенно сблизился с семьей Замолоцких: Евлашей – сводной сестрой мамы, дочерью бабушки Степаниды Григорьевны; ее мужем Василием Макаровичем и их детьми: Николаем, Леонидом и Валентиной. Евлаша то и дело посылала за мной Леню или Валю, которые отводили меня к себе обычно с ночевкой. Василий Макарович был старшим бухгалтером спиртоводочного завода, корпуса которого примыкали к роще Лагерного сада, красиво раскинувшегося на крутом берегу реки Томи. Относительно нашего Заозерья Лагерный сад находится на противоположном конце города. Этот чудный уголок Томска был так назван потому, что в его большой березовой роще в давние времена солдаты Томского гарнизона разбивали летние лагеря. Сейчас в Лагерном саду построен мемориал Славы, а ниже – под горой – возвели прекрасный железобетонный мост, который, наконец, соединил город с левым берегом, с его лугами и озерами, рощами и тайгой.

Примерно в 1930 году перед первомайскими праздниками я гостил у Замолоцких, и они взяли меня с собой на торжественное собрание. Передовиков награждали ценными подарками. По всей видимости все на заводе припадали к «зеленому змию» и тащили его домой. Я был большим врагом водки, и мне было трудно понять, что за ее изготовление людей награждают. Премировали же, как мне кажется сейчас, тех, кто хорошо работал, не напивал-

ся на работе и меньше других крал. Я так думаю, что помню, как директор завода, вручая подарки, деликатно напоминал награжденным об их проступках. Когда на сцену вышел очередной передовик, директор преподнес ему пакет с подарком, пожал руку, пожелал новых успехов, вежливо напомнил, какую оплошность допустил награжденный, и закончил речь словами:

– Дирекция надеется, товарищ Козодой, что с вами этого больше не повторится!

Василий Макарович сидел в президиуме, а мы с Евлашей и ее ребятами сидели в первом ряду. Когда я услышал фамилию Козодой, то чуть не прыснул со смеха, представив себе, как этот верзила доит козу. Не успел я отдышаться от этой чудной фамилии, как слышу, что он награждается курткой из чертовой кожи. Еще не легче! Значит, черти, все-таки существуют! Их даже обдирают, как баранов, и потом выделывают кожу! Мыслил я образно и ясно представил себе виденную много раз картину сдирания шкуры с козла, которым в данном случае был черт, висящий на пнях ногами вниз.

Семья Замолоцких разительно отличалась от семей, в которых мне приходилось бывать: она была какая-то тихая и ладная. Никто не пил и не курил. Отношения в семье были спокойными и доброжелательными. Колю я помню плохо, так как вскоре он куда то уехал. Леня работал инженером в шахтоуправлении, которое помещалось в центре Томска в красивом недавно построенном здании. Валя училась в университете.

Евлампия Афанасьевна была одной из тех русских женщин, которые от природы одарены интеллигентностью: она была вежливой, доброй, отзывчивой, говорила мягким бархатным голосом, умела внимательно с искренним интересом слушать собеседника, радушно встречала гостей.

У Лени был велосипед – большая в то время редкость – и он научил меня кататься. Мы выходили с ним на широченное поле перед их домом, которое тянулось до обрывистого берега Томи. Там я мог ехать в любом направлении, в котором катился велосипед.

У Замолоцких я впервые увидел обставленные со вкусом комнаты и исключительную чистоту повсюду. Жили они в просторной квартире с большими окнами на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, построенного вместе с заводом еще до революции. Этот красивый дом до сих пор цел, и когда я бываю в Томске, то прихожу к Лагерному саду и с теплой грустью смотрю на три огромных окна на втором этаже, где жили прекрасные люди.

С особой теплотой я вспоминаю Евлашу. Она окончила всего лишь церковно-приходскую школу и более никогда не училась. Пример Евлаши убедительно показывает, что образование вторично, что оно способно лишь развить добрые начала, заложенные от рождения и воспитанные в человеке в раннем возрасте.

Прошло семь лет. Я уже учусь на втором курсе Томской артиллерийской школы. В петличках моей гимнастерки и шинели три позолоченных буквы ТАШ, отчего и дворовую собачонку курсанты ласково называли Ташкой.

Дело было зимой. Я с приятелем Мишей Киршиным – бывшим беспризорником – получили увольнительные записки, одели выходную форму и верхом на своих лошадях отправились на прогулку по городу. Командование училища всячески поощряло это, так как курсанты получали удовольствие, а боевые застоявшиеся в конюшнях лошади, разминались. На нас были хромовые сапоги, длинные шинели кавалерийского покроя и буденовки. Все шито по мерке. Сбоку висела шашка, а на сапогах «малиновым» звоном позвякивали хромированные шпоры, которые нам на заказ делали городские мастера.

Из сводчатых ворот школы выехали парой, как лихие гусары: лошади шли «ноздря в ноздю», а мы, распрямив плечи и прижав локти к бокам, управляли только кистями рук, зажав поводья между пальцами. Выехав, свернули направо и поехали по Красноармейской. Скоро будем проезжать девичье общежитие финансового техникума, а чуть дальше – общежитие медицинского института. На нас будут смотреть девчата, и мы готовимся к этому, трогая шпорами бока лошадей и заставляя их слегка гарцевать. Мне-то, в общем, до девчат еще рановато, а Миша – он старше меня на три года – жених по всем статьям.

Доехали до Ленинского проспекта, повернули налево и вскоре были у Лагерного сада. По полю пустили лошадей крупной рысью, а затем полевым галопом – самым быстрым из всех аллюров. Поравнявшись со знакомым трехэтажным зданием, стоявшим особняком, я придержал Дарьяла и остановил его. Конь разгоряченный бегом, не хотел стоять и крутился на месте. Подъехал на своей красивой кобылке Миша и, подняв крутые брови, вопросительно смотрит на меня.

– Забежим на минутку к моим родственникам? – показал я рукой на особняк, с трудом удерживая горячего Дарьяла. Мне очень хотелось показаться дорогим мне людям в новом качестве: последний раз я был у них, когда учился в восьмом классе. Миша не возражал и, как мне показалось, с удовольствием согласился.

Мы привязали лошадей к палисаднику под окнами Замолоцких, чтобы они были у нас на виду. Через боковую калитку вошли в убранный от снега небольшой дворик, поднимаемся по широкой каменной лестнице. По привычке идем рядом и в ногу, гремя шпорами, придерживая левой рукой шашку, которой гордились особенно. Винтовку и шашку нам выдали после принятия присяги на главной площади города 7-го ноября.

Я изо всех сил старался быть спокойным, но сердце готово вот-вот вырваться из груди. Все Замолоцкие были дома. Встретили они нас как родных

детей. Евлаша прослезилась, слушая мой рассказ о службе и учебе. Леня по-мужски все хлопал меня по плечам, широко улыбнулся и с высоты своего богатырского роста внимательно и близоручко рассматривал меня сквозь толстые линзы очков, которые делали его глаза несоразмерно маленькими. Красивая и очаровательная Валя заходила то с одной, то с другой стороны, обнимая меня и стараясь незаметно поцеловать.

Пока я был в центре неожиданного в доме Замолоцких события, Евлаша в светлой и просторной кухне уже угощала Мишу чем-то вкусным. Этим не кормили его ни в детском доме для беспризорных, ни даже в нашей прекрасной столовой артиллерийской школы, где официантки в красивой униформе подавали каждому курсанту персонально, как в городском ресторане на проспекте Ленина.

Евлаша всю жизнь была очень дружна с мамой и ее трагическую смерть приняла близко к сердцу и как старшая сестра, и как задушевная подруга. Я уже рассказывал, что, оставшись без матери, я часто гостил у них, не переставая изумляться удивительной атмосфере дома, чистоте и порядку, характеру разговоров в семье. Особенно я любил красивых, образованных и обаятельных Леню и Валю. Они уделяли мне много внимания и старались рассказать что-либо интересное. Я ежеминутно замечал и чувствовал все это, так как привык видеть и пьяных, и грязь, слышать грубость и брань, разговоры неграмотных и невоспитанных людей. Все это так или иначе было и в нашем доме, и в домах многих моих школьных друзей.

И вот теперь, занятый разговорами с Василием Макаровичем, Евлашей, Леней и Валею, я успеваю поглядывать на их уютное жилье, с любовью прислушиваясь к тому, о чем и как говорят дорогие мне люди. Для Замолоцких же я представлял удивительную метаморфозу: из белобрысого босоногого мальчишки я превратился в высокого стройного военного человека с бравой выправкой с шашкой на боку, со шпорами на сапогах, которого к тому же на улице ожидала своя лошадь.

Замолоцкие, конечно, понимали, что разительные перемены со мной были чисто внешними, возрастными и что до настоящего человека мне было еще далеко...

Ах, дорогие мои Замолоцкие! Думали ли вы, что спустя лишь неделю после описанной встречи, к вам придет страшная беда: Леню назовут врагом народа и отправят в лагерь ГПУ на Дальний восток... Шел страшный 1937 год.

Мой любимый Леня – образец для подражания во всех отношениях – враг народа?! Я беспредельно верил в идеалы Советской власти, считал правильными лозунги партии, Сталина, верил в правильность руководства страной.

Нас – курсантов-то и дело водили на митинги в клуб, где без конца рассказывали об антисоветских заговорах, о шпионаже, о вредительстве на шахтах, стройках, в промышленности. Изучаем статью Горького, где он

пишет, что враг народа хуже тифозной вши и бросает клич:

– Если враг не сдается – его уничтожают!

Я считал, что все обвиненные во вредительстве, в измене родине, в шпионаже, действительно враги народа. Но я и многие из моих товарищей по артшколе пришли в смятение, когда схватили и расстреляли уважаемых нами руководителей: полковника Пантюхина – начальника школы, начальника медицинской службы Вдовина, начальника ветеринарной службы, интенданта второго ранга предобрейшего старичка Шаврова (он любил лошадей, как своих детей, а его обвинили в том, что он прививал им сап!), командира дивизиона майора Татура.

Обсуждая эти события вдвоем со своим верным другом Андреем Морозовым, мы решили, что все они стали жертвой наговора со стороны комиссара дивизиона, который особенно активно выступал на митингах против «врагов народа» и которого потом назначили временно исполнять должность начальника училища.

Вскоре после этих горестных событий в артшколе и горьких раздумий по этому поводу пришли страшные вести из дома: Леня Замолоцкий и мой сводный брат Леня Янкелевич осуждены, как враги народа. Леню Замолоцкого выслали куда-то на Дальний Восток, а Леню Янкелевича – в Горно-Шорские лагеря ГПУ.

Я был в шоковом состоянии: этих людей я любил и верил им. У всех «врагов народа» были свои близкие, которые, как и я, были уверены в их невинности. Значит... сажали в тюрьму, загоняли в лагеря, расстреливали по одиночке и по спискам невинных людей!

Домыслить тогда до этой страшной истины я не мог. Но даже, если бы мне кто-нибудь намекнул, подсказал, как в действительности обстоит дело в стране, то чувство страха быть уничтоженным с ярлыком «враг народа», я уверен, взяло бы верх над здравым смыслом и над совестью.

Когда я в те ужасные времена бывал у отца в кузнице, то всегда слышал, как мужики единодушно «в хвост и в гриву» поносили ГПУ и Сталина. Но я думал, что это все разговоры людей, которых Советская власть правильно наказала, как эксплуататоров, и потому совершенно не верил их словам.

Теперь, более полувека спустя, я себя вижу в тот трагический 1937 год овечкой, бегущей в плотной многомиллионной отаре. Что может она, эта овечка? Только вовремя переставлять ноги, чтобы не упасть и не быть раздавленной, если отара по злой воле пастуха вдруг ринется в сторону или кинется назад.

После ареста Лени никто в семье Замолоцких не находил себе места. Счастье прекрасной семье ушло безвозвратно. Долгих пятнадцать лет дипломированный шахтостроитель Леонид Васильевич Замолоцкий создавал

укрепленные районы на границе с Китаем. Наконец, его реабилитировали и отпустили на волю. Василий Макарович и Евлаша под тяжестью безысходного горя быстро состарились и умерли.

Летом 1961 года Леонид Васильевич был проездом в Москве и зашел к нам. Передо мной сидел уже совсем другой, почти чужой человек: старый, не улыбочивый. О прошлом говорить не хотел. Он как-то весь встревожился, когда я резко и откровенно высказался о тех, кто взбесившимся слонем растоптал их семью и на долгие годы лишил его свободы. Видимо, страх вошел в его существо, как естественное и постоянное чувство. Не стало человека! Не стало того, кто был моим любимым Леней!..

От Леонида я узнал, что его брат Коля погиб в 1941 году на Юго-Западном фронте, а сестра Валя умерла в блокадном Ленинграде.

Горестное повествование о Лене Янкелевиче – моем сводном брате, который двадцатидвухлетним пареньком погиб в лагерях ГПУ – впереди.

Умершие, безвременно ушедшие от нас любимые люди живут в нас, пока живем мы и помним о них. Истинно сказано, что мертвые навсегда остаются молодыми. В тот трагический 1929 год маме было всего тридцать шесть, и я теперь в два раза старше ее.

Как ужасно далек от меня теперешнего тот черный и холодный октябрь! Но нет срока давности для памяти человеческой!

Глава 4

Бабушка Степанида Григорьевна

Трезор

*...Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала..
Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет..
— Скажи, родимый, будет ли война?
И я сказал:
— Наверное, не будет..
— Дай Бог, дай Бог... Ведь всем не угодить,
А от раздора пользы не прибудет..
И вдруг опять:
— Не будет, говоришь?
— Нет, - говорю, - наверное, не будет!
— Дай Бог, дай Бог..
И долго на меня
Опять смотрела, как глухонемая,
И головы седой не поднимая,
Опять сидела у огня.*

Николай Рубцов

Мой прадед по материнской линии – потомственный хлебопашец Григорий Ячменев – был коренным жителем Сибири. Он родился и прожил всю жизнь в деревне Белоглинка, Кольванской волости, Ново-Николаевского уезда (Кольванский район, Новосибирской области). Предки его были выходцами из России.

У прадеда с прабабушкой было трое детей: сын Григорий и дочери – Мария и Степанида – моя бабушка. Ячменевы отличались крепким здоровьем, силой и долголетием. Бабушка Степанида Григорьевна рассказывала, что ее мать прожила почти сто лет. Да и сама Степанида жила долго, как и ее брат Григорий и сестра Мария.

В 1894 году Степаниду Григорьевну выдали за молодого парня из деревни Вьюны – Ситникова Александра. Он был работающим, из хорошей семьи. Через год у них родилась дочка Таня – моя мама. Но на молодую семью внезапно обрушилось горе: на сенокосе от холеры умирает Саша Ситников – мой молодой дед. Немногим ранее от холеры же умер и дед Илларион Иванов. Теперь вот костлявая рука этой страшной болезни дотянулась и до Ново-Николаевского уезда.

Тем же летом от холеры умирает жена бабушкиного соседа пожилого крестьянина Сизикова Афанасия. Так было угодно случаю. Через некоторое время молодая вдова Степанида, оставшись с грудным ребенком, выходит замуж за овдовевшего соседа – Сизикова Афанасия (1850-1920), сделавшись таким образом хозяйкой двух домов. У Афанасия были уже большие дети: сын Алексей восьми лет и четырехлетняя дочь Евлампия.

Бабушка Степанида Григорьевна Ситникова, урожденная Ячменева, взяла фамилию второго мужа и стала Сизиковой. Пятилетняя дочь Афанасия Евлампия стала сводной сестрой маленькой Тани, а старший Алексей – ее сводным братом. Но узнает об этом Таня, когда станет постарше. Мама будет до конца своей короткой жизни дружить с Евлампией. Евлампия Афанасьевна, или как ее звали Евлаша, была настоящим самородком. Родилась она в обычной крестьянской семье, в глухом сибирском селе. Окончила три класса церковно-приходской школы. Но какая это была женщина! Стройная, с красивыми мягкими чертами лица. У нее был добрый и ровный характер. Замуж она вышла за томича Василия Макаровича Замолоцкого. Он был сыном политического ссыльного из Польши, которая тогда входила в состав Российской империи. Замолоцкий был хорошо образован, не пил и не курил. Василий и Евлаша составили удивительно хорошую пару. Своим детям – Николаю, Леониду и Валентине они дали высшее образование и прекрасное домашнее воспитание. Все трое были красивыми. Но особенно Валя и Леня. Очень нравилась мне семья Замолоцких. Многому хорошему я научился, часто живя у них после смерти мамы.

Первый раз бабушку Степаниду Григорьевну я увидел, когда мне было четыре с половиной года. Летом 1924 г. она приехала погостить к нам в Батурину. Звали мы ее все «баушка», по-сибирски опуская букву «б». Особенно мне запомнились черные коржики со своеобразным вкусом, которые она привезла в мешке. Таких коржиков мама никогда не пекла.

Удивительно, что в Москве в шестидесятых годах в булочных появились точно такие же коржики и по виду, и по вкусу. Наверное, кто-то узнал секрет сибирских стряпух и с успехом применил его в столице.

Бабушка умела делать все, что необходимо для жизни в деревне. И это было естественно, так как оторванные от мира глухие сибирские деревушки вели почти натуральное хозяйство: крестьяне сами ткали холст, иглами шили из него белье и одежду, катали пимы, шили бродни, сапоги, дохи, шубы, полушубки, барчатки, мастерили телеги и сани, гнали смолу, деготь, скипидар. Гнали и самогон.

Я хорошо помню, как отец соорудил в бане самогонный аппарат, когда мы жили в Батуриной: банный котел был плотно закрыт каким-то колпаком, из которого выходил ствол от винтовки. Ствол был обмотан тряпкой, на которую непрерывно лили холодную воду. Из наклоненного вниз ствола в бутылку капал самогон. Первые порции самогона называли «первачем», который особенно ценился. Первач, разлитый на столе. Вспыхивал от спички и горел синим пламенем.

После того, как наша семья переехала в Томск, бабушка Степанида стала жить у нас постоянно, помогая маме по хозяйству: шесть человек надо было обстирать, обшить, накормить.

Самым тяжким делом для бабушки было прясть нитки из шерсти Трезора. Он был невероятно кудлатым и каждую весну его приходилось стричь, так как летом он изнемогал от жары. Выбрасывать же теплую собачью шерсть было жаль. Идея использовать ее для варежек и носок принадлежала отцу. Стриг Трезора я. Операция эта была мучительной для собаки и очень неприятной для меня. Дело в том, что Трезор стричься не хотел, стараясь вырваться из рук. Поэтому я часто прихватывал его шкуру и Трезор поднимал жалобный вой, пытаясь меня укусить. Стриг я его несколько дней и потому Трезор долго бегал остриженный наполовину, как арестант. Шерсть его была сильно свалянной, грязной и ужасно пахла псиной. Бабушка мыла ее с нескрываемым отвращением. После сушки она теребила и пряла шерсть, неизменно сопровождая эту работу тихим ворчанием по адресу собаки и отца.

Но когда последний клочок шерсти был растереблен, спряден и смотан в клубок и бабушка садилась вязать, то картина резко менялась: она снова становилась спокойной и доброжелательной. Вязание доставляло ей удовольствие. Вязала бабушка быстро, почти автоматически, не глядя на крючок или спицы. Если подсесть к ней, когда она вязала, то бабушка обычно начинала вспоминать, как

жили «в старину» или рассказывала о родных, о своей жизни.

Бабушкина вязка была очень плотной и после длительной носки, когда собачья шерсть сваливалась, варежки ли носки казались войлочными.

У меня долго хранились варежки из Трезоркиной шерсти, связанные бабушкой более полувека назад. Я их одевал в сильные морозы, когда выбирался покататься на лыжах. Они мне всегда напоминали о далеком детстве в далекой Сибири, о бабушке Степаниде Григорьевне и кудлатом Трезоре, которого надо было стричь каждую весну.

Мир детства – это романтика, которая спасет нашу душу от черствости. Не надо только забывать его, почаще и с любовью вспоминать родных, близких, просто знакомых и случайных людей, окружавших нас в ту далекую пору, вспоминать обстоятельства и счастливые случайности, которые делали нас людьми.

Летом 1940 года, уже будучи лейтенантом, я приехал в Томск навестить родной дом после четырехлетнего отсутствия. Войдя во двор на Войковой, я первым делом направился к собачьей конуре, ко входу которой тянулась цепь: значит Трезор жив и сейчас, видимо, отдыхает. Эту конуру, или как ее в Сибири еще называют катух, я смастерил когда-то сам. Для тепла стенки конуры сделал двойными, засыпав между ними кузнечный шлак. На потолок положил толстый слой дерна, прикрыв его железными листами. Пол застели сеном, а вход завесил пологом из старого половика. После постройки этого собачьего дворца я с удовольствием забирался к Трезору в гости. Хозяин приходил в неопишуемый восторг: суматошно крутился и постоянно норовил лизнуть меня в лицо.

Как собака встретит меня после такой долгой разлуки, да еще в незнакомой для нее военной форме? На всякий случай остановился подальше. Начинаю звать Трезора. Загремев цепью, он выскочил наружу. Остановился, внимательно рассматривая меня и злобно урча. Я ласково называл его Трезорушкой, говорил ему другие хорошие слова, звал к себе, ударяя ладошкой по колену. Вскоре урчание стало менее злобным, слегка задвигался хвост, из глаз исчезли злые огоньки. Я понимал, что для собаки главным был мой голос, который мало изменился и по которому она меня сейчас постепенно узнавала. Поэтому я не переставал говорить и говорить со своим давним другом.

Наконец, Трезорка окончательно узнал, вспомнил меня. Он как-то жалобно и одновременно радостно взвизгнул и ринулся ко мне. Трезор неистово лаял, сильно подпрыгивал, ударяя меня лапами в грудь и стремясь лизнуть в лицо.

По мере сил я старался соблюдать приличествующую человеку солидность при встрече с любимой собакой. Но скрыть свою радость от свидания с ней, радость от того, что она меня узнала - я не мог и прослезился.

Уже за одно это стоило ехать из Харькова в далекую Сибирь!

*Я помню как звезды светили,
Скрител за окошком плетень.
И стаями волки бродили
Ночами вблизи деревень...*

Николай Рубцов

Вот бабушка рассказывает, как зимними ночами их одолевали стаи голодных волков, взяв деревню в жуткое кольцо. Как рвали собак, как резали овец, забравшись в хлев через соломенную кровлю. Унесут одну-две овцы, но зарежут всех до единой.

Вот метель застала обоз в диком поле. Дорогу замело. Заблудиться в метель - значит пропасть. Но едущий впереди обоза поставлен туда не случайно: у него сильный и опытный конь, да и сам возница не промах. Мужик бросает вожжи и его лошадь сама приводит весь обоз домой или, по крайней мере, к жилью, где можно обогреться и накормить лошадей.

Бабушка рассказывала, как вечерили при свете лучины, от которой было больше копоти, чем света. Она знала много сказок, в большинстве страшных и мы, слушая ее, пугливо озирались на темные углы, где блазилась нечистая сила.

Ликбез

Бабушка Степанида Григорьевна была неграмотной. Но несмотря на то, что четверо ее внучат учились в школе, она даже не делала попытки научиться хотя бы расписываться или прочитать вывеску над магазином. Она считала грамоту для себя недоступной, а вернее, не нужной.

Я уже учился в четвертом классе. Тогда много писалось, говорилось и делалось по борьбе с неграмотностью. Я загорелся желанием научить бабушку читать и писать. Зная заранее, что она будет против, я долго выбирал подходящий момент для разговора и, наконец, решился. Бабушка выслушала меня молча. В ее взгляде можно было прочесть удивление, испуг и жалость одновременно.

Потом тихим голосом, каким обычно говорят с больным, произнесла:

– Христос с тобой, родненький! Это не для меня. Ты, Лёва, сам учись, а мне, старухе, это ни к чему.

Сказав это, она просительным, как бы ища поддержки, подняла глаза к образам, подошла поближе к божнице и стала креститься, тихо шепча привычные слова молитвы:

– Царица небесная, пресвятая богородица...

Никогда больше по вопросу ликбеза к бабушке я не обращался. Она искренне верила в бога. У нее давно сложился целостный мир, где не было противоречий и сомнений, где все было хорошо и ладно. Потребности в грамоте она не чувствовала. Она была удовлетворена тем, что знала и умела. То, что думали и делали ее безбожники-внуки, было для нее неприемлемо и чуждо. Однако, к нашему безверию она относилась терпимо, не была верующей фанатичкой, какими иногда бывают городские старухи. Она даже прощала Мише озорное богохульство, которое он иногда творил у нее на глазах.

В бабушкином лексиконе было много исконно сибирских слов: баско – хорошо; лопать – одежда; беспелюха – неумеха; пимы – валенки; лосинки – кожаные варежки; иман – козел и другие. Более всего на свете она любила посидеть с дорогими ей гостями (гостинёчками, как она говорила) за шумящим самоваром, попить хорошего чая с сахаром. Чай в ту пору в Сибирь шел из Китая и потому назывался китайским. Это был лучший чай. Был еще чай «кирпичный» - большие плоские брикеты спрессованной чайной пыли. Городская беднота в основном довольствовалась этим кирпичным чаем, который был значительно дешевле китайского. В деревнях же обычно пили самодельный морковный чай: мелко нарезанную морковь на противнях зажаривали в русской печи до черноты.

Сахар был дорогим и для нас, детей, являлся большим лакомством. Продавали его из мешков большими бесформенными кусками. Дома их разбивали тяжелыми ручками железных ножей или мельчили кусочками. Нам давали обычно порцию – один два маленьких кусочка. Чай пили с сахаром «вприкуску». В чай сахар не клали: слишком много надо было сахара, чтобы чай был сладким.

В голодные 1930-1933 годы сахара совсем не стало. Вместо него продавали сахарин. На сахарине же делались разные морсы в розлив и в бутылках. На этикетках было написано, что напитки сделаны на сахарине и что детям пить вредно.

Позже, собираясь в Томск погостить, я непременно покупал бабушке несколько пачек хорошего индийского чая. Она была всегда этому несказанно рада. Я не переставал удивляться, что вот такой пустяк делал человека счастливым. В связи с этим вспоминаются такие смешные нелепости. Когда мне было лет четырнадцать, я считал чай вредным и пил чистый кипяток, крайне изумляя этим бабушку и других домочадцев.

Угол

Я рос, когда в обществе произошла ломка прежних идей, представлений, ломка старого мировоззрения и становления нового. Особенно острой борьба была вокруг религии. В этом споре нельзя было оставаться в стороне. Был лишь выбор между “веришь” или “не веришь” в Бога. Я был пионером по убеждению: в бога не верил, в церковь не ходил и не молился. Твердую убежденность в правильности своих взглядов я вынес из школы.

Тогда пропаганде атеизма и критике религии при обучении уделялось большое внимание.

Разумеется, что я не родился атеистом. В самом раннем детстве, как и всем малышам, мне внушили веру в бога. Не случайно я до сих пор помню короткую молитву:

*Отче наш,
Иже еси на небеси.
А освятится имя твое,
Да будет воля твоя,
Да будет царствие твое!*

Но верующим в Бога я себя не помню. Помню лишь, как меня пытались заставить верить, молиться и как я отчаянно сопротивлялся.

Когда принимали в пионеры, то вопрос о том, веришь или не веришь, не задавали. Официального запрета на религию не было. Но неверие пионеров в бога само собой разумелось, никто из пионеров в церковь не ходил. Были, конечно, случаи, но осуждение ограничивалось веселым высмеиванием.

Помню однажды пионервожатая – девочка из старшего класса – спрашивает мою одноклассницу Скороходову:

– Говорят, что ты в церковь ходишь? Правда это?

Скороходова, потупясь, молчала, краснея.

– Надо выбирать что-нибудь одно: или верить в бога, или быть пионеркой, – заключила пионервожатая мягко.

– Я в бога не верю, не молюсь. А в церковь я иногда вожу бабушку: она очень старая и плохо видит. Я у нее за поводыря, – робко ответила, наконец, наша худышка, устремив на пионервожатую свои немигающие черные глазки, в которых была лишь правда.

Из-за того, что я не верил в Бога у меня с отцом, а иногда и с бабушкой возникали конфликты. Особенно острыми они бывали в дни христианских праздников. Каждый из нашей семьи перед тем как сесть за стол, крестился на иконы, стоявшие

в красном углу на божнице. Я тянул до последней возможности, надеясь, что все обойдется. Потом с озабоченным видом быстро шел к столу и садился на свое место. Все затихали и незаметно наблюдали за отцом. Я очень переживал этот момент и готов был оставаться голодным. Но не сесть за праздничный стол было нельзя, за это я получил бы от отца хорошего ремня. Отец не так из-за веры, к которой относился как и большинство мужиков формально, а желая показать характер, сурово ставил условие:

– Помолись, а потом за стол садись!

Наступало тягостное молчание. Отец не унимался:

– Не будешь молиться?!

Я молчу, нахмурившись и опустив низко голову.

– Тогда становись в угол! – резко заключает отец.

Привыкнув к порке ремнем, «угол» я за наказание не считал и шел туда спокойно. К тому же я чувствовал себя героем, страдающим за право не верить.

Стою в углу, колупаю известью. Отец командует – руки держать по швам. За столом едят, но чувствуется тяжелая, не праздничная атмосфера: общий разговор не вяжется, шутки натянуты. Эту неприятную ситуацию умело разряжает Тася, которая переживала за меня больше всех.

– Папа, ведь Лев – пионер, и молиться ему нельзя. Но в душе он верит, – говорит она уверенно.

Я, ошарашенный явной неправдой, вдыхаю побольше воздуха, готовясь к бурному протесту. Но сделать это не успеваю. Отец, видимо, понимая, что Тася бросила ему палочку-выручалочку, подобревшим голосом быстро говорит:

– Ну, если так, то пусть садится и ест!

Тася умоляюще смотрит на меня, слегка кивает головой и незаметно прижимает палец к сжатым губам.

Мне ничего не остается, как выйти из своего геройского угла и сесть за стол. Но есть воздерживаюсь, хотя на столе много такого, что готовится только по великим праздникам: пироги со стерлядью, мясом, грибами, молотой сушеной черемухой и мое любимое лакомство: шарики из белой муки, зажаренные в кипящем масле... Угнетает то, что за столом я оказался верующий в бога. Сижу, опустив голову, кое-что беру, отщипываю и медленно жую, ожидая, когда отец выйдет из-за стола. Ест он быстро, как и все рабочие люди, и праздно сидеть за столом не любит даже в такие дни. Наконец он уходит. Оглядев застолье, я заявляю о своем неверии в бога.

– И в душе тоже, – добавляю я, глядя на Тасю.

После этого со спокойной совестью принимаюсь за еду, наверстывая упущенное.

Бабушка смотрит на меня с горьким сожалением, Тася – с пониманием. Мише и Оле просто весело. Они считают, что их младший брат чудит.

Когда мы переехали в Томск, то мне еще не было шести и потому я с

удовольствием иногда ходил с мамой и бабушкой к обедне, когда церковь полупуста и служба короткая. После деревянной батуринской церквушки, Томская церковь Знамения Господня была настоящим храмом: каменная, высокая, с позолоченными куполами, высокой звонницей, обнесенная просторной оградой из красиво отлитых чугунных решеток. Внутри множество красивых икон. Все в серебре и золоте. Говорили, что на эту церковь много денег пожертвовал местный миллионер Кухтерин, уехавший после революции за границу.

Когда я немного повзрослел и наслушался о вреде религии, то по доброй воле в церковь уже не шел. Мама махнула на меня рукой, но бабушка была настроена непримиримо: она считала, что я должен ходить в церковь. Она не знала новых законов и настаивала на своем, я тоже не знал их, но понимал, что силой заставить меня ходить в церковь никто не может. Еще более я утвердился в этом, когда пошел в школу.

В скорбные дни маминых похорон я испытал огромное воздействие церкви и ее обрядов. Но эта сильнейшая доза религиозности вызвала у меня обратную реакцию: церковь и все связанное с ней сделались как бы синонимом моего горя, постоянно напоминая мне о смерти и похоронах мамы. Я с неприязнью стал смотреть на образа, стоявшие на божницах. Проходя мимо церкви, я отворачивался и старался не смотреть на нее. Переходил на другую сторону улицы, если видел идущего навстречу священника. Тогда священнослужители еще появлялись на улице в характерной для них одежде: черной широкополой шляпе, темном пальто, сильно расширенном снизу, и в черных хромовых сапогах.

Поминовение

Только однажды – это было на сороковой день после похорон мамы – я был вынужден зайти в Знаменскую церковь. Бабушка тогда сильно занемогла и попросила меня отнести в церковь к концу обедни записку о заупокойном поминовении мамы. На улице всю хозяйничала зимняя стужа. Ничего не сказал я тогда бабушке. Оделся попримичнее, пришел в церковь, осторожно прошел мимо молящихся пожилых женщин и старух в черном и стал в первом ряду, стараясь не видеть их лиц.

Так совпало, что служил обедню тот самый священник, который отпевал маму дома и в церкви, и хоронил ее, пройдя немалый путь от нашего дома до Воскресенского кладбища.

Бабушка объяснила мне, что справа от аналоя на высокой подставке стоит серебряный поднос для заздравных записок, а слева – черный – для заупокойных.

– Не перепутай, Лева. Боже тебя упаси! – напутствовала бабушка.

Воспользовавшись небольшой паузой в службе, я подошел к черной горестной чаше и положил в нее вчетверо сложенный тетрадный лист, на котором Тася крупным красивым почерком написала: «Помяните Татьяну, умершую 21 октября 36 лет отроду». Вернувшись на свое место, я снова стал смотреть на священника, заканчивающего обедню. В какой-то момент он пытливо взглянул на меня и наши глаза на мгновение встретились. Мне показалось, что он узнал меня. Хотелось, чтобы он узнал.

Будучи безбожником, я тогда в черном октябре предвзято строго следил за всеми его действиями, но не нашел ничего такого, за что можно было бы осудить и его, и религию вообще. Более того, я видел, что он искренне сочувствовал нашему горю. Когда выпадала минута, он подходил к отцу, бабушке, Тасе, расспрашивал о трагической смерти мамы, успокаивал и утешал их. Он даже меня погладил по голове, разговаривая с бабушкой и Евлашей. Запомнился он мне умным добрым человеком, умело служившим своему святому делу. Окончив обедню, священник читал записки из серебряного подноса, провозглашая здравицу в честь живущих и желая им всем многие лета. Потом он на минуту удалился в алтарь. Когда он вернулся к аналою, то на лице его была видна глубокая печаль, как будто в алтаре ему сообщили какое-то печальное известие. Прислуживавшая ему старушка в черном уже убрала серебряный поднос и вплотную к аналою пододвинула черный со скорбными записками прихожан.

Вот священник тянет к нему руку и я вижу, что мою большую записку он берет первой. Берет только одну ее. Я все сильнее и сильнее волнуюсь, по мере того, как он ее разворачивает и читает. Прочтя, он не спеша кладет ее в сторону, высоко поднимает лицо, осеняет себя широким крестом и над затаившими дыханием прихожанами раздается могучий и проникновенный бас, от которого трубно гудят высокие своды церкви и содрогается все мое существо:

– У-по-кой, го-спо-ди, ду-шу Ра-бы тво-ей Тать-яны, безвре-менно скончав-шей-ся в рас-цве-те жиз-ни!...

Я стоял потрясенный. Мне казалось, что все смотрят на меня: ведь поминают мою маму! Но смотрел на меня только священник. Видимо, он вспомнил молодую покойницу Татьяну, которую он совсем недавно хоронил, и которую просил помянуть единственный среди богомольцев мальчик, положивший большую, сложенную вчетверо, записку.

Едва сдерживая слезы, я стал пробираться к выходу. В щель металлического ящика, закрытого на амбарный замок и укрепленного в глубокой нише у дверей, я опустил бумажный рубль, как велела бабушка. Но клал этот рубль я вроде от себя, считая это правильным.

Выйдя из церковных ворот, я пошел к Томи, которая протекала совсем рядом. Стоя на ее обрывистом берегу, я смотрел на беспредельные заснеженные просторы противоположного берега и думал: какое же это непростое

дело церковь, религия, вера. Что Бога нет – сомнений у меня не было и не возникло. Но вот священник – совершенно посторонний для меня человек – разделяет мое горе. А принародное торжественное произнесение дорогого имени! Какой благодарностью это отозвалось в моей душе. Поминование усопших в такой торжественно-траурной обстановке на людях мне казалось способно воскрешать мертвых, чтобы живые тени ушедших от нас близких и любимых людей постоянно были рядом с нами.

Это было мое последнее посещение церкви как Божьего храма. После этого в действующую церковь я вошел только через сорок с лишним лет. Вошел как человек, интересующийся старинной живописью, древней архитектурой и с пониманием присматривающийся к верующим прихожанам.

Летом 1980 года я гостил в Томске. Встречался с близкими людьми, ходил по знакомым улицам, узнавал старые дома. Побывал и в нашем доме на Войкова, который до сих пор цел и где многие жильцы меня еще помнят. С грустью пошел к Знаменской церкви. Но то, что я увидел, превзошло все мои тяжкие предположения: вместо позолоченных куполов и звонницы – пологая ржавая крыша сарая. Чугунной решетки нет. Торчат лишь остатки кирпичных столбиков. Вокруг церкви – свалка ржавых механизмов и репейники выше человеческого роста. Теперь здесь верфь: строят речные катера...

Что говорить о чувствах верующих, если даже мое сердце убежденного безбожника не добро и тяжело перевернулось в груди при виде этого варварства

*...Не жаль мне, не жаль мне
Растоптанной царской короны.
Но жаль мне, но жаль мне
Разрушенных белых церквей.*

Николай Рубцов

Мое детство совпало с бурным временем ломки старых воззрений, прежнего образа жизни, я это хорошо понимал и потому ничего не принимал на веру без сравнения того, что я слышал на улице, в кузнице, в семьях приятелей с тем, что мне говорили в школе, что читал в книгах и чему безусловно верил.

Тогда в стране проходили три больших компании: борьба с религией, борьба с неграмотностью и борьба с пьянством. Особенно я радовался борьбе с пьянством, так как с его жуткими последствиями я сталкивался непрерывно. Религия, как я думал, исчезнет сама по себе, когда перемрут богомольные старухи, оставшиеся нам от старого режима. Мы, школьники, постоянно сходились на

этом, казалось, беспорном варианте, обсуждая вопросы атеизма и веры. В ликвидации неграмотности у меня не было никакого сомнения, так как и мы все вокруг учились. В то время популярной была песенка:

*...Прогоним всех монахов,
Прогоним всех попов.
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов!*

Поэтому главным врагом был для меня пьяница. Сколько жутких сцен, связанных с пьянством я видел! В деревне пьяный отец застрелил из двустволки нашего красавца – Моряка, который почему-то стал выть по ночам. В деревне же, напишись, он часто бил маму.

Когда мы приехали в Томск, то я с ребятами часто бегал на пристань. Грузили и разгружали тогда пароходы только грузчики: механизмов не было. Груз упаковывался так, чтобы его мог нести средней силы человек. И вот из трюмов пароходов по крутым трапов и далее вверх к береговым пакугазам непрерывной чередой, как муравьи, шли и шли согнувшись под тяжестью груза люди. Это был адский труд.

По окончании разгрузки и погрузки они получали заработанные наличными, и начиналась попойка. Завязывались жестокие драки. Здоровенные люди уродовали друг друга, разбивали головы, откусывали уши и носы. Смешная фраза Леонова в кинокомедии с угрозой «порвать пасть» звучит для меня жутко: я вспоминаю пьяную драку на пристани, когда знаменитому грузчику – силачу Косте-Басу сильно разорвали рот. Костя выжил, но его щеки обезобразили два багряных рубца. Скоро он «сгорел от вина», как тогда говорили о спившихся мужиках и умерших от белой горячки.

В кузнице также к концу работы обычно начиналась пьянка. Отец приучил к выпивке и брата Мишу, который часто напивался до потери сознания.

Тяжело было смотреть на вконец опьяневших мужиков, которые только что говорили дельные вещи и внушали уважение. На некоторых наваливалась доброта, и они совали мне в руку мятые рубли и трешки. Я понимал, что это от водки и потому денег не брал. Каждый рубль был заработан мужиком своим потом и он им дорожил. Потребовалась бы целая книга, чтобы рассказать хотя бы долю той мерзости, которую творили пьяные мужики. Пьяный же сибиряк был особенно силен на всякие безобразия.

К счастью, отец не курил и считал курение вредной привычкой. Надо сказать, что в те времена курили лишь солидные мужики. Подросткам курить не давали и даже били за это.

1929 год был для бабушки, как и для всей нашей семьи, трагическим: неожиданно умирает ее единственная дочь Таня – моя мама.

Долгие годы после этого я видел бабушку беззвучно плачущей и плачущей как бы про себя. Иногда можно было подумать, что она на время успокоилась, но ее безысходное горе выдавали скупые старческие слезы. Она имела привычку плотно сжимать веки, смахивая так застилавшие глаза слезы. Бабушка выплакала свои глаза и стала совсем плохо видеть.

Я был младшим ребенком в семье и потому пользовался особым вниманием и любовью мамы. Я уже рассказывал, как тяжело я перенес ее смерть. Бабушка видела это и жалела меня. После смерти дочери она старалась заменить по возможности материнскую заботу и ласку своей заботой и лаской. Звала она меня по-своему – Лева, произнося это имя мягко, как, к примеру, звучит слово ель.

Особенно тяжело пришлось бабушке в годы войны, когда на фронте погиб Шурик – муж Таси; на руках бабушки оказались трое малышей. Тася работала на телеграфе, а отец с Анной Михайловной жили далеко, на другом конце города, куда не было никакого транспорта. Время было холодное и голодное. Снова наступила эра морковного чая с мизерными кусочками сахара.

После излечения в одном из московских госпиталей, я получил назначение на должность преподавателя в свое родное Томское артиллерийское училище. Но там я мог выдержать лишь зиму 1942-1943 годов. Жил я в маленькой холодной комнатке в доме при училище. До Таси было далеко, а до родного дома на Войкова еще дальше. Потому свой паек я сдавал в командирскую столовую, где от него оставалось только название и потому ходил постоянно голодным.

Иногда приходил к Тасе, где меня окружали веселые и голодные племянники. Я обычно запасался несколькими кусочками сахара, сэкономленными от ужинов и завтраков в столовой. Бабушка колола их щипцами на мельчайшие кусочки и насыпала в литую стеклянную сахарницу на высокой ножке. Садимся за кипящий самовар. Бабушка заваривает морковный чай и начинается грустное чаепитие. Бабушка, то и дело всплакивая, говорит о прошлом, иногда задает мне вопрос о том, когда же закончится война, зная, что окончится она не скоро.

Жить в Томске становилось нелегко. Как-то я сказал Тасе, что хочу опять на фронт, не надеясь на ее понимание и поддержку. Дело в том, что чуть раньше я об этом говорил с отцом. Он сильно возмущился и с обидой сказал:

– У добрых людей раненые сыновья вернулись домой. Живут и работают в Томске. Все стремятся к родному дому. Почему же ты хочешь уехать?

Тася же была противоположного мнения. Когда я ей сказал относительно фронта, она меня горячо поддержала:

– Так будет лучше. В училище работают командиры, которые давно живут в городе, имеют свое хозяйство, огороды. На фронте тебе хуже, чем в Томске не будет. А что касается опасностей, то все мы ходим под богом. Ты погибнуть не

должен. За наши грехи господь уже покарал достаточно: погибли мой Шурик, Рим и Лев Ивановы, Ольгин муж, Николай Замолоцкий, а Миша и ты были ранены.

Я был рад такой поддержке и уже в мае 1943 года с великим трудом уволился из училища, где был единственным командиром, имевшим ранение и боевой опыт, и уехал в Москву за новым назначением.

На родине бабушки

На родине бабушки я был лишь один раз ранним летом 1929 года. Мама списалась с родными в Новосибирске и договорилась, что летом я поживу у них. Договорилась и со своим дядей Григорием, что по пути в Новосибирск я заеду к нему во Вьюну и поживу с недельку. Условились, когда он должен будет встретить меня на «Почте». Так называлась маленькая пристань на левом берегу Оби примерно в 70-ти верстах ниже Новосибирска. От «Почты» до деревни примерно час ходьбы и столько же, если плыть на лодке по очень извилистой и мелкой Вьюне.

В одно прекрасное утро посадили меня на пароход и дали телеграмму деду Григорию.

К середине второго дня пароход причалил к маленькой пристани, на арке которой была прибита доска с надписью «Почта». Я волновался, так как ни разу не видел деда Григория и боялся, что мы не встретимся с ним. Однако, все обошлось: когда я в числе десятка человек с узлами и узелками сошел на берег, ко мне подошел старик могучего телосложения и легко поднял меня. Я оторопел и растерялся.

— Танин сынок! — сказал весело дед, и я все понял.

Когда я потом спросил его, как он меня узнал, дед улыбнулся и просто-душно ответил:

— Дело это не хитрое — ты копия Ларивоныча! — так он назвал моего отца, — Да и на Таню ты тоже похож.

С причала мы с дедом пошли к густым зарослям тальника, скрывавшем устье впадавшей в Обь речки. Там дед посадил меня в обласок, отвязал его от куста, оттолкнулся от берега, и мы поплыли. Дед умело орудовал шестом и облас ходко скользил против течения. Берега извилистой речки были сплошь в камышах и кустарниках. Иногда приходилось сильно пригнаться, чтобы проплыть под низко нависшими ветвями тальника.

Дед Григорий подолгу молчал, изредка произнося короткие фразы, и я тяготился, оказавшись наедине с родным, но незнакомым человеком. Ободряла меня мысль, что в деревне живет тетя Маша, которую я хорошо знал.

Она бывал у нас в Батуриной и в Томске. Я также знал сына деда – Петю. Петю знал очень хорошо, так как после демобилизации из Красной Армии он долго жил у нас в Томске. Петя подарил мне военный картуз с зеленым козырьком и большой красной звездой. Картуз был мне велик, но я носил его на зависть своим друзьям. Которые то и дело просили его у меня примерить.

Подарил мне Петя и свою выдающую виду шинель. Из нее мне сшили пальтишко, в котором я мерз несколько зим, пока не вырос из него. Особенно короткими стали рукава и между варежками и обшлагами торчали голые запястья.

Как мне сейчас кажется у «шинелки» (так называлось мое пальто) не было пуговиц. Поэтому, сильно запахнувшись, я упирался животом в косяк и туго перепоясывался ремнем.

Наконец, дед Григорий дотолкал наш челн до деревни. Ее избы и другие постройки в беспорядке рассыпались на пологом откосе между речкой и темневшим вдаль бором. Приземистый домишко деда стоял на берегу. Дедушка привязал обласок к колышку против дома и мы двинулись вверх по откосу.

Домочадцы дедушки Григория искренне обрадовались моему приезду, как только могут радоваться жители глухих деревушек, где каждый приезжий в диковинку. Я развязал узел и передал подарки от мамы и бабушки.

Постепенно я освоился в новом для меня месте. Стал ловить рыбу в небольшом омутке у старой запруды, бегал на опушку бора по грибы и ягоды. Плохо было то, что в деревне у меня не было друзей, и я весь день был один.

Из поездки на Вьюну мне особенно запомнились комары. От них приходилось непрерывно отбиваться. Поэтому караси, грибы и ягода давались в полном смысле с боем. Особенно комары были невыносимы, когда мы ложились спать. Видя, что комары меня заедают, дедушка перед сном заносил в дом дымящиеся головешки из летней печки, сложенной во дворе. Когда изба наполнялась едким дымом, дверь и окна открывали. Комары улетали вон. После этого все плотно закрывали и ложились спать. Для меня же одна беда сменялась другой: теперь я не мог заснуть из-за дыма и духоты, хотя все остальные спокойно похрапывали. За пять лет жизни в Томске я превратился во вполне изнеженного горожанина.

Мне было стыдно, не погостив оговоренный срок, уезжать из деревни. Но комары и дым взяли верх, и на третий день я попросил дедушку отвезти меня на пристань. Тетя Маша пыталась меня отговорить, но я рвался в Новосибирск, где не было комаров и были мои сверстники – двоюродные братья и сестры, дядья, которых я хорошо знал.

Утром дед Гриша вновь посадил меня в обласок и погнал его теперь уже вниз по течению. Вот и широченная Обь. Дедушка привязал свой челн к толстой ветке тальника, и мы побрели на пустынный причал. Посидели на скамеечке.

Подошли еще пассажиры – деревенские бабы с узлами и ребятишками.

Вот и белый пароход. Он плавно пристал к пристани, матросы привязали его канатами к деревянным тумбам и бросили узкий трап. Небольшая кучка пассажиров, толпившаяся у борта, сошла по трапу на пристань. Потом по нему пошли отъезжающие. Вместе с другими я поднялся на палубу и встал у перил. Как только последний человек поднялся на палубу, матросы убрали трап, отвязали канаты и пароход, трижды коротко прогудев, отвалил от причала. Грустно шлепая плицами колес, он двинулся вверх по реке. Я смотрел на дедушку и махал ему рукой. Его одинокая кряжистая фигура все уменьшалась и уменьшалась в размерах. Дедушке, видимо, некуда было спешить и он еще долго сидел на пристани наедине со своими мыслями о нехитрой деревенской жизни. Наконец, он, а затем и пристань, совсем пропали из виду, и я стал смотреть на речные просторы и незнакомые берега Оби.

Потом я пошел к паровой машине, гигантские шатуны которой плавно поворачивали гребной вал толщиной в хорошее бревно. Сильно пахло перегретым паром и подгоревшим маслом, которым человек в грубой спецовке смазывал машину из большой масленки с очень длинным носиком. Ярко блестело начищенное медное ограждение вокруг машины и поручни металлической лестницы.

Спустя тридцать лет после описываемых мною событий точно такую же поездку совершили моя сестра Тася с дочкой Таней, которая тогда училась в институте. Тася назвала свою дочь в память о маме. Отчество у нее как у мамы – Александровна.

Теперь детей называют обычно понравившимися родителям именами. А раньше называли больше в память о родителях, бабушках, и дедушках. Хорошая была традиция.

На том же пароходе «Усиевич», шедшим из Томска в Новосибирск, они доплыли до «Почты», и там их также встретил на своем обласке дед Григорий. Тася побоялась сесть в уютное суденышко и пошла пешком. Таню же дед Григорий привез к дому по речке, как и меня в то далекое время.

Таня рассказывала, что Григорий Григорьевич поразил ее могучей фигурой и силой. Ей запомнилось, как он крупными глотками выпивал четыре-пять стаканов, налитых из шипящего на столе самовара. Да! Сибиряки любили и умели попить горячего чайку! Еще Таня рассказывала, что у Григория Григорьевича было несколько ульев с пчелами, которые стояли в огороде. Он открывал ульи и брал соты с медом, не защищая лица и рук и не пользуясь дымарем. Пчелы так привыкли к нему, что вовсе не кусали. Тасю же пчела укусила в избе. Видимо, пчелы, как и собаки, обладая исключительным обонянием, быстро распознают чужака. Таня вспоминает, что в избе деда Григория стояли три самодельных деревянных кровати, а вдоль стенок – широкие скамьи. В углу стоял традиционный для тех времен

сундук, окованный полосками белой жести. Открывался он и закрывался при помощи большого ключа, издавая при каждом повороте мелодичный звон. С внутренней стороны крышка сундука также по традиции была оклеена картинками из дореволюционных журналов.

Среди домотканых и вышитых холщевых полотенец Таня видела кофточку еще молодой Степаниды Григорьевны. Она была сшита иглой на руках, но швы были так хорошо сделаны, что с трудом отличались от машинных.

Точно такой же сундук мы привезли в Томск из Батуриной. Хорошо помню, как услышав, звук открываемого замка, мы, ребяташки, сбегались рассматривать картинки на крышке сундука. Если мама открывала сундук на минутку, то мы ее упрасивали не закрывать крышку и дать подольше посмотреть на эти картинке из незнакомой нам жизни.

Последний раз я видел бабушку, когда мы с Аликом ехали из Москвы на Дальний Восток к моему новому месту службы. Тогда в Томске мы встретили Новый 1951 год. Бабушка была еще крепкой и много делала по дому. Я привез ей в подарок индийский чай, и снова мы сидели за шипящим самоваром. Тася – на работе. Ребята – кто в школе, кто на улице. Бабушка сидит напротив, ласково смотрит на меня, по привычке плотно и надолго сжимая веки.

Я рассказываю, что кончил академию и еду служить рядом с китайской границей, на край света, как она говорит.

Для бабушки я все тот же Танин младшенький, ее любимый внучек. Потом она говорит:

– Вот бы сейчас Танюша встала и посмотрела на тебя!.. Думала ли Танюша, что ее сынок станет таким!..

Помолчав немного, она задумчиво произносит:

– Видно, так Господу было угодно, чтобы Танюша смотрела сейчас на тебя моими глазами... Царствие ей небесное, голубушке сизокрылой!

С этими словами она низко опустила вечно повязанную коричневым платком голову, скрюченными старческими пальцами взяла чайную ложечку и стала долго протирать ее лежавшим на коленях полотенцем...

Умерла бабушка в 1955 году, когда ей было около девяноста лет. Похоронила ее Тася на кладбище на окраине Томска у дороги, что ведет в деревню Батурину.

Вспоминая добрым словом свою бабушку Степаниду Григорьевну Сизикову, я жалею, что мало разговаривал с ней, мало расспрашивал, как она жила, что думала об окружавшем ее мире.

Внуки, к сожалению, начинают понимать это когда бабушки и дедушки уже ничего не могут им рассказать...

Глава 5

Мир моих увлечений

Мир моих увлечений

*Счастливы тот,
Кто рано опростел
Под веселой ношею труда*
С. Есенин

Говорят, что в анкете, которую заполняли переселенцы в Америку, был весьма деликатный вопрос (возможно, он и сейчас есть в анкете): что Вы умеете делать руками? Для иммиграционной службы ответ на этот вопрос был очень важным: по нему она могла достаточно уверенно судить, сможет ли этот переселенец прокормить себя и семью, если не найдет работу по специальности. Если кандидат в американцы хороший специалист, да еще и мастер на все руки, то он безоговорочно получал добро на въезд в страну “хорошо работающих людей”.

Американцам импонирует умение человека делать многое своими руками: они сами хорошо работают и не боятся запачкать руки. Если же на этот вопрос человек ответит отрицательно, то на чашу отказа в визе ляжет увесистый бульжник. Учитывая ответы на другие вопросы анкеты, чиновники могут сказать ему вежливое “нет”.

Горький как-то заметил, что всему хорошему в нем он обязан книгам. Я думаю, что эти слова писателя нельзя понимать буквально. Видимо, он сказал это в связи с оценкой роли литературы, желая особо подчеркнуть значение прочтенных книг в становлении личности человека.

Всем известно, что Горький - выходец из народа и как никто другой из писателей имел огромный опыт общения от людей на “дне” общества до выдающихся деятелей своего времени. Я убежден, что Горький состоялся как человек, мыслитель и писатель, пройдя “университеты” жизни. Разумеется, что книги дали Горькому очень много.

Суждение Горького о роли книги в формировании его личности я вспомнил не случайно. Если бы меня спросили, кому или чему я обязан всем хорошим, что во мне есть, то я бы не задумываясь ответил: прежде всего хорошим людям, с которыми мне посчастливилось встретиться в жизни, и только потом - книгам.

Пока я жил в деревне, то мало чем отличался от своих белобрысых сверстников и чувствовал себя равным среди равных. Порой мне даже казалось, что я немножко выше их, так как я был сыном единственного во всей округе кузнеца и потому знал много такого-го, чего не знали они. Помню, как в нашей деревне у зажиточных мужиков стали появляться различные механические устройства: конные молотилки, грабли и сеялки, пузатые веялки, которым уже не нужен был ветер, фантастической красоты молочные сепараторы. К этим новинкам сельской механизации меня тянуло как магнитом. Я мог часами смотреть на работу конной молотилки или на струйки сливок и обрата, бегущие по красиво изогнутым трубкам сепаратора. А если отец ремонтировал эти агрегаты, то я уже не отходил от них ни на шаг.

Однако, когда мы переехали в Томск, то я сразу почувствовал, что во многом отстаю от городских ребят. Запомнились связанные с этим смешные эпизоды.

Как-то в кузницу, где я был один, забежал мой новый приятель Володька Южанин. Он был чуть старше меня, довольно хорошо развит и по-городскому раскован. Поэтому я старался не ударить лицом в грязь и со знанием дела показывал ему кузнечный мех, горн, наковальню, тиски, сверлильный станок и рассказывал о назначении разных инструментов. Потом я подошел к стоявшей в углу двухпудовой гире и небрежно толкнул ее ногой. Тяжелая гиря лениво завалилась на бок, упершись круглой ручкой в земляной пол кузницы. Володькина реакция была совершенно неожиданной:

– На базарных весах я видел пятипудовые гири! Вот это чушки так чушки! Их мужики поднимают, продев в ручку оглоблю!

– Побожись! - сказал я по привычке, не поверив ему. Я ожидал от приятеля обычное в таких случаях “Ей-богу”. Но он, лихо сдвинув набок плоскую кепчонку, сплюнул и нравоучительно изрек:

– Если ты мне не поверил, то должен сказать “обзовись”. Если я не соврал, то обзовусь: “Гадом буду! Понял?! Душа твоя на распашку!” - добавил Володька, услышанное от кого-то смешное присловье.

– А то “побожись”! А я бы тебе: “Истинный крест”! Да еще бы для верности перекрестился, - с насмешкой закончил он свою убийственную тираду, звонко расхохотавшись.

“Закатилось ясно солнышко,” – подумал я, сильно раздосадованный таким оборотом разговора.

– Ну, что у тебя еще есть такого в кузне? Показывай! - уже с наглостью в голосе обратился ко мне Володька, все еще хихикая. Такое вольное обращение к хозяину кузницы окончательно выбило меня из колеи, и я резко ответил:

– А че тебе еще показывать? Вишь, голые стены!

На самом деле они были увешаны всевозможными лекалами из картона, по которым вырезались листы жести при изготовлении ведер, котелков, во-досточных труб. Висело также много старых обручей от бочек и шин для колес.

– Да и мать тебя что-то кричала, – добавил я для верности. Потом я открыл широкую стеклянную дверь на улицу и молча пока-зал глазами, что он может сматываться.

Володька, поняв прозрачный намек, выскочил из кузницы и, уже на ходу, крикнул:

– Совсем забыл, что матаня посылала меня в потребиловку (*потребиловка – лавка, магазин потребкооперации*) за хлебом.

Позже, привыкнув к городскому разговору, я уже не ожидал от собеседника предложения “обзовись”. Сообщая о чем-либо, на мой взгляд невероятном, я немедленно добавлял: “Гадом буду!”.

Прислушиваясь к разговору сестер с их подругами, я заметил, что они не “божились”, а говорили вместо этого “честное комсо-мольское” или “честное пионерское”. Но у мальчишек такие клят-вы не привились. В их разговорах постоянно слышалось “гадом буду” и еще множество “блатных” словечек из жаргона старших братьев, многие из которых были отпетыми заозерными хулиганами, или урками, как их тогда называли в народе.

Однако в душе я от этого “городского” разговора не был в восторге. Мне нравился спокойный деревенский говор без словес-ных ухищрений, но в котором люди, особенно старики и старуш-ки, то и дело вставляли пословицы, поговорки, присловья, кото-рые были очень к месту, делали разговор образным и живым. Ну что за приветствие горожане придумали вместо “здравствуй” или “добрый день” - “сорок одно тебе с кисточкой”, а вместо “хоро-шо” - “на большой с присыпочкой”. В ходу было много слов из “блатного” жаргона: пахан – отец, лягавый – милиционер, кожа – кошелек, шамать – есть, стырить – украсть, затырить – спрятать. Кстати сказать, шутовое приветствие “сорок одно с кис-точкой” имеет более, чем столетнюю “бороду”: совсем недавно я встретился с ним в рассказе Мамина-Сибирика “В последний раз”.

Как-то зимним вечером наша большая семья собралась, как обычно, за обеденным столом, над которым висела большая семи-линейная лампа с белым абажуром. Тася, аккуратно разглаживая пожелтевшие и потрепанные листы газеты “Сибирские ведомости”, читала уголовную хронику Не-Крестовского “Томские трущобы”. Воспользовавшись паузой, я о чем-то рассказал брату Мише и за-кончил для пущей важности словами: “Гадом буду!”.

Мама сидела рядом и, услышав сказанное, ловко шлепнула меня по губам.

– Че ему, балбесу, шлепок. Вон – гуж! Тот быстро отучит его от всяких

“гадов”, – сказал сердито отец и выразительно кивнул в сторону сыромятного ремня, который постоянно висел на гвозде у вешалки и которым он обычно меня лупил.

За этим ремнем-гужом отец всегда посылал меня самого. Только в случае, когда считал, что меня следует выпороть немедленно, он снимал свой узкий поясной ремень, удары которого были нам-ного болезненнее. Иногда мне удавалось прикрыть зад руками, но от этого было не легче: на руках долго болели красные рубцы от ремня.

Не могу не отвлечься от воспоминаний и не сказать от всего сердца: нельзя бить детей! Они беззащитны и не могут за себя постоять. А побои вызывают у них озлобление против родителей, что к добру обычно не приводит. Я, к примеру, не забывал и не прощал отцу ни одной порки. Конечно, отец следовал диким си-бирским традициям, когда бить жену и детей считалось в порядке вещей. Однако же и тогда были добрые мужики, которые не поднимали руки на близких. В этом отношении примером для меня был Василий Макарович - муж Евлампии Афанасьевны – сводной сестры моей мамы. Он никогда даже голоса не повышал и не показывал свой “карахар”, а воспитал вместе со своей прекрасной женой троих детей: Леню, Валю, Николая и дал им высшее образование.

Вспоминая сейчас о книгах, которые мы читали в те далекие годы, я невольно думаю: как это было хорошо! Тася читала очень выразительно, переживая описываемые в книгах события. Конечно запомнились более всего детективы Не-Крестовского “Томские трущобы” и “Человек в маске”. Увлекали не только сами невероятные события, но и то, что они происходили в местах, которые все хорошо знали. Запомнились также книги “Пещера Лихтвейса”, “Жизнь на маяке”, “Капитанская дочка”, “Станционный смотритель”.

Совсем недавно в Томске издали детективы Не-Крестовского и томичи мне любезно прислали эти книжицы. Я их с большим удовольствием прочитал, вспомнив еще раз вечера далекого 1927 года...

Как-то таким же зимним вечером мы сидели за чаем, и отец с мамой и бабушкой завели разговор о нашей городской жизни, о горожанах. Мы совсем недавно уехали из деревни, и здешняя жизнь была нова и во многом необычна. Отец ругал горожан за хулиганство и разбой на улицах, за обман и нечестность. Особенно возмущали его карманники, которые совсем недавно вытащили у него серебряные часы с цепочкой, когда он по тесному проходу выходил из пивной, будучи навеселе.

Маму возмущали сквернословие горожан, пьянство, безбожие и то, что они “коверкают” язык. Даже бабушка Степанида, обычно сидевшая молча в сторонке и занятая постоянно прялкой, вязкой или штопкой рукавиц и полушубков, горячо заметила: “Не доведи Гос-подь как здесь-от бают. Слушать

тошнехонько! А Бога поносят, ан-тихристы, на каждом втором слове. И как у них, хриstopродавцев, язык не отсохнет!”

– Попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй! С волками жить – по волчьи вить, – сказала мама и продолжила, – конечно, в городе куда интереснее жить. Одна наша Знаменская церковь чего стоит! А базар какой, магазины в центре, аптеки, больницы, и у Колюши работы хоть отбавляй. Но и в деревне было много хорошего...

Она как бы трижды глубоко вздохнула, как это обычно получается у человека, который о чем-то горестно размышляет, потом привста-ла, потянулась к лампе и, вывернув слегка фитиль, добавила света.

Опишу интересный эпизод, связанный с моим деревенским происхождением. Как-то сосед со своими сыновьями, ребятами моего возраста, привел подковать коня. Он вел его под уздцы, а ребята сидели на своем Гнедке и торжествующе оглядывались вокруг, крутя головами: ведь они ехали верхом.

Станок дляковки лошадей был поставлен во дворе, а не на улице, как это было в деревне, где места не занимать.

Прибежали еще ребяташки из соседних домов посмотреть, как это к копытам лошади гвоздями прибивают подковы и почему ей не больно.

На большом листе кровельного железа Миша написал:

КУЗНЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ. ИВАНОВ Н.И.

А по краям нарисовал большую подкову и голову лошади. Эту вывеску Миша водрузил на крыше кузницы, что сразу придало ей вид солидного заведения. Не замедлили появиться и заказчики. В куз-ницу понесли и повезли что-то сковать, что-то отремонтировать или запаять, сделать ключ или ведро. Шли и просто так – познакомиться с кузнецом, посмотреть, как он работает, обменяться новостями. Вскоре к кузнице подкатил красавец “Форд”: у него лопнула рессора и ее надо было сварить. Варить углеродистую сталь очень сложно, но отец справился с этой работой, так как имел большой опыт сварки рессор конных экипажей. Многие жители нашего глухого Заозерья впервые видели легковой автомобиль. Поэтому вокруг него стала быстро расти толпа людей всех воз-растов. Машину загнали во двор, и она стояла у нас три дня по-ка ее разбирали да собирали. Все это время я был словно цепью прикован к этому заморскому чуду. Хозяин его был сыном богато-го часовщика Маркова, что жил наискосок от нас. Довольный ре-монтом, нэпман щедро расплатился с отцом, надел большие с из-ломом защитные очки и краги - кожаные перчатки с раструбами по локоть, нажал на грушу клаксона, укрепленного снаружи передней дверцы, и с ветерком прокатил нас вокруг квартала. Трудно опи-сать охватившее меня восхищение! Это была моя первая поездка на автомобиле. Я не мог тогда даже подумать, что позже вся моя жизнь будет связана с машинами.

Однако вернемся к коню, которого привел сосед. Пока отец разжигал горн, подбирали нужного размера подковы, ребятня, как стайка осенних воробышков,

сбилась в кучку вокруг самого шустрого из всех - Петьки Рогозенко. По его почину зашел разговор о “политике”, в котором каждый на свой лад, как это всегда бывает, своими словами повторял суждения взрослых.

На дворе стояла весна 1926 года. Совсем недавно умер Ленин и наши родители судили и рядили, как это скажется на их жизни, на политике государства в отношении простого люда. К этому времени многие стали неплохо жить, воспользовавшись льготами НЭПа, и тревожились, как поведут себя власти. Кое-кто ждал но-вого переворота и восстановления старых порядков. Кстати, никто из мужиков октябрьские события 1917 года революцией и не назы-вал, а только переворотом...

Вот Рогоза (так все звали Петьку Рогозенко) заговорщицки спрашивает:
– Пацаны! По-вашему, кто лучше: Ленин или Сталин?

Вопрос был очень важным, неожиданным и поставленным чересчур прямо, как говорится, в лоб. В этом случае обычно говорят: ни шло, ни брело – и вдруг такой вопрос! Видимо, Петька совсем не-давно подслушал разговор взрослых на эту тему и теперь решил блеснуть своей осведомленностью. Петькин вопрос вызвал среди ребят легкое замешательство: боялись отвечать вообще и, осо-бенно, ответить невпопад. По горькому опыту родителей они хо-рошо знали, что прилюдно о политике надо говорить с оглядкой, а еще лучше - молчать, держать язык за зубами. Как часто гово-рил мой отец: слово - серебро, а молчание - золото.

Первым вызвался отвечать на коварный вопрос бесшабашный Колька Шорников, живший от нас через два дома. Ничем не моти-вируя свое мнение он сказал, как отрубил: “Ленин был лучше”.

Чтобы ускорить опрос остальных ребят Рогоза стал тыкать каж-дому пальцем в грудь со словами: “А ты?”.

Помню, что опрошенные до меня так или иначе повторяли Коль-кин ответ. Только кое-кто из них перед этим немного посопел или утер нос. К тому времени, когда палец невероятно курносого и ушастого Рогозенко, как гвоздь, уперся в меня, я успел не раз с ужасом подумать, что не знаю как ответить. От волнения я сильно покраснел и натянул ляжку штанов, как боевой командир натягивает портупею на груди, принимая на глазах подчиненных трудное решение. Все, что я успел вспомнить – это то, что отец и мужики в кузнице ругали всех подряд: и сброшенного Николашку, и Ленина, и Сталина. Когда я был почти готов ответить как и все, что Ленин был лучше, вдруг вспомнил, что в Батуриной о нем пели очень плохую частушку:

*Едет Ленин на телеге,
А телега без колес.
Ты куда, плешивый, едешь?
Ликвидировать овес!*

Слово “реквизировать” крестьяне не понимали и поэтому заменили его близким по звучанию и смыслу “ликвидировать”. Сталина же ругали и даже материли за то, что он после Ленина “поворачивает совсем не туда”. Одним словом, из того, что я слышал о вождях, ответить на вопрос, кто из них лучше, я не мог. Вышло, что они оба были плохими, но ответить так я боялся. Сказать же, что оба ничего, увильнув от прямого ответа, не приходило в голову. Не знал Петька, что творилось у меня на душе! Он лишь видел, что я покраснел, и весь мой вид говорил о полной беспомощности. Рогоза презрительно сжал губы и с ехидной терпеливостью ждал ответа. Из-за очень короткой верхней губы Петька всегда ходил с открытым ртом. Было такое впечатление, что он к чему-то постоянно прислушивается. Когда же он на время закрывал рот, то ноздри его вздернутого носа сильно натягивались и из круглых становились продолговатыми. Видя, что меня “заколodило”, Петька, как бы подводя итог моим безрезультатным потугам, привычно вытер нос рукавом и назидательно произнес:

– Во, деревня! Такой простой штуки не знаешь!

Но, видимо, вспомнив, на чьем дворе он находится и кто мой отец, уже более мягко заключил:

– Дурачок! Че тут думать! Яснее ясного, что Ленин был лучше. Так бы сказал – и вся недолга!..

Тем временем мужики стали заводить коня в станок. Конь оказался “уросливым”: задира голову, дико озирался вокруг налитыми кровью глазами, ошалело ржал, сильно оседая на задние ноги.

– Ну, что ты шары-то выкатил?! Черт твой хозяин! – беззлобно покрикивал отец и тянул коня за узду. Он привык уже, что многие лошади боялись станка. Хозяин же коня и Миша суетились, кричали на перепуганное до смерти животное, нахлестывая его веревками. Зрелище было необычное, и наш кружок рассыпался. Все подбежали к станку и стали смотреть, сумеют ли мужики осилить коня, который, видимо, решил сопротивляться до конца. Однако дальше ничего особенного не произошло.

– Ладно, – спокойно сказал отец, передавая повод хозяину. Потом обратился к Мише:

– Принеси-ка пустой мешок да краюху хлеба. Миша тотчас понял план отца и, бросив веревку, кинулся на второй этаж стоявшего рядом флигеля. Вскоре он появился на крыльце с мешком в руках и большой краюхой, отломленной от черного каравая. Он весело жевал хлеб, и что-то невнятно выкрикивал.

– Покорми-ка своего Гнедка хлебцем и успокой его, а мы ему другой гостинец приготовим, – сказал отец хозяину.

Пока конь, успокаиваясь, жевал хлеб, отец с Мишей осторожно подошли к нему сбоку и ловко накиннули мешок на голову.

– Вот теперь твой Гнедко пойдет куда хошь,- торжествующе ска-зал отец и спокойно завел коняку в станок.

Позже, уже будучи курсантом Томской Артиллерийской школы, я прочел в уставе, что при погрузке в железнодорожные вагоны строптивым лошадям надо надевать мешок на голову. Прочитав это, я невольно отвлекся от текста. Взгляд мой устремился сквозь книжку, буквы расплылись и исчезли, уступив место яр-кой сцене почти десятилетней давности, когда отец заводил коня в станок у нашей кузницы на Знаменской, 36... Кроме того, что городские ребята были развиты, мне еще при-ходилось постигать, раскрыв рот, такие привычные для них вещи, как большие магазины, пароходы, фабрики, кино, автомобили, электричество, радио. О многом я раньше даже не слышал. Мне поневоле приходилось ко всему присматриваться, разбираться, чтобы сравняться с новыми друзьями. Для меня привычным стало подмечать более грамотного парнишку и стараться все у него ра-зунать, перенять, научиться. Разобравшись в том или ином де-ле, я уже старался стать лучшим среди своих сверстников. Помо-гало мне и то, что в кузнечном и слесарном деле я их превосхо-дил безусловно. Чувствовал я свое превосходство и в обращении с лошадьми: я умел правильно подойти к лошади, взобраться на нее без посторонней помощи и ездить без седла. Стремление быть первым в различных делах в школе, дома, на улице и играх со временем все более крепло и постоянно побуждало меня к актив-ному действию, желанию научиться чему-то новому и потом делать это лучше других.

Желая освоить какое-то новое для меня дело, я старался вся-чески помогать своему учителю, будь он старый или молодой. Учась фотографии у Николая, ученика 9-го класса (я был в пятом), жившего в доме напротив, я не считал за труд перемыть всю посуду и кюветы, вытереть пыль в тесной будке в углу ком-наты, где мы в ужасной духоте проявляли пластинки и печатали фотографии. Если чего не хватало, я опрометью носился за пять кварталов в центр города за фотопринадлелжностями.

Обучаясь пожарному делу (об этом позже), я обычно раньше срока прибегал в “пожарку” лесопильного завода, чтобы успеть почистить лошадь, надраить кирпичным порошком медную каску по-жарного и стволы (брандспойты). Дежурные пожарные, видя мое прилежание, охотно отвечали на мои вопросы, объясняли разные премудрости своего опасного дела, разрешали съезжать вниз со второго этажа, обхватив отполированную за многие годы толстую медную трубу. Показывали, как пользоваться “штурмовкой” – узенькой переносной лестницей с большим зубчатым крюком в верхней части.

Особенно мне нравились пожарные упряжки, в которых все уже было на месте: хомуты, дуги, шлеи. Повозки с бочками и насоса-ми стояли с высоко поднятыми оглоблями и широко раздвинутыми хомутами. Рядом в конюшне стояли лошади. Получив сигнал, по-жарные выезжали через считанные минуты, которые тратились лишь на то, чтобы завести лошадей в оглобли, накинуть им

на шеи хо-муты, затянуть супони, застегнуть подпруги, накинуть и поправить шлеи. Иногда я видел учебные выезды, и от слаженных действий пожарных получал огромное удовольствие: их работа была сродни театральному представлению.

Расскажу еще об одном эпизоде – как я “догонял” городских ребят.

Когда мы приехали в Томск, среди ребят была распространена игра в “чику” или “расшибалочку”. Эта игра до нашей деревни еще не дошла и я при первых же попытках поиграть “просадил” всю мелочь, а потом с грустью смотрел, как играют умельцы. Разобравшись в этой несложной игре, я понял, что все дело решают два момента: умение бросить “Катю” как можно ближе к черте, на которой стоит “кон”, и бить ею по монетам так, чтобы они пере-вертывались с решки на орла. Поясню: “Катя” - это большой пя-так из красной меди с вензелем Екатерины Второй. “Кон” - ров-ная кучка монет, положенных друг на дружку орлами (гербами) книзу.

Раздобыв мелочи у брата, я купил у ребят хорошую “Катю”, слегка выгнул ее молотком на наковальне и стал подолгу играть сам с собой. В итоге частых и долгих тренировок я стал рав-ных играть с ребятами и нередко выигрывал.

Иногда проигравшие ребяташки “хлюздили” - не хотели отдавать проигранные деньги. В этом случае деньги надо было отбирать силой - драться, но этим искусством я еще пока не владел. Поэтому на серебряные деньги я на чужих улицах не играл, а приг-лашал к себе во двор, где за меня могли заступиться и стены. И так во всем: вначале я старался освоить заинтересовавшее меня дело, а потом и превзойти своих учителей. Я рано сумел заметить очень важное обстоятельство: каждый человек, даже самый неинтересный и никчемный на первый взгляд, что-то очень хорошо знает или умеет. Только надо заметить эту его “золотую жилу” и умело выудить ее. В жизни так устроено, что хорошее и плохое находятся постоянно рядом и часто ужива-ются в одном человеке. Постепенно я освоился с новой жизнью и стал вполне городским мальчишкой. Но впереди меня ждало новое и более суровое испы-тание на развитость и расторопность...

В начале лета 1927 года мои родители договорились с род-ственниками в Новосибирске, что я все лето буду гостить у них. Они меня должны были передавать друг другу, как эстафету. Родственников в этом большом сибирском городе тогда было бо-лее, чем достаточно: два брата отца и два его племянника. В трех семьях были кузнецы, а дядя Миша заведовал созданной им пасекой и выращенным большим фруктовым садом (в Сибири!). Од-ним словом, было у кого пожить, было что поесть и с кем поиграть. В одно прекрасное утро меня сажают на пароход “Усиевич” с запасом еды и деньгами на всякий случай. Вот пароход отвалил от пристани и провожавшая меня мама, все уменьшаясь в размере, вскоре затерялась в толпе провожающих. Сердце у меня сжалось и на душе стало невыразимо тоскливо. Захотелось плакать, но кругом были чужие

люди, которые оживленно переговаривались и ве-село суетились. На вторые сутки к вечеру “Усиевич” долго и басовито гудел, подплывая к большому городу, и затем пристал к дебаркадеру но-восибирской пристани перед огромным железнодорожным мостом. Там меня встречала тетя Маня - жена брата отца Михаила, с мои-ми двоюродными братьями Римом и Львом и сестренкой Лизой. Мы пересекли Красный проспект, прошли мимо недавно построенного пятиэтажного Дома Ленина, казавшегося величественным среди ок-ружавших его одно- и двухэтажных строений. Вскоре мы были в домике дяди Миши, который стоял у самого обрыва глубочайшего каньона, на дне которого шумела речка Каменка. Прошли первые дни в гостях, и я, к своему великому огорче-нию, снова, как и по приезде в Томск, почувствовал себя мало-развитым, деревенским. У меня возникло такое ощущение, что я вовсе и не жил в городе настолько мои двоюродные братья и со-седские ребята были развиты и шустры. Снова мне надо было до-гонять, начиная все с начала. В центр города, на Красный проспект, на пристань, в Дом Ле-нина они шастали запросто, как я в Томске в соседние дворы. Помню как-то мы гурьбой пошли в кино на дневной сеанс смотреть картину “Багдадский вор”. Купили билеты, сели на свои места. Всем хорошо видно, зал полупустой. Пришел тапер, поднял крышку рояля и начал играть. Свет постепенно погас, и на экране появи-лись первые кадры киножурнала. И тут вдруг началась такая бе-готня по всему залу, что я даже подумал, уж не загорелось ли где. Почти вся детвора вскочила со своих мест и кинулась на свободные места, которые им казались значительно лучше. Я от-чаянно крутил головой, стараясь понять причину переполоха. В своем ряду я остался один. Ни Рима, ни Льва, ни Лизы я не уви-дел: они тоже умчались куда-то на “лучшие” места. На душе у меня стало очень неудобно. Я испугался, что теперь не смогу их найти. Дом же дяди Миши на Серебряниковской улице был довольно далеко, и я его отыскал бы с трудом, спрашивая прохожих. Я уже не мог полностью отдаться во власть фантастики, которая разыг-рывалась на экране, так как на душе скребли кошки. Но все кон-чилось благополучно: когда отстрекотал киноаппарат и зажегся свет, Рим нашел меня, и мы побежали домой.

На обратном пути мои братья и сестрица то и дело покупали мороженное, съедая его с непостижимой быстротой. Перебежали Красный проспект и кинулись в туалет Дома Ленина. Уходя, ребя-та дернули за какую-то ручку и тотчас зашумела мощная струя воды. Я впервые был в туалете, имевшем канализацию и смывной бак, и поэтому решил, что ребята что-то испортили. В страшном испуге я бросился за братьями. Остановилась наша запыхавшаяся компания, пробежав не менее двух кварталов. Лизу мы потеряли.

Риму было лет четырнадцать, и я считал его наиболее благо-зумным среди нас.

— Рим, — говорю я, — зачем было что-то ломать в уборной? Ведь туда теперь уже не забежишь по пути: могут поймать!

Рим и Лев покатились со смеха, услышав мой вопрос и страхи за последствия нашего озорства. Перебивая друг друга, они с пятого на десятое рассказали мне, как устроены уборные, где имеется канализация. Для них все было просто, а для меня – открытие.

Дядя Миша, мой крестный отец, был незаурядным человеком. В отличие от своих братьев Ивановых, которые работали кузнецами, он тянулся к знаниям, много занимался самообразованием, которое в те времена было распространено среди простого люда. Он закончил рабфак и стал строителем. Его пригласили на должность прораба, когда в 1926 году началось строительство племхоза в деревне Белоглинка, что в двенадцати километрах от Новосибирска. Построив это хозяйство, он остался там работать садово-водом и пчеловодом. За короткое время дядя Миша вырастил большой сад стелящихся яблонь: зимой снег полностью заносил их, что позволяло деревьям переносить суровые сибирские зимы. Для того, чтобы ветви яблонь не росли вверх, их притягивали бечевками к специальным крюкам, вбитым в землю.

Одновременно дядя Миша создал пасеку, чтобы пчелы опыляли яблони, и в племхозе был свой мед. Вскоре сад из стелящихся яблонь и пасека в Белоглинке стали известными на всю Сибирь. В 1946 году крестный издал книжку “Опыт работы на пасеке”. Один ее экземпляр долго хранила моя старшая сестра, а теперь он у меня. Я иногда перелистываю пожелтевшие страницы и рассматриваю фотографии, где запечатлены дядя Миша около улья с рамкой меда и маленький домик-сарайчик, где стояла медогонка, и где мы “качали” мед, сливая его потом в маленькие, специально сделанные для этого бочонки.

В предисловии к упомянутой книжке какой-то сибирский ученый-натуралист написал хорошие слова:

“... В настоящее время пасека Михаила Илларионовича Иванова представляет собой прекрасный сад, дающий высокие урожаи яблочек, более, чем двадцати сортов...”

Дядя Миша несколько лет подряд был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ) как выдающийся сибирский садовод и пчеловод.

Интересно, что сад и пасеку летом 1944 года, когда шла война посетил Гарриман – тогдашний посол США. Он ехал из Владивостока в Москву и проездом останавливался в Новосибирске. Крестный мне рассказывал, что Гарриман, хорошо говоривший по-русски, сказал ему, что никогда не слышал слова “пасека”, которое ему очень понравилось своим мягким звучанием.

Я уже говорил, что одноэтажный домик дяди Миши стоял буквально на краю глубокого оврага, по дну которого протекала речка Каменка, впадавшая в Обь и делившая город пополам. Крутые склоны оврага были усеяны домиками-полуземлянками с плоскими крышами. Этот “шанхай-город” напоминал собой горный аул. Во время летних ливней и весной вода с

прилегающих улиц уст-ремлялась к Каменскому оврагу и стекала по специально сделан-ным желобам-лоткам, которые содержались в большом порядке. Если бы не эта своеобразная канализация, то вода размывала бы гли-няные откосы оврага и снесла жалкие строения, где ютилась бед-нота.

Через Каменский овраг еще до революции был построен красивый железобетонный мост. Инженеры рассчитали его для конных пово-зок и пешеходов, поэтому он был просто воздушным: опоры были очень тонкими и очень высокими. Средние опоры достигали высоты пятиэтажного дома. Проезжая часть была узкой, а пешеходные дорожки у перил не шире полутора метров. Когда мы гурьбой шли к дяде Мише в Белоглинку, то приходилось идти по этому, на мой взгляд, очень ненадежному мосту. Обычно я старался идти по проезжей части за какой-нибудь подводой и не смотреть по сто-ронам, так как очень боялся. Мои же спутники бегом летели по узенькому тротуару и, свесившись на середине моста через невы-сокие перила, разглядывали Каменку и ее домишки “с высоты“. Перейдя благополучно мост за подводой, я ожидал их на противо-положной стороне оврага. Они поднимали меня на смех, но я тер-пеливо сносил злые шутки, так как ничего не мог сделать со своим страхом: мне казалось, что мост рухнет именно тогда, когда я буду идти по нему. В памяти у меня осталось: мост в де-ревне через речку Икунину, который был едва выше коня, а также мост через болото в Томске, который был скорее похож на обыч-ную гать, и который жители Заозерья не без основания называли говенным...

У крестного был совершенно незнакомый для меня музыкальный инструмент – фисгармония. Он напоминал по форме пианино не-больших размеров, но звучали в нем не струны, а свистели труб-ки разного размера. Это был своего рода миниатюрный орган. Во время игры надо было непрерывно нажимать попеременно на две педали, которые качали меха, подававшие воздух к свисткам. Крестный и тетя Маня неплохо играли на этом мини-оргane, и иногда по вечерам все собирались в большой комнате послушать музыку.

Когда же в доме оставались одни ребяташки, то фисгармония звучала на все мыслимые лады и превращалась в дисгармонию. Мне разрешали только качать педали, нагнетая воздух. Для этого я садился на пол и нажимал педали руками, чтобы не мешать играю-щим на клавиатуре. Они без конца переключали регистры, меняя звучание инструмента. Шум и гвалт при такой “игре” усиливала небольшая белая собачонка по имени Бетка, которая усаживалась в сторонке и подвывала на высокой ноте.

Мне было хорошо с ребятами дяди Миши. Одно печалило: крест-ный был очень серьезен и строг. Я не помню, чтобы он когда-ни-будь смеялся. Все мы его боялись. Был такой случай: когда-то, балуясь, я отстриг Риму кожуцу с кончика пальца. Сильно пошла кровь, и Рим скорчился от боли. В это время в комнату вошел дядя Миша. Рим зажал руку в кулак и принял беспечный вид.

Мы тотчас замолчали и ждали, что произойдет дальше. Рим был старшим из нас и отец все распоряжения, касавшиеся детворы, отдавал через него. Вот и сейчас он сказал ему, что мы должны сделать и ушел. Только после этого мы пригigli порезанный палец йодом и завязали бинтом.

Прошло много лет... Рим оказался способным человеком: еще до войны закончил институт и работал инженером. Он писал неплохие рассказы и печатался в журнале "Сибирские огни". Этот журнал издается в Новосибирске до сих пор. Его брат Лев был несколько замкнут. Шестнадцати лет он убежал из дома, долго колесил по стране и прижился в Армавире. Лет через пять он приезжал домой навестить родителей. Как рассказывали дядя Миша и тетя Маня, Лев был крайне сдержан, неразговорчив и о причинах побега ничего не сказал. Побыл он дома всего один день...

Летом 1940 года я, уже будучи лейтенантом, по пути в Томск заезжал к крестному. Рим был женат, а хохотушку Лизу я застал в окружении таких же веселых девчат: она тогда училась в театральном училище. Встретились мы с Римом и Лизой очень хорошо. Вспомнили детство, походы в Белоглинку, Бетку, которая подпала нам, и злополучные ножницы...

Рим и Лев погибли на фронте в 1943 году. Исчезли с лика земли две молодые жизни, отломались новые побеги от дерева Ивановых, и род Михаила Илларионовича на этом оборвался...

В марте 1942 года я был ранен на Калининском фронте. После излечения в московском госпитале я получил назначение в Томское артиллерийское училище, в родной город. По пути я опять заехал в Новосибирск и навестил крестного. Тогда он с тетей Маней и женой Рима Ириной жил на Белоглинке. Там было прекрасно: масса яблок, вдоволь меда. Мы с Ириной целыми днями попеременно крутили медогонку - была чудесная пора медосбора. Рим был еще жив, и Ира читала мне его письма, свернутые фронтовым треугольником. Если бы не письма Рима и не мои раненые рука и голова, то можно было подумать, что никакой войны нет - фронт был за тысячи километров, а яблоны, мед и жужжание пчел олицетворяли собою мир и покой. Пока в этой главе я ставлю точку. Позже, когда я справлюсь с другими рассказами, я вернусь к этой главе и расскажу, как увлекался химией и фотографией, электричеством и радио, работал помощником киномеханика и учился в пожарной дружине, занимался другими интересовавшими меня делами. О том, как я овладевал кузнечным и слесарным делом, будет рассказано в главе "Альма матер", так как кузница в моей жизни занимает, пожалуй, самое важное место...

Евсейч

*Всяк мастер на выучку берет,
Да не всякий доучивает...*

*Не то дорого, что красного золота,
А то дорого, что доброго мастерства...*

Русские пословицы

В Томске по соседству с нами стоял очень длинный и узкий одноэтажный дом, вытянувшийся вдоль разделявшего наши дворы забора. Торец его с красивым резным крылечком под маленькой двускатной крышей – «паратным» ходом, как его называли жильцы, выходил на улицу. Но в смутные времена «переворота» и гражданской войны, когда в городе процветали грабеж и ночной разбой, парадное крылечко наглухо заколотили. Я никогда не видел его открытым и потому решил, что «паратный» ход сделан так, для «блезира» Жильцы пользовались только черным ходом, находившимся на противоположном торце этого длинного дома.

Поэтому для того, чтобы попасть в комнату, окна которой выходили на улицу, надо было долго пробираться по узкому и длинному коридору со множеством поворотов и порошков, спотыкаясь в темноте об эти порожки и натываясь на углы.

Среднюю часть коридора, идя в гости к приятелю Петьке, я проходил зажав нос: там была дверь в уборную – выгребная яма, которая находилась наполовину под домом. В теплое время года от этого «туалета» шло такое зловоние, что щипало глаза.

Надо сказать, что в те времена простой люд в нашем Заозерье жил тесно, без удобств: не было ни водопровода, ни канализации. Водопровод, правда, вскоре стали прокладывать, но не было ни самого главного – канализации. Утром каждый мог помыть руки и лицо. Если помылся подольше, то из-под умывальника текли помой, переполнявшие ведро. Мылись как следует только в бане, да летом в реке.

Когда мы приехали в Томск, то в центре города уже был водопровод и канализация. Но в нашем низинном Заозерье вода подавалась лишь в редкую сеть водоразборных будок, построенных примерно в двух кварталах друг от друга. Вот туда и ходили жители за водой, которую отпускали по талонам, напоминавшим проездные билеты в трамваях и автобусах. Летом воду брали в ведра, которые несли в руках или на коромыслах, а зимой ездили с бочками, поставленными на большие санки. В нашем доме уже

был водопровод, и водой из будок мы пользовались лишь иногда зимой в большие морозы, когда трубы промерзали.

Водоразборная будка представляла собой красивое двухэтажное восьмигранное сооружение из красного кирпича, в котором круглый год жила обслуживавшая этот общественный водопровод семья. На первом этаже было расположено водомерное и распределительное оборудование, и сидел дежурный, который с раннего утра до позднего вечера отпускал воду, открывая и закрывая кран, на втором этаже были две жилых комнаты и кухня.

Когда последний раз я был в Томске, то кое-где еще видел заросшие бурьяном остовы этих будок: жизнь безжалостно отвергает то, в чем люди перестают нуждаться!

В квартирах моих ребят было довольно грязно, и в каждой стоял свой запах: в одной пахло прокисшей сырмятной кожей, в другой – куриным пометом (зимой устраивали курятник под столом), в третьей пахло постоянно кислыми щами и еще какой-то едой. Там курили, все вещи были пропитаны дурным запахом самосада. Если бы меня привели с завязанными глазами в дом к одному из моих приятелей, то по запаху я мог бы безошибочно сказать, у кого я в гостях.

Одно время у нас в доме долго пахло паленой шерстью и жженым сахаром. Получилось так, что отец как обычно положил свои валенки на ночь в еще не остывшую голландку, чтобы они утром были сухими и теплыми. Но в печке еще шаяли (были красноватыми) угли. За ночь валенки истлели, наполнив все комнаты ядовитым запахом. Под утро отец, ругая себя на чем свет стоит, вытащил из печки тлеющие голенища и стал заливать их водой. Все проснулись. Дверь в сени открыли, чтобы выпустить угар (в окнах стояли двойные рамы и форточек не было). Бабушка Степанида, чтобы как-то перебить эту ужасную вонь, подожгла в ложке кусок сахара и ходила с ним из комнаты в комнату. Эти два запаха и господствовали в нашем доме долгое время.

Вообще-то у нас было довольно чисто. В доме никто не курил. Полы мыли часто и по старой деревенской привычке скоблили их большими половыми ножами до белизны. К счастью, их скоро покрасили на «городской манер», и наши женщины вздохнули с облегчением. Теперь полы помыть было делом нескольких минут, да и сохли они не более того. Раньше просто страшно идти по добела выскобленному полу в сапогах или валенках, придя из кузницы, где был земляной пол. Теперь же на темно-коричневой краске следы были почти незаметны.

Раньше мойка полов была для семьи сущим бедствием: женщины устанавливали полный запрет на всякие передвижения по квартире. Меня это особенно угнетало, т.к. именно в этот момент мне нужно было сходить

на кухню за ножом или в свою комнату за чем-нибудь еще.

Однако, вернусь к Петьке Ковалеву, который жил по соседству в доме с длинным коридором. Его я отличал от всех других мальчишек, с которыми успел познакомиться по приезду в Томск: его отец работал на огромной шестиэтажной паровой мельнице с высоченной трубой и мощным гудком, по которому рабочие узнавали время и шли на мельницу. Отец Петьки работал уборщиком при машинном отделении. Мой отец тоже когда-то работал у паровой машины на мельнице в Ново-Николаевске. Это обстоятельство вселяло особое уважение и к Петьке, и к его отцу. Отец Петьки выходил из дома точно после второго гудка мельницы. Мой отец говорил с уважением, что по Ковалеву можно сверять часы. Больше о Ковалеве я ничего не помню. Припоминаю лишь, что он был молчаливым и замкнутым. Петька боялся его, как огня, а я старался не попадаться ему на глаза.

Совсем другим человеком был дед Петькин – Кузьма Евсеич или просто Евсеич, как его звала вся округа. С рассвета до плотных сумерек он сидел в маленькой бревенчатой избушке, стоявшей на заднем дворе, и плел корзинки всевозможных форм и размеров, корчажки и морды для ловли рыбы и большие короба для перевозки древесного угля, мороженой рыбы и прочей рассыпной клади. Изредка по заказу городской знати он плел красивые стулья, кресла и качалки для веранд.

Много раз я просил Петьку сводить меня в дедову избушку – уж очень хотелось посмотреть, как дед мастерит корзины. Меня очень интересовало то, как из пучка прутьев получается прочное изделие, которое надежно служит порой десятки лет.

– Иди смотри один, если охота. А я не пойду ни за какие коврижки! Мне эти прутья-корзинки вот здесь сидят! – С этими словами Петька энергично приставил ребро ладони к горлу. Он еще, наверное, хотел рассказать, какая это мука заготавливать прутья на озере в тучах комаров и мошек и тащить огромные вязанки домой. Но, видимо, вспомнив, что он уже много раз жаловался мне на это, промолчал и сказал уже спокойно:

– Иди, иди один. Не бойся! Он тебя не съест. Но смотри – нрав у деда крутой. К нему иногда и на кривой козе не подъедешь!

Ну, один – так один. И я приступил к планомерной осаде дедова логова. Из рассказов отца и других мужиков в кузнице на эту тему я твердо усвоил, что если хочешь научиться ремеслу у хорошего мастера, то следует придерживаться строгих правил: ни в коем случае не начинать с расспросов и просьб. Особенно надо быть осторожным, когда мастер не в духе. В этом случае лучше не мозолить ему глаза и незаметно исчезнуть. Поначалу надо приучить мастера к своему молчаливому присутствию и оказанию ему небольших услуг: сбегать позвать кого, слетать в потребилровку, подать что-либо... На все это может уйти много

времени. Но надо иметь терпение и ждать пока мастер сам не отнесется благосклонно к твоей затее и поймет, что ты околачиваешься около него недаром. Он-то прекрасно понимает зачем человек столько времени крутится возле него. Понимает, но до поры до времени не подает вида, выдерживает характер.

Итак, каждую свободную минуту, когда у отца в кузнице полно добровольных помощников и мне не надо «дуть» (качать мех), я бегу к заветной избушке. Вначале я стоял поодаль и смотрел на работу деда через открытую дверь. По мере того как шло время, я все ближе подходил к двери. И вот я, наконец, стою и глазею на рождение корзинки, подпирая косяк низенького дверного проема. Я завороженно следил за ловкими движениями рук и пальцев корзинщика. Работал он быстро, красиво, и потому казалось, что все делал он неспеша. Десятки и сотни перегибов прутьев делались именно в нужном месте и под нужным углом. Я ни разу не заметил, чтобы дед переделывал изгиб или сломал прут. Если у него вдруг не получалось что-то, он заново заплетал это место и никогда не ворчал, не чертыхался по этому поводу, как это часто делают незадачливые мастера. Работал Евсеич молча и сосредоточенно, полостью отдаваясь делу. Только время от времени он затягивал себе под нас старинную песню про вольного казака.

*Скакал казак через долину,
Через широкие поля,
Скакал казачек одинокий,
Блестит колечко на руке...*

Очень редко допевал ее до конца, внезапно обрывая пение иногда даже на полуслове. Но я помню, что песня имела грустный конец: казачка изменила казаку, и он, сбросив кольцо с пальца, поскакал в «чисто поле»...

Не знаю как дед, а я все более осваивался с ролью его ученика, хотя мы с ним не обмолвились ни одним словом. Я даже боялся с ним здороваться и, приходя, молча занимал своё привычное место у косяка. Однако я был твердо уверен, что мастеру нравится мое постоянство и внимание к его работе. Это обстоятельство укрепило мою веру, что я на правильном пути. Наконец, в один прекрасный момент дед смилостивился и как бы невзначай, между прочим, произнес:

– Чо стоишь паря? В ногах-от правды нет. Возьми вот тот чурбачок, – он скосил глаза в темный угол избушки, – и садись вот тут рядом.

– Да у вас, дедушка, и без того тесно, – отвечаю я, не спеша воспользоваться приглашением, которого я так долго ждал.

– Садись, садись, паря! Если хошь посмотриеть, как корзинка плетется, то садись и смотри.

– Ты младший сынок Ларивоныча, что кузню поставил с нами по соседству?

– Ага, – отвечаю я и сморю на дедово лицо, стараясь увидеть его выражение, Но дед страшно кудлат, и мне это не удастся. О доброжелательности мастера я могу судить только по его разговору.

– Бает народ, что Ларивоныч – хороший мастер. Вот уж год, как собираюсь сходить к нему в кузню, да всё время не выберу. Коли будет нужда – непременно схожу.

Я молчу, мучительно пытаюсь продолжить жиденюкую нить разговора, но ничего не приходит в голову. Не знал я тогда, что уметь вести разговор с людьми – это большое искусство, и приходит оно к человеку не сразу, если приходит.

Получив приглашение деда, я пошел в угол избушки, нашел там толстую берёзовую чурку, верхний конец которой был выдолблен в виде большой миски и обит крест-накрест кусками старых ремней, что придавало сиденью вид кожаной решетки. Такое сиденье я видел у сапожника. Только вместо чурки он обил ременной решеткой обычную табуретку, убрав ее дощатое сиденье.

Чурбачок я поставил на указанное дедом место и сел рядом с ним у верстака. Концы прутьев корзины, которую плел мастер, так и замелькали у меня перед глазами. Дед, видимо, заметил, что я поглощен игрой десятков прутьев, и назидательно сказал:

– Ты, паря, ничего не поймешь, если будешь смотреть на все прутья разом. Ты смотри только на один, который я сгибаю, смотри: для чего и как сгибаю, смотри на мои пальцы.

Сказав это, дед долго и молча работал, пока у него не кончились белые прутья. Тогда он вышел из избушки, усердно растер поясницу кулаками, свернул и запалил козью ножку и принялся ошкуривать зеленые прутья тальника, протягивая их через скребок – рожон. Когда я усвоил эту несложную операцию, наблюдая за работой деда, то подумал, что обдирать прутья могу и я, и дела у мастера пойдут быстрее.

Ободрав хороший пук прутьев, дед вновь сел за корзинку. Когда новый пучок прутьев заметно поубавился, я робко обратился к Евсеичу:

– Дедушка, можно я пообдираю прутья?

Мелькавшие до этого прутья замерли, дед повернул бороду в мою сторону и оценивающе посмотрел. Я смутился и покраснел, с досадой думая, что рановато сунулся со своей помощью.

– А сможешь не поломавши до кончика каждый ошкурить?

– Смогу, дедушка, я ведь видел, как Вы это делаете!

– Дык я – это я. Мне годов-от скоко. Я этих прутьев ошкурил, да корзины разных наплел за свою жись, чай повыше Каштака – горы нашей будет!

– Я отцу в кузнице всегда помогаю, – говорю я, надеясь этим фактом подкрепить свой авторитет.

– Прут – он те, паря, не жалезо, – возразил дед, – Жалезо гни куда и сколь хошь, особливо, если разогреть добела. А прут – он любит согнуться только один раз и в одну сторону. Заново почнешь его гнать, а он сломается, или изгиб станет некрасивым. А коли красоту сохранить хошь – выкидывай этот прут и заменяй новым. Если красоты нет, то лучше это дело бросить. Так, по-моему – потом он немного подумал, почесал в затылке и встал со своего чурбачка.

– Ино, пойдем, паря! Посмотрим, как это с прутьями у нас получится.

Мы подошли к большой куче зеленых прутьев, прикрытых мокрой рагожей.

– Ну, давай, – сказал дед, кашляя и разворачивая кисет с самосадам и аккуратно сложенными прямоугольными листочками старого численника.

Я взял из кучи прут, заложил его в щель кола, левой рукой сильно сжал рожон и потянул прут на себя. Прут не шел, как я ни старался.

– Послабь рожон-от, паря! Не жми сильно, – спокойно наставлял дед, обильно смачивая самокрутку слюной и придавая ей задиристый вид козьей ножки.

Я выполнил этот совет деда и прут продернулся, оставив в щели рожона часть своей зеленой шкурки. Вместо того, чтобы слегка повернуть прут и вновь протянуть его через щель, я принялся ошкуривать основание прута, за которое только что прочно держался. Это была моя ошибка: оголенный конец прута стал очень скользким, и я уже не мог протягивать прут через щель с нужным усилием. Наконец, я очистил весь прут и робко поднял глаза на деда.

– Понял свою ошибку? – проговорил он, нащупывая в кармане широченных штанов огниво. Наконец, он достал его, выдвинул из медной трубочки трут и начал бить кресалом по обломку напильника. Мелкие красные искорки снопом полетели на трут, он вскоре задымился. Дед раздул его и прикурил. Сделав несколько затяжек и убедившись, что сигарка разгорелась, он пальцем затушил трут, втянул его снова в трубку, завернул все детали огнива в тряпицу и сунул в карман.

Пока дед производил все эти операции, я рассказал, в чем, по-моему, состояла моя ошибка.

– Баишь верно, а делаешь ...

Он недоговорил, зайдясь долгим стариковским кашлем, при котором в его прокуренной груди что-то глухо клокотало и хлюпало.

– Ну, давай ишшо. Теперь ты должен сделать как следоват быть, – говорит сквозь утихающий кашель дед, вытирая ладонью на-бежавшую слезу.

Видя, что дело у меня пошло, дед что-то добродушно пробормотал и побрел в избушку. Я работал без усталости, обрадованный оказанным мне доверием. Вскоре у деда под рукой лежала большая охапка пахнущих сладким соком белых прутьев. Некоторые из них я успел протянуть через плотно сжатые губы, съедая вкусную белую мякоть.

– Ты, внучек, отдохни, а то прутья могут пересохнуть, пока до них дойдет очередь.

Я давно заметил, что когда мастер уходил надолго, то накрыл вал ободранные прутья мокрой мешковиной и потому предложил де-ду так же поступить и с очищенными мною прутьями.

— Однако, дело баишь. Намочи-ка вот ту рогожку в кадке, — он кивнул в сторону пожарной бочки, стоявшей на углу флигеля под водосточной трубой, — и накинь ее на прутки. Не-то они будут ломкими, когда я начну их вплетать в корзинку.

Так неспешно бежали дни за днями. В избушке Ковалева я уже стал своим человеком. Петька был доволен: часть побегушек я добровольно взял на себя. Отец же мой не раз принимался ворчать, что я мало помогаю ему в кузнице и что я “прописался” у Ковалева в избушке.

— Папа! Еще немного и я буду уметь плести корзины, — отвечал я ему на это.

— У нас в семье только корзинщика недоставало, — сердито возражает отец и устанавливает последний срок моего “торчания” у деда. Стараясь угодить отцу, я с усердием качал меха и стрелой летал “на уголок” за очередной поллитровкой. Но торопить Ковалева с моим обучением я не мог, твердо придерживаясь неписанных правил взаимоотношений ученика с мастером: надо сделать так, что бы он сам начал учить без просьб и прозрачных намеков.

И такой момент наступил! Я, как обычно, сидел на своем чурбачке у верстака рядом с дедом. Он привычно мурлыкал знакомую песню о казаке и не спеша сортировал прутья для очередной корзины. И тут я заметил, что вместо одного толстого прута для обвода корзины он отложил два. Это меня сразу насторожило, и с языка невольно сорвался вопрос:

— Дедушка! Вы что сразу две корзины плести будете?

Дед многозначительно помолчал, но по движению волос на его кудлатом лице можно было заметить, что он улыбается.

— Ожидал, ожидал, что ты мя спросишь. Молодец, паря! Глаз у ты вострый: ты не только смотришь, но и видишь. Другие ведь часто как, — пофилософствовал дед, — смотрят, да не видят, особливо по молодости. Смотрят, да не понимают того дела, на которое смотрят. А иные и того хуже: даже смотреть не хотят. А кто же наше дело продолжать будет?...

Когда дед философствовал, то я особенно прочно молчал, так как вовсе не знал, какими словами надо поддерживать разговор на отвлеченную тему.

Потом мастер отодвинулся со своим чурбачком ближе к краю верстака и сказал заветные слова:

— Подвигайся ко мне ближе. Плести будем вдвоем. Кажин свою корзинку. Вот те нож: им будешь подрезать прутья под закрутку.

Сердце у меня так и запрыгало, зачастило, будто я подкрался к добыче, которая теперь уже наверняка будет моей. Обуреваемый великой признательностью к мастеру, я поудобнее примостился к верстаку и весь превратился во внимание.

– Делать я все буду неспешно, – между тем говорил дед, – а ты успевай в точности все повторять за мной.

И работа началась ... Мастер подрезал несколько прутьев под закрутку, я сделал то же, стараясь не отстать. Затем он согнул дугой толстый прут обвода, плотно прижал друг к другу срезанные наискось концы и скрепил их, крепко обернув место соединения половинкой длинного мягкого прутика. Я медленно и с трудом

проделал эту сложную операцию. Дед терпеливо ждал, наблюдая за моими руками. Затем он, выгибая обвод в разных местах, придал ему форму корзинки. Эту работу я сделал уже без труда.

– Верхний обвод – что первый венец в срубе дома: сделаешь его в аккурате – тогда и весь сруб до крыши пойдет как надо, – говорит наставительно дед.

– Теперь заготовим дюжины полторы прутьев потолще для боковой основы корзины.

И мы стали подбирать такие прутья, складывая их ровным пучком справа от себя.

– Запомни, внучек, – говорит дед со значением в голосе. Он даже приподнял руку и выставил вверх крючковатый палец, взмахами которого усиливал значимость произносимой речи:

– Вся хитрость плетения кроется совсем в малом: закручиваем первый круг боковины вокруг обвода, оставляем его конец, который прижимаем вторым прутком, закручивая его также вокруг основы. А тот другой – прижимаем третьим. И так до конца, до встречи последнего прута с первым. Ни проволоки, ни веревки, ни гвоздя не требуется: прут прутком держится, – закончил дед курс теории плетения и повернулся ко мне:

– Понял внучек?! В кузне своя хитрость, у корзинщика – своя. Ты – малый сообразительный и с нашей хитростью совладаешь, – сказал он уверенно, подбадривая меня. Дед хорошо понимал, что плетение – дело, требующее навыков и терпения. Начинающему может показаться, что этим искусством ему не овладеть. Такие сомнения иногда возникали и в моей душе, когда очень что-то не ладилось.

Когда я, копируя работу деда, установил, наконец, прутья боковой основы корзины, мой терпеливый учитель крикнул одобительно, встал, привычно размял кулаками поясницу и пошел на вольный воздух сворачивать козью ножку. Я вышел вслед. Мне показалось, что солнышко светило как-то особенно ярко, и *заплоты* (забор из толстых досок) усадьбы из потемневших горбылей были уже не такими угрюмыми и неприступными. В душе прыгали и весело стрекотали маленькие кузнечики, радуясь тому, что ее хозяин почти овладел новым, интересным мастерством ...

– Дале дело пойдет само собой, – говорит дед, пуская из ноздрей синеватые струи махорочного дыма.

– Теперь осталось всего-то заплести бока корзины – и делу конец.

– Ты, чай, в деревне не раз видел, как мужики плетут тын на огородах вокруг забитых в землю кольев. И здесь так же. Хорошо, что ты в деревне родился и пожил там маненько. В деревне мужики умеют делать все, не то, что городские...

Дед несколько раз затынулся, прокашлялся и продолжал:

– Батурина, ваша деревня, как себя помню, – огурцами славилась! Хо-роши батуринские огурцы: сочные, с пупырышками и шибко душистые. На базарах батуринские огурцы не залеживаются. Двадцать верст всего-то до Батуриной вверх по Томи. Бывал я там не раз. Деревенька невелика, но стоит красиво: слева – угор коренного берега, справа – заливные луга аж до самой Томи. А за деревней дале – тайга непроходимая с ельниками да кедрочками. Озер премного, птицы всякой и зверья, – дед, видимо, вспомнил свою родную деревню и размечтался, рассказывая о Батуриной...

– Дык, вот я говорю, оплетем боковину корзины, согнем прутья основы и заплетем дно. Останется приделать ручку и оплести ее тонкими прутиками для удобства и красоты. Ну, продолжим с Богом. Ты видел много раз, как я это делал. Теперь тебе надо сноровку приобрести. А это дело наживное. Была бы охота.

Сколько же было терпения у Ковалева! Плел я медленно и неумело. Я понимал, что ему и смотреть-то было противно на мою неумельщину. Иногда у меня вырывался кончик скрутки последнего прута и все прутья мгновенно один за другим, как живые, распались на глазах. Я вспоминал при этом, как рушится картонный домик, если тронешь хоть одну карту. Приходилось все начинать сначала, но прежней прочности уже не получалось. Верно, говорил дед, что прут любит только одну закрутку и только один изгиб. Но мой терпеливый учитель лишь посмеивался добродушно, да подбадривал меня, когда у меня что-то не получалось.

Были моменты, когда меня охватывало отчаяние и хотелось все бросить и удрать подальше, хотя я очень стыдился этих наплывов слабоволия. Дед это мое настроение всегда безошибочно угадывал. В такие минуты он откладывал свою работу и принимался помогать. Делал это он великодушно, спокойно и очень уважительно, стараясь не обидеть незадачливого ученика. Я был без меры благодарен ему за это, невольно вспоминая оплеухи, которыми иногда под горячую руку награждал меня отец, если я допускал оплошность, помогая ему в кузнице. Однако, если я отбивал ему руку, промазав при ударе молотом, он никогда меня не наказывал, даже, если ему было очень больно. В этом случае мне казалась, что лучше бы он мне смазал как следует по макушке, чем вот так: он корчится от боли, а я, как истукан, стою и не знаю, что сказать...

Наконец, корзинка была сплетена. Смотрелась она неказисто, но я был в восторге. Дед хвалил меня и все говорил разные присловья и поговорки на тему о первом блине.

Мне не терпелось похвастаться своей корзинкой дома и Евсе-ич, понимая это, сказал:

– Бежи к маме своей, Татьяне Лександровне, покажи корзинку. Скажи, что это первая, а другие будут куда лучше.

Я стоял перед дедом, прижав корзинку к груди обеими руками, и согласно кивал ему головой, сгорая от нетерпения. Когда он кончил, я опрометью кинулся домой, крутя перед собой корзинкой, как пропеллером...

Ледоход

*...Холмы и роуци стали островами,
И счастье, что деревни на холмах.
И мужики, качая головами,
Перекликались редкими словами,
Когда на лодках двигались впотьмах...
И реками становятся дороги,
Озера превращаются в моря,
И ломится вода через пороги,
Семейные срывая якоря...*

Николай Рубцов

С наступлением первых заморозков вода в Томи постепенно покрывается шугой – мелким битым льдом, который еще не в силах сковать быструю и широкую реку. Но вскоре мороз берет свое: спокойная вода в старицах, заводях и у берегов покрывается льдом, фарватер реки все более сужается, и шуга уже идет плотной массой, не оставляя места чистой воде.

Наконец, наступает ледостав: сильные морозы окончательно заковывают реку в прочный ледяной панцирь. В отличие от небольших озер, которые замерзают тихо и быстро, покрываясь зеркально чистым льдом, вставшая река обычно покрыта торосами из беспорядочно смерзшихся льдин. Поэтому санный путь по зимней реке устанавливается лишь после того, как торосы занесет снегом и его утрамбует буйная поземка.

Прекрасен санный путь по застывшей широкой реке: нет ни спусков, ни подъемов, и волки далеко. Прибрежный же кустарник не даст сбиться с дороги даже самому незадачливому ездоку. Одна беда – пронизывающий до костей ветер, который никогда не стихает на этом вольном пространстве, где тишина и безветрие таежной дороги вспоминаются как рай. Возчики, хотя и одеты поверх

полушубков в мохнатые тулупы до пят, то и дело спрыгивают с саней и грузно бегут рядом, нещадно колотя себя по бокам руками в огромных меховых рукавицах.

Длинная шерсть низкорослых нарымских лошадок покрывается плотным инеем, отчего четвероногие труженицы становятся совершенно белыми. Когда на обозмотришь издали, то может показаться, что темные точки возов движутся сами по себе, без лошадей.

Но как ни хорош санный путь по замерзшей реке, все же под тобой не матушка-земля, а глубокая и быстрая вода. Опасность попасть в полынью или воду, залившую лед сверху, всегда существует. Особенно коварны места с тонким льдом. Они обычно занесены толстым слоем снега, и так просто их не увидишь.

Полынья – открытая вода среди обычного ледяного покрова – самое страшное место на зимней реке. Но ее хорошо видно даже издали по парящей воде. Попадешь на тонкий лед или в полынью – прощайся с конем и с поклажей, а часто и с жизнью: быстрое течение мгновенно затянет свои жертвы под лед, и о произошедшей трагедии будет недолго напоминать оборвавшийся след да обломанные края тонкого льда полыньи. Поземка быстро заметет и эти слабые следы страшной беды, и вновь все станет таким, как будто здесь ничего и не произошло.

Будет кстати, если расскажу, как я с детьми чудом избежал купели в родной реке.

Было это в январе 1950 года. Я с шестилетним сыном Аликом ехал из Москвы на Дальний Восток к месту службы после окончания Академии. Мы ехали как бы в разведку. За нами должны были ехать Мила с Наташей.

По дороге заехали на недельку в Томск. Там меня радушно встретили и родные, и мои приятели-одноклассники. Жили мы с Аликом у моего отца. Вокруг нас крутилась ребятня – мои племянники и племянницы. С Аликом их было семеро. Как-то в солнечное морозное утро я решил сводить их на лыжах на Заячий остров, что стоит на середине Томи против нашего переулка. Тасины сыновья Коля и Гарик упросили меня взять с собой ружье и пострелять на той стороне.

Долго подгоняли лыжи, бегали к соседям за недостающими деталями и, наконец, двинулись к реке. С горем пополам скатились с крутого берега на лед реки и пошли к острову.

Я шел впереди, прокладывая след в глубоком и рыхлом снегу. Тогда меня несколько удивило, что против города снег не вытопан и не заезжен, как это обычно бывало в годы моей юности.

Когда мы прошли примерно половину пути к острову, решили пострелять из двустволки. Я шеренгой положил ребят на снег и дал каждому выстрелить по одному патрону. Посмеялись, порадовались и пошли дальше, снова вытянувшись в цепочку.

И тут вдруг произошло ужасное: совсем близко впереди я увидел широкую темно-синюю полосу чистой воды! От страха у меня остановилось сердце. Хотя до воды оставалось еще метров пятнадцать-двадцать, я хорошо понимал, что мы стоим на тонком льду, который в любой момент может лопнуть под ногами.

Откуда-то шедшая теплая вода образовала полынью и, разумеется, слизывала лед внизу за полыней. Теплая же шуба рыхлого снега не давала расти льду от морозов. Стараясь быть спокойным, я тотчас крикнул ребятам, чтобы они остановились, повернули лыжи обратно и быстро шли к городу по нашей лыжне. Потом я им сказал, что впереди чистая вода и под нами тонкий лед.

Успокоился я лишь тогда, когда мы вышли на берег. Дети окружили меня и на все лады обсуждали, как удачно избежали смертельной купели.

Я подошел к мужику, который сваливал снег из большого плетеного короба.

– Скажи, папаша, – обратился я к нему, – почему же среди зимы в лютые январские морозы Томь не везде замерзла? Вот там, например, – показал я в направлении полыни. – Мы с ребятами едва не искупались.

Мужичок набожно перекрестился, сделав при этом квадратные глаза.

– Боже упаси! Чо ты говоришь, паря! Это же верная погибель. Все знают об этой страшной воде, и никто туда ни ногой! Верно ты, паря, не здешний?

– Нет, я томич.

– Тогда давненько, видно, в Томске не бывал. В войну много заводов к нам вакуировали и лектрчества стало недоставать. Тогда и решили усилить лектростанцию, что в устье Ушайки, у базара. Чай знаешь, раз в Томске жил. Дак вот в сорок втором году положили шпалы прямо по улицам, прибили рельсы и по ним пригнали три паровоза, поставили у котельной, и они стали гнать пар на турбины.

– После этого и пошел от Ушайки длинный язык теплой воды, который и не дает замерзнуть реке до самого Заячьего острова, – понял я.

– Так что ты, мил человек, и детишек, и себя чуть не погубил.

Словоохотливый и, видимо, очень добрый человек еще очень долго сокрушался, свертывая одеревеневшими от мороза пальцами папиросу из грубо нарезанной махорки...

Полыни и опасно тонкий лед на зимней реке возникают и естественным образом, обычно против устья речек, которые питаются теплыми подземными ключами. Также ненадежный лед бывает у крутояров, где обычно наметает толстый слой снега, который подобно шубе укрывает лед, не давая ему нарасти до нормальной толщины. Но мужики, издревле занимающиеся извозом по зимнику, знали эти коварные места на реке, и умело избегали их.

Для лошадей представляет опасность также «пустой» лед. Так сибиряки называют лед у пологих берегов, из-под которого ушла вода после ледостава.

Такой лед как бы повисает в воздухе на значительной высоте от земли. При спуске с берега или при выезде с реки лошадь может провалиться и сломать ногу.

Когда я в 1936 году учился в Томской артиллерийской школе, у меня был хороший конек Дарьял. Много лет спустя я встретился с человеком, который долго преподавал там артиллерийское дело. От него я узнал, что Дарьял сломал себе ногу на «пустом» льду во время воскресной прогулки курсантов, и его пришлось продать татарам на махан.

Очень редко, может быть, раз или два раза в столетие, Томь преподносит самый страшный для жителей окрестных селений сюрприз – внезапный взлом льда и ледоход, когда по реке уже установлен санный путь. При первых же грозных звуках лопающегося крепкого льда возчики съезжали с зимника и гнали к ближайшему берегу, если надо, рубят гужи, чтобы избавиться от тяжелых возов, спасая себя и коней.

Итак, река застывала, меняя на многие месяцы весь уклад множества больших и малых селений, расположенных по берегам Томи и ее бесчисленных притоков.

Первыми санный путь прокладывали самые опытные возчики. За ними след в след тянулись другие обозы, вскоре делая дорогу торной и удобной для движения больших возов. Работал санный путь всю зиму очень напряженно. Из городов по застывшим рекам и болотам Нарымского края, как кровь по артериям, шли промышленные товары, мука, соль, сахар, керосин.

В черные годы коллективизации и борьбы с «врагами народа» по этим дорогам везли десятки и сотни тысяч осужденных на ссылку и каторгу. Особенно жалко было смотреть на подводы со ссыльными горожанами: они были плохо одеты и имели вид обреченных на смерть людей. В каждом таком скорбном обозе все же встречались сани, где плохо одетые ссыльные были прикрыты дохами: среди конвоиров и возчиков находились сердобольные люди.

Много ссыльных я видел и у себя дома, когда постоянные дворы были забиты, и ночевать им было негде, и когда, с разрешения конвоиров, они размещались в близстоящих домах. Я хорошо запомнил, что это были обычно деликатные люди с приятными лицами и манерами. Только одного парня с физиономией разбойника я видел среди них. Как-то поздно вечером мой брат Миша вышел с ним в сени покурить и спросил:

– Тебя за что сослали?

Разбойник криво улыбнулся и нехотя ответил:

– За поджог озера!

Потом я долго думал, как это можно было поджечь озеро, и остановился на том предположении, что он поджег сухой камыш, который зимой особенно хорошо горит. Как потом я услышал из разговора брата с отцом, этот разбойник был сослан в Нарым за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Сдав ссыльных в лагеря и развезя городской товар по назначению, в обратный путь подводы грузились огромными плетеными коробами с мороженой рыбой. Жители Нарыма вылавливали ее сетями, которые устанавливали поперек рек в узких длинных прорубях. Везли снизу также древесный уголь, смолу и деготь, мороженое мясо, невыделанные шкуры, березовое долготье для дров.

Первый сигнал приближающегося конца санного пути по реке – яркое и теплое мартовское солнце. Тогда, снаряжая обозы в дальний путь, мужики усиленно скребут затылки, прикидывая, успеют ли они по зимнику обернуться в оба конца...

За мартом – апрель, а там – ледоход. Вода очистится ото льда, и по реке откроется новый путь – навигация. Опять долгая и тяжелая работа транспортникам, но уже иного рода: командам пароходов, больших и малых паузков и тысяч иных плавающих посудин. Снова принимается за работу невидимая армия бакенщиков – собратьев по профессии железнодорожных обходчиков. Они покидают свои дома в городах и поселках и переселяются в домики на высоких берегах судоходных рек.

Весенний ледоход на Томи – незабываемое зрелище! Смотреть его всегда сбегаются тысячи горожан. Людей издавна поражала сила вдруг проснувшейся грозной стихии. Спрятанная под толстым ледяным панцирем и занесенная глубоким снегом быстрая и полноводная река почти полгода незримо и тихо гнала свои воды к Оби и дальше – к Ледовитому океану. Но вот наступает момент, и там, где царило белое безмолвие, возникает картина борьбы титанических сил. Контраст в состоянии реки огромен, и это потрясает.

*Зажгла снега, раскрыла воды
Весна и силой обретенной
Тысячецветным ледоходом
Пошла долиной потрясенной.
Вода вскипала куполами
И бесновалась на середине,
И вспыхивали зеркалами
Ребром поставленные льдины.
Срываясь, выходили строем
На стрежень звонкие закрайки,
И падали на воду роем
Охрипшие от счастья чайки...*

Ю. Широков

Первой подвижке льда обычно предшествует его гулкое, громоподобное трескание. Эти звуки грядущего ледохода особенно слышны и тревожны ночью. Происходит это обычно в середине апреля. А к концу месяца ледоход набирает полную силу.

Грозное и величественное это зрелище: огромные льдины, тесня друг друга, движутся неудержимой лавиной, заполняя всю ширь разлившейся реки.

В разное время на крупных сибирских реках строили деревянные мосты с мощными деревянными же опорами-быками, укрепленными толстыми металлическими полосами и прочнейшими болтами. Но потом от этого отказались: мощные быки не выдерживали страшного напора ледяной лавины, и мосты сносило. За считанные минуты пропадали многомесячный труд сотен первоклассных плотников и кузнецов, и берега реки снова становились недосыгаемыми на долгое время. Поэтому летом обычно обходились паромными переправами, а зимой – санной дорогой по замерзшей реке.

Большой и красивый мост через Томь был построен только после войны. Он покоится на прочных железобетонных опорах, которым уже не страшен напор стремительно несущегося ледяного потока.

Перед ледоставом капитаны больших и малых судов спешили вовремя укрыться в затоках – углубленных землечерпалками старицах реки, где они ремонтировались и готовились к новой навигации. Затоны постепенно становились обжитыми городками, жителям которых было много работы и летом.

Судам, вмерзшим в лед на реке, во время ледокола грозила неминуемая гибель, если за зиму их не смогли выколоть из льда и вытащить на высокий берег. Крупное судно, например баржу, на берег, разумеется, не вытащишь. Но мелкие суденышки типа катеров часто удавалось выволить из ледяного плена.

В связи с этим вспоминается одна очень печальная история. В 1934 году во время ледостава против нашего Картасного переулкa в лед вмерз небольшой катер. Время было тревожное, и над незадачливым капитаном этого суденышка нависла угроза стать «врагом народа». Этот капитан был хорошо знаком с отцом моего приятеля Толи Рябова, мастером на все руки. Работал он главным механиком мукомольного комбината. Они решили вытащить катер на берег. Все было сделано как надо: установлена мощная лебедка, укрепленная за вкопанный в землю «мертвый якорь», а берег был полит водой, которая заледенела, что облегчило бы вытаскивание катера на крутой берег. Когда все было готово, отец Толи взял нас с собой к катеру. Он все проверил, и по его команде рабочие стали медленно вращать ручки лебедки. Трос натянулся как струна, и катер медленно пополз вверх. Другие рабочие подматывали страховочный канат за кольцо «мертвого якоря» все шло как по маслу. И тут

случилась беда – лопнул трос лебедки. Им был убит отец Толи и ранен один рабочий. На глазах Толи в одно мгновение не стало отца. Это была самая большая трагедия, которую мне довелось видеть в юности...

Наша начальная школа стояла рядом с берегом реки, и смотреть на ледоход мы бегали гурьбой каждую перемену. Ребятишки стремились подойти как можно ближе к ледяной лавине, где крайние льдины, как зубы огромного хищника, рвали крутой берег. Отчаянные же смельчаки прыгали на крупные льдины и плыли на них некоторое время с победным криком.

Часто на больших льдинах были остатки санных дорог и вывороченные с корнем кусты, которые росли слишком близко к воде и не смогли устоять под натиском ледяных чудовищ.

Немного ниже Томска, против городской бойни, река преодолевала пережат, не в силах углубить дно в пересекавшей ее каменной гряде. В этом месте река была широкой, быстрой и мелкой. Во время ледохода на этом пережатке обычно возникали заторы: лед забивал всю реку до дна, создавая своеобразную плотину. Вода начинала быстро подниматься, затопляя низменную часть города – Заозерье, где мы жили. Когда затор сам долго не прорывался, городские власти вызывали тяжелую артиллерию Томского артиллерийского училища. Весной 1937 года я принимал участие в стрельбе по затору тяжелой батареи. Мощные взрывы наших 152-миллиметровых снарядов оставляли в нагромождении льда большие воронки, но для пробития в нем даже узкого прохода мы стреляли целый день, истратив массу боеприпасов. Но какова была наша радость увидеть, как сделанный снарядами проран стал постепенно расширяться, и затем огромная масса стоявшего льда дрогнула и начала свое торжественное движение! Толпа, наблюдавшая стрельбу артиллеристов, стала кричать ура и хлопать в ладоши. Командир батареи вызвал передки, мы зацепили гаубицы, и шестерки коней потащили орудия к училищу. И командир, и ездовые, и мы – боевые расчеты орудий, ехавшие на передках, чувствовали себя победителями в крупном сражении. Да! Хорошо стрелять из тяжелых орудий на виду у горожан, в мирное время.

Учитывая недостаточную мощность орудий училища, затор на Томи весной 1942 года решили разбомбить. Для этого из Новосибирска был вызван бомбардировщик «Бостон» с грузом 100 кг фугасных бомб. Однако незадачливый экипаж самолета не смог найти не только затора, но и самого Томска. Потеряв ориентировку, бомбардировщик долго рыскал над тайгой и сжег все горючее. Ему ничего не оставалось, как сбросить бомбы на лес, а самому сесть на пузо в страшной глухомани... Шел второй год войны. Грустно и смешно. Чем в итоге кончился этот «рейд» бомбардировщика, я не знаю. Хорошо, если не покалечили кого своими бомбами и сами не разбились при вынужденной посадке....

Когда на перекате возникал затор и уровень воды в реке стремительно рос, начинали тревожно гудеть мелькомбинат, кожевенный и дрожжевой заводы, табачная фабрика, фабрика карандашной дощечки, оповещая жителей Заозерья о надвигающейся опасности. Школьников отпускали домой, и ребятня радостно бежала, стараясь поближе увидеть затапливаемые водой улицы и переулки. Домой спешили и взрослые, чтобы как следует подготовиться к наводнению.

Весной 1928 года ожидалось сильное половодье: зима была долгой и снежной. И точно: после начала ледохода дружно завывли тревожные гудки, засуетились и забегали жители низинной части города.

Это наводнение запомнилось мне тремя событиями. Героем первого стал мой пятнадцатилетний брат Миша – отчаянный безбожник и мастер на всякие дерзкие шутки. Он, заслышав тревожные гудки, подбежал к божнице, упал на колени и стал молча креститься. Все мы сделали квадратные глаза, не понимая, что с ним происходит и зная, что в Бога он не верит. А тот, видя, что привлек к себе внимание всех, громко запричитал:

– Пошли, Господи, наводнение пострашнее, чтобы все дома в нашем Заозерье поносило!

Женщины, особенно бабушка Степанида Григорьевна, были потрясены этим богохульством. Они дружно бросились к стоявшему на коленках Мише, схватили его за шиворот и вытолкали в сени. Миша же весело смеялся и, вяло упираясь, повторял:

– Ну что я такого сделал! Ну, пошутил! Ведь воды от этого ни убавится, ни прибавится! А бога я никак не обидел. Я же ему молился!..

Не успели еще улечься страсти после Мишиной выходки, как на пороге нашей квартиры, находившейся на втором этаже высокого флигеля, появился художник Кузьмич с двумя гусями под мышками. От погони за гусями и подъема по крутой лестнице его лицо покраснело, а сам он стал казаться совсем толстым и маленьким из-за расширявших его фигуру крупных гусей. Кузьмич долго жил в нашем доме на правах друга отца и называл себя не художником, а живописцем, хотя этого слова у нас никто не знал.

Видя наше крайнее удивление из-за того, что он тащит водоплавающих птиц в дом, Кузьмич, торопясь, объяснил:

– Гусей может унести водой! Посмотрите, какой поток хлещет через двор! Пусть побудут дома.

Этот забавный эпизод с художником рассмешил всех. Мама и мои сестры от души хохотали, и даже бабушка сменила гнев на милость и молча весело шурила свои подслеповатые глаза. Миша воспользовался моментом, чтобы скрыться с бабушкиных глаз: он быстро схватил гусей и потащил их обратно в хлев.

Я очень любил во время наводнения плавать по залитому водой двору в большом деревянном корыте или на плоту, наспех сколоченном из всякого деревянного хлама. Затевал эти дела, естественно, мой старший брат.

Помню, как все домашние сидели в то наводнение на нашем высоком крыльчке и, греясь на солнышке, смотрели на быстрый поток, который шел с реки через наш двор и дальше на улицу. На этот раз Мише не надо было сколачивать плот из чего попало: он плавал на воротах, которые отец предусмотрительно снял с петель, чтобы их не вывернуло сильным напором воды. Миша ловко орудовал шестом, направляя плот в нужную сторону. Когда он вдоволь наплавался и причалил к крыльцу, я упросил отца, чтобы он разрешил поплавать и мне. Получив «добро» на плавание, я мигом вскочил на плот и шестом оттолкнулся в сторону затопленной будки Трезора: там не было течения, и вода была спокойной. От будки я направился к кузнице, но с ужасом почувствовал, что плот потянуло в русло быстрого потока. Я растерялся, бросил шест и приготовился спрыгнуть с плота и ухватиться за перекладки калитки, когда он будет проплывать через ворота. К счастью, мне это удалось сделать, и Миша, который кинулся мне на помощь, уже брел обратно к крыльцу по пояс в ледяной воде. Я услышал грозный крик отца:

– Лезь по забору к кузнице, а потом снова по забору к дому!

Когда я лез по заборам, то меня более всего беспокоило, что на крыльце отец меня встретит ремнем. Отец твердо придерживался правила о неотвратимости наказания. И на этот раз я был бы непременно выпорот: пропали ворота, которые сделать мог только хороший мастер и за хорошие деньги. Но, к моему удивлению и великой радости, произошла осечка: когда я появился на крыльце, мама приоткрыла дверь на лестницу и толкнула меня в спину. Я стрелой влетел на второй этаж и из-за необычности ситуации первое время не знал, о чем думать и чем заняться. Но все же сообразил, что на крыльце мне больше делать нечего и на глаза отцу без надобности показываться не стоит. Вечером отец все же отвесил мне оплеуху за погубленные ворота. Но она была символической, так как давалась не под горячую руку.

Теперь расскажу о трагедии, которую мне пришлось видеть во время неожиданного ледохода в начале зимы, который случился вскоре после приезда нашей семьи в Томск.

В тот год река встала рано, ударили осенние морозы, зарядили снегопады, и по Томи вскоре установился санный путь.

В один из хмурых дней ноября, когда стояли довольно теплые дни, город наполнился тревожными гудками. Мы вначале подумали, что где-то большой пожар. Но дыма нигде не было видно, и на мачте пожарной каланчи на Каштаке не было видно шара, который бы указывал, в каком секторе города горит. Вскоре все прояснилось: внезапно тронулась Томь, и народ побежал к реке...

Кинулись к берегу и мы всей семьей. Там была масса людей, потрясенных тяжким зрелищем: по реке шел сплошной лед, а между Заячьим островом и берегом на большой льдине плыла подвода с поклажей. У лошади стоял возница, держа ее под уздцы, и смотрел в нашу сторону. Запомнилось и поразило то,

что человек на льдине ничего не предпринимал, и люди на берегу стояли неподвижно и молча. В этом тягостном молчании и бездействии угадывалась полная безвыходность создавшегося положения: ни сам человек на льдине, ни толпа на берегу ничего не могли сделать для его спасения...

Единственно, кто мог бы спасти человека – это вертолетчики. Но до создания винтокрылых машин еще должны были пройти десятки лет...

Много воды утекло с того печального ноября, но невозможно забыть увиденную мной трагедию. Видимо, на льдине оказался крестьянин из какой-то деревеньки в верховьях Томи. Он ехал в город на базар и стал жертвой внезапного повышения уровня воды в результате сильного потепления в горах, откуда река берет свое начало. Когда же приблизился водяной вал и лед стал трескаться, крестьянин, очевидно, растерялся и не успел добраться до спасительного берега, пока трещины во льду еще сильно не разошлись.

Вспоминая этот гибельный зимний ледоход и беспомощного человека на льдине, я вновь и вновь начинаю обдумывать всевозможные способы его спасения. Но ничего реального придумать не могу. Обычно останавливаюсь на том предположении, что льдину с подводой нанесло на остров, каких немало на Томи ниже города, и возчик сумел съехать на твердую землю. Там он дождался нового ледостава и благополучно пересек протоку, выбравшись на коренной берег...

Пусть это было именно так!

Закутин яр

*...Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст,
И лодка кверху днищем,
И колесо,
Забывтое в грязи...*

Николай Рубцов

Стояла суровая зима 1935-1936 годов. После голодного 1933 года жизнь в Томске постепенно входила в свою обычную колею тех тревожных лет. Недавно отменили карточки, и хлеб можно было купить в любой лавке. На базаре появились мука и мясо. Однако цены непомерно высоки и по карману только зажиточным горожанам. А до этого на базаре была лишь конина (*махан*),

кото-рую везли татары из окрестных деревень. Отца маханом снабжал наш хороший знакомый Зайнэ, который работал председателем кол-хоза в татарской деревушке Юшта, что до сих пор стоит среди заливных лугов на том берегу Томи против города.

Постепенно стихал ночной разбой на плохо освещенных окраинах города. Реже проносились слухи об убитых и раздетых людях, трупы которых обнаруживали по утрам то под Базарным мостом, то в глубоком каньоне Ушайки, то в оврагах на Каштаке.

Однако напрасно думали горожане, что жизнь стала налаживаться... На головы сибиряков, переживших переворот 1917 года, братоубийственную гражданскую войну, трагедию раскулачивания и этот голод, свалилась новая беда: правительство затеяло ожесточенную борьбу с “врагами народа”.

Совсем недавно нам, ученикам школы, директор объявил, что народный комиссар просвещения Бубнов оказался “врагом на-рода”.

Мы быстро сдернули со стены красивый портрет в застекленной рамке и растоптали, усеяв пол мелкими осколками стекла и кусками разорванного портрета: врагу – участь врага. Какая это страшная сила – бездумная вера вождям: сказано – враг, значит – враг. Никаких сомнений быть не может! А не я ли много лет всматривался в интеллигентные черты человека в старинном пенс-не, которого считал самым грамотным в стране. Услышав же, что он – враг народа, на портрете я уже вижу противную рожу предателя, волка в овечьей шкуре, которого следует расстрелять, как на митинге учащихся сказала наша завуч. И пошла гулять шпиономания, поиски врагов народа. Среди горожан расцветало стукачество: подлые людишки судорожно вспоминали “подозрительные” слова и поступки соседей и знакомых и строчили анонимные доносы.

Поиск “врагов народа” породил психоз в школах: ребята умудрялись на рисунках в книжках, на обложках тетрадей, на ярлыках спичечных коробков рассмотреть то жабу, то свастику, то еще какую-нибудь антисоветскую чертовщину. Особенно запомнилась обложка тетради, на которой был изображен кадр из кинофильма “Чапаев”, где Василий Иванович, заломив папаху набекрень, указывает Петьке, куда строчить из пулемета. Так вот на этом рисунке многие школьники ясно видели, что вместо папахи на голове Чапаева – жаба. Сходство папахи с жабьей головой особенно усиливалось, если тетрадь перевернуть. Грешным делом и мне тогда казалось, что художник преднамеренно исказил кадр, сделав папаху, напоминающую жабью голову. Сейчас об этом стыдно вспоминать. Школьников, как стадо телят, гнали в нужном направлении. Но не так просто было со взрослыми. Когда в крепкий декабрьский мороз 1934 года из Москвы пришла печальная весть об убийстве Кирова, то мужики в кузнице единодушно решили, что “ухлопали” свои же, чтобы разделаться с неугодными.

Особенно запомнилось тревожное время подготовки к выборам в местные Советы. Для того, чтобы за выдвинутых кандидатов избиратели проголосовали единодушно, были созданы специальные комиссии, лишавшие избирательных прав тех граждан, которые могли проголосовать “против”. Таким образом, к открытым “врагам народа” добавилась огромная масса скрытых “врагов” – лишенцев. В их число попали граждане, служившие в царской армии, раскулаченные в период коллективизации и другие. Лишенцы не только не имели права голоса, но и лишались многих гражданских прав: они не могли занимать ответственные посты на государственной службе, дети лишенцев не принимались в высшие учебные заведения.

Были и другие запреты, но я хорошо помню эти два. Лишенцев оказалось так много, что эта зловещая мера буквально по живому разрезала население города. Списки лишенцев были напечатаны на огромных белых листах размером с газету и расклеены по всему городу. Много ребят, родители которых оказались лишенцами, было и у нас в классе. Идя в школу и обратно, они стыдливо обходили списки, у которых часто толпились озорные мальчишки, со смехом выкрикивавшие фамилии своих соучеников:

– Ребята! А отец-то нашего отличника и тихони Плотникова – лишенец, оказывается! Какой Петька отличник, если отец у него был буржум?!

Для меня эта предвыборная кампания казалась бесконечной, и я боялся ее как огня. Местные власти хорошо знали, что у отца своя кузница и его простым росчерком пера могли определить в лишенцы. Поэтому, когда у висевшего недалеко от нас белого полотнища никого не было, я быстро шел к нему и находил столбец на букву “И”. С затаенной тревогой пробегал глазами по фамилиям. Больно кололи в сердце фамилии Ивановых, но, слава Богу, инициалы были другими, и страх отступал. Отца спасло то, что у него был бесплатный инвалидный патент, и он имел официальный статус кустаря-одиночки, то есть чужой труд не эксплуатировал. Молотобойцем у отца был, в основном, мой брат Миша. Помогал в кузнице и я. Но с наступлением холодов, когда начинался сезонковки лошадей и оковки саней, отец нанимал молотобойца со стороны. Обычно это были знакомые нам парни, которые всем говорили, что помогают отцу просто так – выпить захотелось.

Надо сказать, что в эти жестокие времена выявились не только подлые людишки, писавшие доносы. Очень часто зажиточные семьи, чувствуя, что их имущество будет “описано”, по ночам несли наиболее ценные вещи к своим знакомым, чтобы потом взять их обратно, когда в итоге останутся нищими. И к нам несли вещи. Так у нас в доме долго стоял старинный граммофон с огромной красиво расписанной трубой и тяжеленный альбом с пластинками. Эту диковинную штуку я слышал впервые. Из всех пластинок мне запомнилась одна, в которой певец на комический лад пел о незадачливом выпивохе:

*... Напьется лунный мужичишко,
Его стошнило и — капут:
Сблевал на новое пальтишко.
Чего ж поделаешь ты тут ...*

В этой песенке удивляло меня то, что мужичишко был “лунным” и очень жаль было, что он испачкал новое пальто.

Как и сейчас, в те трудные времена был жив народный юмор, откликавшийся на происходившие события. Так, по городу ходил анекдот: двое стоят на улице, пересвистываются и жестикулируют. Оказывается, это — люди, лишенные права голоса.

Были и другие беды, свалившиеся на горожан. Не смотря на то, что в стране были созданы многочисленные трудовые армии из сосланных на Колыму, в Нарымский край и другие медвежьи углы, где добывали золото и строили каналы, правительство нуждалось в валюте, чтобы платить американцам и немцам, строившим нам автозаводы и гидростанции. Для получения золота и других ценностей от населения были открыты “Торгсины” — магазины, в которых были дефицитные товары и всевозможные продукты. Это что-то вроде бывших до недавнего времени “Березок”. Торгсин — сокращенное название организации “Торговля с иностранцами”.

В нашем классе учились три паренька из богатых семей, кото-рые постоянно жевали, как хлеб, дорогие конфеты, ели шоколад, о вкусе которого я тогда и не подозревал. Как потом оказалось, они воровали дома серебряные ложки и обменивали их в “Торгси-не” на эти лакомства.

Однако “Торгсин” не оправдал надежд правительства на скупку нужного количества золота и драгоценностей у населения. Тогда всем отделениям ГПУ из центра пришел приказ о насильственном их изъятии у зажиточных граждан. И страшная машина Главного Политического Управления заработала на полные обороты: почти ежедневно по городу проносились тревожные слухи, что “забрали” богатого часовщика Маркова, известного врача Гельфонда, бывше-го домовладельца Кривошеина ... И пошло, и поехало ... У “сту-качей” появилась новая возможность отличиться перед власть предержащими: они писали пространные доносы на богатых горо-жан, указывая, что у них есть и где может быть спрятано.

Черную кампанию изъятия ценностей у населения я хорошо знаю, как говорится, из первых уст. Дело в том, что моя мачеха Анна Михайловна, мягкий и очень добрый человек, в то время провела несколько месяцев в мрачных подвалах ГПУ, где от нее добивались выдачи оставшегося у нее золота и драгоценностей.

Ей не поверили, что она отдала все, что у нее было в ту страш-ную ночь, когда бригада сотрудников буквально вверх дном пере-вернула всю квартиру,

кладовку и амбар. Как она могла не от-дать! Анна Михайловна безумно любила своих сыновей Шурика и Леню, которым могло в противном случае “не поздоровиться”, о чем ее предупредил “главный начальник”, руководивший ночным обыском, который правильнее было бы назвать разбоем.

Ее любимые дети все же погибли: Леня – в 1937 году в лагерях ГУЛАГа, а Шурик – в 1943 на фронте.

Об Анне Михайловне и ее сыновьях я расскажу отдельно. Сей-час же лишь вкратце описываю ее переживания, связанные с пре-быванием в ГПУ, чтобы более полно обрисовать обстановку в на-шем городе, когда происходили события, описываемые в этой по-вести.

Как-то я с Анной Михайловной шел по Ленинскому проспекту мимо большого дома из красного кирпича. Когда мы приблизились к решеткам, прикрывавшим подвальные окна этого мрачного зда-ния, она, настороженно повернув свои большие черные глаза в их сторону, тихо сказала:

– Леня! Видишь эти решетки? Я за ними просидела почти пол-года!

Сказав это, она долго шла молча, погрузившись в бездну тяжелых воспоминаний. Близость этого дьявольского заведения, видимо, сделала до боли осязаемыми муки, которые она здесь пе-ренесла и о которых сейчас вспоминала.

– Они, отпуская, взяли с меня подписку, что я никогда и ни-кому не расскажу, что со мной делали. И ты об этом никому не говори, если не хочешь, чтобы меня опять схватили и упрятали в эти катакомбы... Я дала себе слово никогда не ходить мимо это-го страшного дома. Но вот с тобой решила не обходить его сто-роной. Ты должен знать, что это за дом и что творится в его ужасных подвалах!

Она вновь надолго замолчала. Молчал и я, не умея найти нуж-ных слов...

Анна Михайловна жила по соседству с нами на Войковой. Она была вдовой видного томского врача Янкелевича Рафаила Аронови-ча, который до революции был весьма богатым человеком. Вот и “положили глаз” работники ГПУ на его богатую вдову...

Вскоре после нового 1936 года у нас в средней школе номер три проходило общее комсомольское собрание. Тогда какой-то шутник выкрикнул мою фамилию в состав президиума. Обычно туда выбирали толковых ребят из девятых и десятых классов. А тут вдруг меня - ученика восьмого.

– Иванова, Иванова в президиум! – не унимался этот весельчак, – Иванов – старый комсомолец: без году неделя как в нашей организации и учится отлично!

Сережа Молодых, наш уважаемый комсорг, пытался возразить ему. Но куда там! С шумом и смехом единогласно проголосовали за предложенный состав. И вот я в великом смятении понуро бре-ду к столу президиума мимо корчащих веселые рожи приятелей. Пока я выбирался из дальнего угла, куда забился, да шел к сто-лу, там выбрали председателя и утвердили повестку, а мне ска-зали, чтобы я “вел протокол”. У меня буквально потемнело в глазах:

как это делается я не имел ни малейшего представления. Да и писал я тогда, как впрочем и сейчас, “как курица лапой” и очень медленно, особенно, когда это приходилось делать на людях.

Сергея Молодых уже почти заканчивал свой короткий доклад на тему “Комсомольцы! Укрепляйте оборону нашей Родины! Поступайте в военные школы!” (до 1939 года военные училища назывались школами), а я все еще не знал, с чего начать, тщетно пытался понять, как пишется протокол. Тогда я толкнул сидевшего рядом председателя собрания, ученика девятого класса “А”, и попросил подсказать, как писать. Но, как на грех, это был тот парень, с которым мы лоб в лоб столкнулись на днях на перемене. Он был значительно меньше ростом и худощав, а потому я буквально сшиб его с ног. Я пытался оказать ему помощь и подал руку, чтобы он поднялся, но он очень обиделся, поднялся сам, обозвал меня дураком и поплелся в класс.

– Тебя выбрали, ты и пиши, – сказал с ехидцей председатель и повернул голову в сторону комсорга, который заканчивал свой доклад страстными призывами крепить оборону и советовал подумать относительно того, чтобы по окончании учебного года подать заявления в военкомат о желании поступить в военные школы.

И докладчик, и все ребята, как обычно, спешили домой. Собрание быстро закончилось. Поднялся невообразимый гвалт, все разом повскакали с мест и, давя друг друга в дверях, кинулись в раздевалку. Я все еще не терял надежды остановить кого-либо из старшеклассников и спросить, как и что писать. Но все отнекивались и бежали, не сбавляя скорости... Обескураженный вконец, я опустил голову, уткнувшись в чистые листы тетради протоколов. Было такое ощущение, что пришел конец света, и я ничем не могу помочь себе. И вот к моему радостному изумлению в распахнутых дверях конференц-зала появился всеми уважаемый, а теперь и любимый мною комсорг Серега! Добродушно улыбаясь, он подошел к столу, сел рядом и сказал:

– Я сразу понял, что ребята для смеха выбрали тебя в президиум и назначили секретарем. Ты, конечно, не умеешь вести протокол. Я тебе сейчас растолкую, как ведут эту канцелярскую писанину. В следующий раз ты будешь это делать, как заправский волостной писарь. И когда тебя снова выберут в секретари, ты спокойно напишешь протокол. Даже раньше, чем закончится собрание, – рассмеялся Сережа собственной шутке.

Я слушал Серегу и смотрел на него удивленно, и все не верилось, что это не во сне, а наяву. С недоброжелательностью и черствостью я сталкивался в жизни не раз и не два, а вот с такой добротой и вниманием – не часто! Со мной занимается, учит самый уважаемый парень в нашей школе. Что бы я делал, если бы он не вернулся?! Не буду описывать детали этого необычного и запомнившегося урока. Сидел Серега со мной долго. Он рассказал мне о стандартной схеме протокола, про эти дурацкие “слушали – постановили”.

В итоге, он продиктовал мне весь протокол, при-помяная, о чем говорили ребята, и что в итоге решили.

– Если не хочешь в другой раз попасть впросак, – сказал Сергей наставительно, но добродушно, – приди домой и по этой схеме снова напиши протокол собрания. Напиши, даже если тебя будет тошнить от этого занятия. И тогда это историческое достижение уездных писарей “слушали - постановили” засядет в тво-ей голове, как гвоздь. С этими словами Сережа встал, потянул-ся, тщательно оправил красиво сидевший на нем широкий ремень с портупеей (негласная форма комсомольских вожakov того времени) и уже совсем по-дружески, доверительно сказал:

– Вообще-то вся эта писанина – формальность, которую потом никто не читает. Но не нами заведено, не нам и отменять...

Молча, уже, видимо, думая о чем-то другом, Сергей крепко пожал мне руку и быстрым шагом пошел к выходу...

Первый раз мне пожал руку такой уважаемый мною человек! Я не шел, а летел домой, летел на крыльях. Есть же на свете такие хорошие люди!

Дома я быстро поел и на свежую память написал протокол того злополучного собрания, которое, как ни странно, стало неким поворотным пунктом в моей жизни.

Когда кончилась, наконец, возня с протоколом, и я успокоил-ся, то невольно подумал: а не поступить ли мне в военную школу после восьмого класса, если отец действительно не разрешит мне ходить в девятый, а потом и в десятый и захочет сделать меня молотобойцем? Конечно, как-то не увязывалась логическая цепочка: хотел стать ученым-химиком, и вдруг возникла перспектива стать артиллеристом, то есть быть профессиональным военным. Но обстоятельства тогда еще не принуждали меня к активным дейс-твиям, и этот вопрос постепенно отошел на задний план.

В конце марта, когда с южных скатов крыш повисли прозрачные сосульки, меня неожиданно вызвали в учительскую. Я сильно испугался, быстро прокрутил в памяти все свои поступки за последние и не последние дни. Ничего в них предосудительного я не обнаружил. Однако на вызов двинулся с тяжелым сердцем. Откры-ваю дверь учительской. Там чинно сидят за большим столом наша завуч Мария Леонтьевна, комсорг Сережа Молодых и еще два ма-лознакомых старшеклассника из учкома. Мария Леонтьевна пригласила меня сесть и тотчас приступила к делу:

– Мы тут посоветовались относительно письма из деревни Закутин Яр. В нем ребята просят прислать комсомольца, который бы помог им создать школьную комсомольскую организацию. Подумали вместе и решили, что это можешь хорошо сделать ты.

Все внимательно смотрят на меня. От этой новости у меня по-холодело в душе. В то же время я возгордился: какое важное де-ло мне поручают!

– Ну, как? Согласен? О деталях поездки тебе расскажет Сережа Молодых, – сказала Мария Леонтьевна как о чем-то второстепенном и несущественном, закончив на этом разговор. В голове у меня мгновенно завертелось: кто будет кормить моих кроликов, сидящих в клетках в холодной конюшне (никто не будет, конечно!), сколько уроков я пропущу? Особенно жаль было пропускать физику и химию: по физике шло электричество, которое меня очень интересовало. Встал непростой вопрос: в чем ехать, если у меня ношенные-переносные валенки и пальтишко на “рыбьем меху”, сшитое из старой шинели? На руках у меня чиненные-перечинные варежки, которые не прикрывают запястья, и суставы промерзают так, что перестают гнуться. Рукава “шинелки” очень коротки, так как я из нее давно “вырос”, как говорила не раз бабушка Степанида. А ведь в деревне меня будут встречать как горожанина, а, следовательно, прилично одетого человека. Да и замерзнуть можно сто раз, пока будешь ехать на подводе от Межениновки до этого Яра. А туда, как сказал Серега, ни много ни мало – тридцать верст с гаком. А этот самый “гак”, как говаривал мой отец, часто бывает более половины!

От этих тяжелых размышлений я то и дело впадал в уныние, не решаясь, однако, пойти к Сереге и отказаться от поручения. Ком-сомольское поручение я считал выше всякого иного дела и его надо обязательно выполнять. Этим обычно заканчивались мои горькие думы о поездке в глухую деревню, куда вначале надо ехать поездом, на котором я еще никогда не ездил.

Хочешь - не хочешь, а время идет: комсорг Серега созвонился с Межениновским сельсоветом, колхозом “Светлый путь” в Закути-ном Яру и договорился, что на станции в назначенный день и час меня будет ждать подвода. На прощание Сережа в общих словах рассказал, что я должен сделать в деревне и ответил на мои до-вольно невнятные вопросы. Виногато улыбнувшись, он с сожалением признался, что ему никогда не приходилось создавать комсомольскую организацию и посоветовал мне действовать по обстановке и не робеть.

Легко сказать “по обстановке”! А как именно? Самое печальное для меня было то, что ребята ожидают специалиста из Томска, а придет плохо одетый и не очень развитый школьник из восьмого класса, который, хотя и учится на отлично, но ровным счетом ничего не знает из того, в чем нуждались разбитные деревенские ребята и о чем просили помощи из города.

Однако пора собираться. До отказа набиваю сеном кроличьи клетки. Вместо воды накалываю большие куски льда. Зачем я держу этих ушастых затворников, не знаю. Наверное, потому что соседка Анна Михайловна подарила мне четыре стандартные кро-личьи клетки, сделанные по всем правилам звероводства. Еще, наверное, потому что очень люблю этих забавных и безобидных зверюшек. Особенно мне нравилось смотреть, как быстро исчезает за их рассеченной губой длинная соломинка, которую они грызут с непостижимой быстротой.

Вместе с клетками Анна Михайловна подарила мне и кроликов. Было их штук шесть красивой породы шиншилла. Я их кормил, чистил клетки, но никогда не убивал на мясо. Приплод я отдавал своим приятелям, которые иногда приносили мне хорошо выделанные шкурки.

Во время я очень увлекался всевозможным оружием, химией, работал на добровольных началах помощником киномеханика в Доме Крестьянина, много занимался фотографией. Времени на кроликов просто не хватало, и я частенько задумывался над тем, что ушастиков пора ликвидировать. Я бы это сделал, наверное, давно, но не хотелось огорчать Анну Михайловну, которая вскоре стала мне доброй мачехой.

Теперь же, когда я был вынужден на несколько дней уехать из дома и зверюшки останутся без присмотра, я твердо решил, что пришла пора это сделать. Мне достаточно Трезорки, который тоже приносил мне много радости, но за которым нужен постоянный уход, так как он сидит на цепи. Особенно много удовольствия мне доставляло отпускать его на волю: он бесновался от радости, делая большие круги на огромной скорости и периодически сильно ударяя меня передними лапами в грудь. Он так бурно переживал чувство свободы, что я, глядя на его восторг, начинал испытывать какое-то тихое внутреннее счастье. Надо сказать, что Трезорка, набегавшись, легко давался в руки, чтобы вновь надолго застегнуть на его ошейнике карабин. Он не представлял себе жизни без цепи. Кроме того, он с позднего вечера до раннего утра бегал по блоку вдоль двора.

Настал день, когда я должен был отправиться на вокзал и ехать в Межениновку. В ту пору эта станция-минутка означала для меня примерно то же, что сейчас Хабаровск или Владивосток. Сердобольная и внимательная Анна Михайловна собрала мне на дорогу кое-что из еды, и я отправился в дальний путь. Я уже рассказывал, что никогда до этого не ездил по железной дороге.

Слушая разговоры взрослых, в которых они то и дело называли номера поездов, я думал, что они называют номера паровозов, и очень удивлялся их необычайной памяти: ведь паровозов, что лошадей, хотя и намного меньше. И сейчас, купив билет, я пошел к паровозу, что усиленно пытел и дымил в голове состава, в надежде прочесть его номер. Но на будке машиниста я прочел закопченное клеймо: "Серия ОВ" и дальше шел длинный номер. Меня это крайне смутило, и я пошел к дежурному по вокзалу, который стоял с красной повязкой на рукаве у начищенного до самоварного блеска станционного колокола. Я спросил у него, какой номер поезда стоит на первом пути и готовится к отходу. Он назвал мне тот номер, который мне был нужен, и только тогда я спокойно пошел к своему вагону. Меня еще долго смущало несоответствие номера поезда номеру паровоза, пока позже я не разобрался, в чем тут дело.

Три раза прозвенел колокол, гулко свистнул паровоз, и с нарастающей частотой застучали колеса. За окнами вагона побежали телеграфные столбы,

провода на которых то быстро опускались, то также быстро поднимались. Еловый лес с белыми шапками на деревьях порой вплотную прижимался к линии телеграфных стол-бов, а иногда вдруг убегал далеко к горизонту и глазам представлялся сверкающий простор заснеженных полей.

Я впервые смотрел из окна идущего поезда, и все мне было очень интересно. Но все же верх брали грустные размышления о том, что же я буду делать в этом Закутином Яру... Так прошло около двух часов, пока перестук колес на стыках стал реже и кондуктор громко объявил:

– Станция Межениновка. Стоянка поезда две минуты!

Схватив узелок с провизией, я быстро пошел к выходу. Когда вагонные тормоза отскрипели свою унылую песню, я спрыгнул с подножки на перрон и, щуря глаза от яркой снежной белизны, оглядел кро-хотную станцию. Рядом с желтым станционным домиком у бревна коновязи стояла худющая рыжая кобылка, запряженная в розвальни с несуразно широкими деревянными полозами на очень высоких копылках. Наметанным глазом кузнечного подмастерья я сразу определил, что это дровни, то есть сани специально сделанные для езды по глубокому снегу при вывозке дров из леса или сена с полей. На дровнях лежал клок сена. Хозяин этого “рысака,” наверное, грелся у печки в домике, из маленькой жестяной трубы которого поднимался хилый дымок. Идти в домик не хотелось: возница сам должен выйти навстречу единственному человеку, ко-торый спрыгнул с поезда. Подойдя ближе к подводе, я, от нечего делать, стал рассматривать убогую клячу с выпирающими ребрами и провисшей спиной, будучи уверен, что эту животину, впряженную в такой роскошный экипаж, подали за мной.

Кобылка была в летах и стояла широко расставив передние но-ги, как обычно стоят старые лошади. Видно было, что она давно не кована, так как копыта, особенно на передних ногах, пред-ставляли собою растоптанные лапти. Сразу пришла на ум мужицкая прибаутка:

*... Уши врозь,
Дугою ноги
И как будто стоя спит ...*

Вспомнилась и другая:

*...Ни сопата, ни горбата, животом
не надорвата
Под гору без кнута бе-жит ...*

Когда же тепло вагона сдуло с моей лопатенки (так бабушка Степанида называла неказистую одежду), и первые мурашки холода побежали по спине, я с тревогой посмотрел на тощий клок сена на санях и подумал, что если ехать на голых досках, можно запросто околеть.

– Тулуп-то возница верно греет у печки, чтобы дать мне его тепленьким, – размечтался я, с удовольствием подумав о тепле.

Однако, время шло, и я уже основательно промерз. Решив сам отыскивать возницу, я отправился к станционной теплушке. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как дверь ее открылась и в густых клубах теплого воздуха из нее вышла молодая женщина, одетая по-городскому. Когда мы с ней поравнялись, она поверну-лась ко мне и спросила:

– Слушай, парень! Не ты ли должен ехать в Закутин Яр?

– Да, – ответил я без энтузиазма, сразу сообразив, что она приехала за мной, что никакого тулупа нет, и придется ехать в такую даль на голых досках.

– Тогда поехали. Дорога неблизкая!

Говорила она каким-то жестяным голосом, в котором чувствовалась плохо скрываемая не-доброжелательность. Женщина отвязала лошадь от изгрызенного бревна коновязи и встала на доски саней, упершись коленями в передок. Я примостился сзади. Возница подергала вожжами, чмокнула, и мы тронулись. Когда пошла разбитая дорога и сани стало бросать из стороны в сторону, возница опустила на колени, присев на валенки.

Несмотря на то, что кобылка, отдохнувши на станции, шла довольно резво, женщина, как заведенная непрестанно понукала ее и дергала вожжи.

Я, хорошо знавший лошадей и конный извоз, сразу понял, что возница взялась не за свое дело. Невольно вспомнил маму. Как она не только умело, но и ловко все делала! И запрягала и ездила. В этом деле она иных мужиков могла за пояс заткнуть, как часто говаривал мой отец.

Едем чистым полем. Метет сильная поземка, то и дело бросая в лицо густой рой колких снежинок. Дорогу перемело. Ее сильно раскатали и потому наши дровни без железных полозов ударяются то в левую, то в правую колею, и мы должны крепко держаться за прясла, чтобы не вылететь в снег.

Возница упорно молчит, и это молчание давит меня как-то даже физически. Молчу и я. Вести разговор со взрослым человеком, так, ни о чем, для приличия, я не умею. Тем более, что чувствую ее явное нежелание говорить со мной.

Постепенно я промерзаю до костей. Особенно замерзли руки. С нетерпением жду, когда дорога пойдет лесом и ветра не будет. Впереди маячила темная гряда тайги. Холод уже забрался и за голенища пимов, которые я ношу на босу ногу, без портянок. Сказать женщине, что я замерз – стесняюсь. Мартовский морозец эдак под двадцать градусов и пронизывающий ветер делают свое коварное дело. Я замерзаю окончательно, чувствуя озноб по всему телу, и начинаю тихо паниковать. Ко всему прочему я сижу практически на голых досках, хотя женщина и оставила мне более половины того клочка сена, что был в дровнях.

Возница молчит, продолжая непрестанно понукать лошадь и дергать вожжи. Можно было подумать, что в Межениновку она ездила за каким-то узлом или ящиком, и вот теперь везет его в деревню и молчит: не будешь ведь разговаривать с поклажей.

Несмотря на то, что все мои чувства скованы холодом, и я занят только одной мыслью – как согреться, все же замечаю, что наша кобылка шагает, как на ходулях, ноги ее все чаще разъез-жаются и она сбавляет ход. Я посмотрел на ее копыта и ужаснулся: дороги они уже не касались, и лошадь упиралась на прочные натоптыши из утрамбованного снега, которые образовались под копытами. Надо немедленно сбить эти заледенелые комки, а иначе лошадь скоро не сможет подняться даже на незначительный угор и притормозить на спуске. Так же надо было укоротить шлею, так как всякий раз, когда дорога шла под гору и женщина придерживала лошадь, хомут съезжал с шеи бедного животного и повисал на ушах.

Когда я уже совсем было собрался сказать женщине, что надо сделать, я замерз настолько, что, уже не думая ни о чем, спрыгнул с саней и побежал вприпрыжку, ожесточенно дыша в сложенные варежки. В первые минуты бега всегда кажется, что стало еще холоднее. Но я знал, что это чувство обманчиво и надо терпеливо прыгать и тогда холод постепенно отступит. Возница моя по-прежнему молчит. Она лишь на мгновение повернула голову, когда я спрыгнул на дорогу.

Однако далее произошли события, которые резко изменили картину происходившего. Началось с того, что рассупонился хомут, и дуга упала на загривок лошади. Женщина резко натянула вожжи и громко закричала:

– Тпру-у, тпру-у, окаянная! Чтоб тебе ни дна, ни крыши! Ну, за что мне такие мучения! Сам бы ехал, идол проклятый, а не посылал кого попало, – в сердцах ругала она кого-то, кто, видимо, принудил ее к этой поездке.

В голосе женщины было столько отчаяния и безысходности, что, казалось, она встретила на дороге бездонную пропасть, которую ни объехать, ни обойти... Когда лошадь остановилась, женщина выскочила из дровней и, проваливаясь в рыхлом снегу обочины, пошла вперед. С гримасой отчаяния она остановилась у оглобли, с которой уже соскочил гуж.

– Провалился бы в тартарары этот “Светлый путь” со своими дохлыми клячами и рваной упряжью, – запричитала, чуть не плача, женщина, безуспешно пытаясь установить дугу на место. У нее ничего не получалось и не могло получиться, так как заложить ее она пыталась совсем не так, как следовало. Да и супонь она полностью не смотала, из-за чего хомут не расходился на всю ширину. Вовсе отчаявшись что-либо сделать, она заплакала и заголосила:

– Да что же это за проклятая власть такая! Всех мужиков на Колыму да в Нарым, а мы, бабы, тут маемся! – Плача и ругая на чем свет стоит и власть, и

колхоз, и какого-то безголового пьяницу, она с возрастающей настойчивостью пыталась наладить упряжку. Но у нее то падала в снег оглобля, то дуга заваливалась на загривок либо на нос лошади. Было видно, что она сильно замерзла и руки в тонких перчатках ее уже плохо слушались. То и дело она дышала на них и совала под пальто, прижимая к груди. После очередной безуспешной попытки сделать что-то путное, она уже без слез, но с гневом запричитала:

– Крепка у нас только советская власть, да черт ей рад! (*“Крепка советская власть, да черт ей рад”* – распространенное в ту пору ругательство в адрес властей, ставшее поговоркой у простого люда).

– Каким был Закутин Яр! А теперь все пошло прахом: ни добрых коней, ни работающих мужиков. Осталась одна пьянь комбедовская (в комитеты бедноты выбирали только мужиков, не имевших своего достаточно крепкого хозяйства). Что бы их всех приподняло да как следует ударило.

Много слышал я ругани по поводу Советской власти. Но с такой обозленностью против существующих порядков я столкнулся впервые. Мне казалось, что я даже слегка пригибаюсь, когда над моей головой, убежденной в правоте нашего дела, пролетали как снаряды, гневные слова “классового врага”, как я сразу же окрестил эту угрюмую и злобную женщину.

Но все эти события с упряжкой и ругань возницы все же как-то поверхностно касались моего сознания, так как я до невозможности замерз, без конца прыгал и дышал на вконец окочевшие руки. Женщина по-прежнему меня не замечала, и я, прыгая как подраненный заяц, молча наблюдал эту горестную сцену отчаяния.

Но вот я почувствовал, что руки мои стали постепенно отходить, и холод вроде выбрался из-под пальтишка, на ногах повисли пальцы. События стали как бы более реальными, и прежний туман безразличия к происходящему стал рассеиваться. Это позволило мне пересилить робость и стеснительность перед слабой, но, видимо, властной женщиной. Я подошел к ней и неуверенно сказал:

– Давайте я сделаю... Я это умею... У меня отец кузнец...

Женщина так недоуменно посмотрела на меня, будто я появился здесь совершенно неожиданно, вроде бы с неба свалился. Она сильно округлила глаза и молча отошла от лошади. Но по ее поведению я понял, что она как бы сказала:

– Давай, попробуйся, если действительно можешь...

Наверное, иного выхода она не видела и к моему предложению отнеслась, как утопающий к соломинке. Меня подбодрило то, что в глазах возницы промелькнула добрая искорка. Но, возможно, мне показалось, так как смотреть ей в лицо я стеснялся и наши глаза встретились лишь на мгновение.

Я как можно бодрее подошел к несчастной кобылке, которая тоже порядком продрогла, пока женщина возилась с упряжкой. Первым делом я похлопал ее

по холке, как обычно это делают добрые мужики, желая подбодрить или приласкать коняку. Потом я подтянул чресседельник, подняв этим оглобли до уровня гужей на хомуте, и полностью смотал супонь, чтобы облегчить закладку дуги. После этого я быстро и без труда установил дугу и запро-вил соскочивший с оглобли гуж на место. Сделав это, я уже уве-ренно перешел на правую сторону, накинул две петли супоня на хомутины, уперся ногой в хомут и до упора стянул его половин-ки. Затем я быстро намотал оставшуюся часть супоня и надежно заправил его конец. Теперь осталось укоротить шлею, что я и сделал, застегнув ее ремни к пряжкам хомута на последние дыр-ки. Закончив с упряжкой, я взглянул на женщину. Она смотрела на меня с благодарностью, видя, что лошадь запряжена по всем пра-вилам.

– Теперь надо бы сбить натоптыши с копыт, – сказал я уже то-ном завязтого возчика.

– Давай, сбивай, раз умеешь, – с готовностью согласилась женщина. Краем глаза я заметил, что она уже с интересом рассматривает меня, как обычно рассматривают инопланетян. Я знал, что для очистки копыт на передке саней должен на веревочной петле висеть специальный железный молоток в виде зубила с руч-кой. За зиму мы с отцом и Мишей ковали сотни таких молотков.

Осмотрев передок, я ничего не обнаружил. Но, пошарив рукой в толстом слое сенной трухи на досках дровней, я с радостью на-щупал кусок старого санного полоза. Это было уже что-то! Поды-шав на вновь заочневшие руки, я взял эту железку и, переходя от копыта к копыту, стал сбивать натоптыши. Лошадь с готов-ностью давала ногу, когда я по ней постукивал ладонью. Я укладывал ее на колено и сильными ударами выколачивал из копыт крепкие, как бетон, ледышки. Сибирские лошади привыкли к этой операции и ждали ее, так как натоптыши больно давили на мягкую стрелку копыта, и лошадь уже не могла прочно ставить ноги на укатанную дорогу.

Очистив копыта, я снова похлопал лошадь по холке, как бы подводя итог проделанной мною работе. Только на этот раз я об-ратил внимание, что наша смиренная кобылка взнудана: в рот ей, как горячему и строптивому жеребцу, заправили толстые железные удила. Женщина же, не умевшая управлять лошадьми, без всякой нужды непрерывно и сильно дергала за вожжи, раскровенив безро-потному животному уголки губ. Я мысленно обругал “специалис-та”, который взнудал спокойную лошадь для поездки по таежной дороге, где можно встретить только разве бездомную собаку. Разнудав лошадь, я, не смотря на глубокий снег, дотянулся до ближайшего куста, выломил длинный прут и положил его в пере-док. Когда мы снова уселись и поехали, я сказал:

– У вас мерзнут руки держать вожжи. Давайте их привяжем к головке дровней. Дорога здесь одна и править постоянно не надо. Если хотите, чтобы лошадь шла

быстрее, то замахивайтесь на нее, и она будет поторапливаться, а от постоянного дерганья за вожжи у нее губы в крови. Удила я вынул. Они ей ни к чему.

Женщина никак не отреагировала на мои слова, но ее молчание я расценил как согласие с моими суждениями.

Я уже немного освоился со своим новым значением в нашем немногочисленном экипаже таежного вездехода. Дрожь постепенно оставила меня в покое и я, усевшись поудобнее, стал смотреть на проходившие мимо хвойные великаны, вплотную стоявшие к до-роге, проложенной по узкой просеке. Лошадка шагала довольно резво и сама переходила на ленивую рысцу, когда шлея подталки-вала ее сзади на спусках.

Женщина, видя, что лошадь и без ее хлопот исправно исполняет свою роль, села лицом ко мне, откинувшись на передок. Те-перь я мог ее рассмотреть как следует, но стеснялся и делал вид, что внимательно смотрю вперед на дорогу. Я понимал, что долго так мне не продержаться, видя боковым зрением, что женщина внимательно смотрит на меня. Наконец, я не выдержал, и наши глаза встретились... К моему удивлению передо мной сидел совсем другой человек с добрым улыбочивым лицом и с добры-ми-предобрыми глазами, в которых нетрудно было заметить учас-тие.

– Как звать-то тебя, паренек? – ласково спросила женщина. Я хотел сказать Лев, но постеснялся своего имени и назвался Лёней.

– Зачем же, Лёня, несет тебя нелегкая в наш медвежий угол? Да еще в такую пору? Недаром ведь говорят, что в сибирский марток оденешь трое порток! Она немного помолчала и сказала:

– Меня зовут Антониной, Антониной Васильевной, – уточнила она. Взгляд ее сделался более сосредоточенным, и было видно, что она приготовилась внимательно выслушать мой ответ.

– Меня школа послала выполнять комсомольское поручение – оказать помощь ребятам Закутина Яра создать школьную комсомольскую организацию. Но вы, Антонина Васильевна, не подумайте, что я какой-то комсомольский активист. Я в этом деле ровным счетом ничего не понимаю. Просто вызвали в учительскую вроде как отличника учебы и дали поручение... Меня самого только этой осенью в комсомол приняли.

– Вот лодыри, вот бездельники! – неожиданно для меня взорвалась Антонина Васильевна.

– Подавай им городского комсомольца, а то они сами не могут организовать! Да было бы желание – больше ничего не надо! Лешка Портнягин - вожак у наших ребят. Грамотный и порядочный парень. Вот бы и поставили его во главе, да принялись за ком-сомольские дела. Нет, им все усложнить надо, развести говорильню. Теперь всякие лозунги и говорильня в почете. Тошно от этого: вместо дела – одни слова...

Она на минутку замолчала, видимо обдумывая, что мне еще сказать. Пользуясь возникшей паузой, я обратился к ней с вопросом, который “гвоздем” сидел в голове и не давал покоя:

– А за какие дела, Антонина Васильевна, по- вашему, им следует браться?

Я быстро смикитил, что она вмиг решит мою задачу, к которой я не знал даже как подступиться, с чего начать работу новой комсомольской организации.

– Тут и думать нечего! Первым делом надо напилить и нако-лоть побольше дров и привезти их во двор избы-читальни. Орга-низовать в ней по вечерам дежурство ребят да пожарче топить печь. На тепло люди сами потянутся. Надо собрать побольше книг для читальни. Пусть кто хочет читает в избе, а кто берет домой. Дежурный будет выдавать книги и записывать.

– Да мы в своей школе наберем много книжек, – сразу воодушевился я этой идеей.

– У горожан обычно много книг и журналов зря на полках пылятся, – поддержала Антонина Васильевна и продолжала:

– Важной работой для деревенских комсомольцев будет и уста-новка детекторных приемников в избе-читальне. Стоят они не та-кие уж большие деньги, а послушать радио хотят не только моло-дые, но и старики.

Когда Антонина Васильевна заговорила о приемниках, то я просто загорелся. Этим я очень интересовался. Что такое детек-торные приемники и как их сделать самому я хорошо знал. В прошлом году мужики из деревни, в которой мы раньше жили, при-везли по заказу отца две высоченные мачты из тонких елей, ка-кие обычно растут в глухом лесу, стремясь вытянуться как можно выше, чтобы хотя верхушку выставить на солнце. Мы с братом надежно закопали их в землю, натянули антенну и спуск, а также сделали хорошее заземление, зарыв поглубже старый самовар.

Брат раздобыл где-то старые наушники, а главную деталь приемника – кристалл детектора из сплава свинца с серой, который и “ловил” радиоволны, мне помог сделать Натан Опанский – толковый парень из десятого класса, которому я по вечерам помогал “крутить кино” в Доме Крестьянина.

– Поставить радиоприемники в избе-читальне – это будет прекрасно, – с воодушевлением сказал я. Как их сделать самим, я хорошо знаю и могу помочь ребятам советами.

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление и рассказать немного о том, с чего начиналось мое радио. Им мы увлеклись вместе с моим приятелем Колей Шелудяковым, который жил на пер-вом этаже нашего дома. Когда после почти года стараний у нас “заговорили” самодельные детекторные приемники, мы с ним реши-ли на этом не останавливаться и сделать для громкого приема

усилитель низкой частоты на широко тогда известной радиолампе УБ-110. Собрали деньжат и побежали в центр, в магазин радиодеталей. Там этих ламп не оказалось, и мы кинулись в комиссионку, расположенную напротив. Вошли в большое помещение, наполненное запахом старинных домашних вещей, где стояли граммофоны с огромными трубами, висели всевозможные музыкальные инструменты, рядами стояли гармошки и красивые заграничные аккордеоны. В отделе радиоприемников и деталей к ним мы увидели усилитель, который хотели сделать сами. Это был небольшой красивый ящик из красного дерева, на верхней панели которого красовалась нужная нам лампа. Замечу, что на заре развития бытовой радиоэлектротехники особенно красивые их детали использовались в качестве украшения всего изделия и ставились снаружи на самом видном месте. Очень красиво смотрелся тогда телеграфный аппарат Морзе, ламповые радиоприемники и телефонные аппараты. Вся аппаратура была иностранного производства. В 1936 году, когда я поступил в военное училище, то там были также иностранные телефонные аппараты английской фирмы “Ордонанс” и светотехнические средства связи фирмы “Люкас”. Свои телефонные аппараты мы получили только в 1938 году.

Но вернусь в комиссионный магазин. Прочитав ценник и поняв, что усилитель нам не по карману, мы еще немного потолкались там, разглядывая красивые и дорогие вещи. Я застрял у пишущих машинок, которых было великое множество от больших и громоздких до совсем маленьких с мелким шрифтом. Еще раз окинув взором великолепие выставленных на продажу вещей, я стал искать приятеля. Увидел я его уже на противоположной стороне улицы. Он весело улыбался и отчаянно махал мне рукой. Когда я подбежал к нему и мы направились домой, он с таинственным видом запустил руку в карман и вынул... радиолампу, ту самую усилительную, которая нам была нужна и которая совсем недавно красовалась на верхней панели красивого ящичка: пока я рассматривал машинки, Коля улучил момент и вынул лампу из усилителя. Я уже как-то рассказывал, что Коля никогда не покупал книг: он просто уносил понравившиеся ему экземпляры из магазина. Воровал он виртуозно: брал и прятал под рубаху, в карман или за пояс штанов очень спокойно, ничем себя не выдавая. Он мастерски выбирал момент для кражи, что исключало всякую возможность быть пойманным на месте.

— Второй лампы не было. Придется делать пока один усилитель, — сказал мой приятель — А там посмотрим. Может быть сходим в другие комиссионки, — закончил он, весело смеясь.

Теперь для постройки усилителя надо было сделать или подыскать подходящий ящик. И тут меня бес подтолкнул: я вспомнил, что на чердаке нашего дома лежало много икон, которые там ос-тались от старых хозяев,

вынесших их туда из квартир, когда началась неистовая борьба с религией. Некоторые иконы были просто написаны на досках, а многие имели посеребренные или позолоченные оклады и были помещены в красиво сделанные застекленные футляры из красного дерева. Только теперь я представляю себе, как переживали люди, унося дорогие их сердцу иконы на чердак, где обычно царил мерзость запустения. Но власти считали своими потенциальными врагами тех горожан, у кого на божницах было много икон и особенно, если перед ними горела неугасимая лампада. И люди боялись навлечь на себя их гнев...

Недолго думая, я забрался на чердак и быстро распотрошил одну икону, у которой был особенно красивый футляр...

Заканчивая это небольшое отступление от повести, скажу, что усилитель мы с Колей так и не собрали: не хватило ни знаний, ни нужных деталей. Но несмотря на то, что футляр иконы я перекрасил и укрепил сверху на задней его стенке усилительную лампу, бабушка Степанида долго приглядывалась к моему детищу, пока, наконец, не задала коварный для меня вопрос:

— Лева! А где ты такой ящичек взял?

— Сам сделал, — не задумываясь, соврал я. Однако уши у меня мгновенно вспыхнули и я даже почувствовал идущий от них жар.

— А как ты сумел так закруглить углы, да еще и на шипах соединить такие тонкие досточки? — унималась бабушка.

— Вот сумел, — сказал я неуверенно и замолчал, опустив голову, чтобы не видеть бабушкиного лица. Она еще долго стояла на-до мной молча, видимо желая заглянуть мне в глаза и вызвать на откровенный разговор. Но, встретившись с моим упорным молчанием, она тяжело вздохнула и пошла, шепча какую-то молитву.

Однако, на этом дело не закончилось. Несколько дней спустя, когда мы с бабушкой были дома одни, она подозвала меня к себе, положила руку на плечо и мягко заговорила:

— Лева, родной! Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, как любила тебя твоя покойная мама — дорогая дочка моя, голубушка сизокрылая. Но я тебе все же должна сказать, что Бог тебя непременно накажет, если хотя бы в душе не покаешься за содеянное: я ведь хорошо знаю, откуда у тебя тот ящичек, который ты приспособил под радиову... Лазила я на чердак и, прося у господина прощения, завернула остатки той иконы в чистый платок.

Сказав это, она с горьким вздохом пошла в большую комнату, где в углу одиноко висела икона Богородицы с младенцем на руках, и стала горячо молиться, прося, видимо, Царицу Небесную не карать строго ее непутевого внука, который не ведает, что творит...

Продолжая разговор с Антониной Васильевной о том, чем следует в первую очередь заняться комсомольцам ее деревни, я сказал, что проще всего купить готовые приемники в городе, а все остальное - мачты, антенны, заземление ребята могут сделать сами. Да и приемники-то, по сути – пустые коробочки. Только и деталей, что наушники да кристалл детектора для поиска волн.

– Леня! А в каком ты классе?

– В восьмом.

– А дальше как думаешь?

– Мне бы хотелось закончить десятилетку и поступить на химический факультет Томского университета. Но отец говорит, что не пустит меня в девятый класс. Старшего брата призвали в армию, и отец остался без молотобойца. Вот он и хочет, чтобы я заменил его в кузнице. Если отец будет настаивать, то я поступлю в военное училище. Я хочу учиться, а кузница от меня никуда не уйдет. Совсем недавно у нас было комсомольское собрание, и нам зачитывали обращение наркома обороны к старшек-ласникам, в котором он призывал ребят поступать в военные училища. Мне особенно нравится авиация...

Антонина Васильевна долго молчала, растирая замерзшие руки, а потом, как бы рассуждая сама с собою, тихо, но жестко заговорила:

– Странное дело: одни родители заставляют детей учиться, так те не хотят, у других родителей дети рвутся к учебе, но их не пускают. Темнота наша и невежество – причины той и другой крайности. Когда, наконец, русский мужик “Белинского и Го-голя с базара понесет?” – задумчиво заключила Антонина Васильевна словами поэта. Потом она на минутку привстала, поправила под собой пальто, уселась поудобнее и продолжала:

– В радиоделе ты, видимо, неплохо разбираешься и сумеешь рассказать нашим ребятам, что и как надо делать. Но главное внимание они должны уделить борьбе с неграмотностью. – Сказала она это с большой уверенностью, и было видно, что в этом она глубоко убеждена.

Я невольно вспомнил печальный эпизод, связанный с моей неудачной попыткой обучить грамоте бабушку Степаниду. Но тотчас подумал, что если подойти к этому важному делу поаккуратней, то и среди пожилых людей найдутся желающие научиться читать и писать письма, читать газеты и книги.

– Еще сейчас в моде, – продолжала Антонина Васильевна, – борьба с религией и пьянством. Так вот тебе и нашим будущим комсомольцам советую верующих не задевать, не кричать на каждом углу “Долой религию!”, “Религия – опиум для народа”. Религия, Леня, – это, по сути дела, образ мышления и жизни миллионов людей, который складывался веками и который в одночасье не изменишь. Борясь с религией напролом, вы только наживете

себе врагов. А это очень опасно. Не исключено, что оскорбленные верующие, особенно фанатично верующие, могут пустить в избучитальню “красного петуха” А кому от этого польза? Надо вести свои комсомольские дела так, чтобы с населением деревни устанавливались добрые отношения, а не напряженность и вражда.

– И с пьяницами не советуи нашим ребятам особенно воевать: пока в деревне есть мужики и пока жизнь в ней не изменится к лучшему – они будут пить. С этим злом вы тоже враз ничего не измените. Это, к сожалению, также образ нашей жизни. Водка и самогон у нашего народа, можно сказать, в крови. Традиция выпивать по всякому случаю и просто так без всякой причины. А традиция, Леня, – это страшная сила. Тут по-скорому ничегошеньки не сделаешь, никакого указа не издашь! Только со временем, когда горожане и сельские жители в большинстве своем станут культурными людьми, все изменится к лучшему: не будет ни слепой веры в сверхъестественные силы, ни беспробудного пьянства. Но это у нас будет лет этак через сто, а то и более, – безрадостно закончила моя собеседница и тяжело вздохнула.

Чем больше я слушал Антонину Васильевну, тем все более укреплялся во мнении, что она, конечно, коренная горожанка и приехать в этот забытый Богом и людьми угол ее, видимо, вынудили власти.

Взглянув на впереди бегущую дорогу, я заметил, что она раздваивается.

– Впереди развилка! Нам куда?

– Направо, – ответила Антонина Васильевна и слегка потянула правую вожжу.

– Леня, – после минутного молчания возобновила разговор Антонина Васильевна. – Ты, пожалуйста, не подумай, что я на голых санях за тобой поехала этакую даль. Сена я положила полные сани. Ехала припеваючи и даже немного вздремнула, пригревшись. Когда я приехала на станцию, то у коновязи увидела подводу с пустыми санями, в которых лежала только большая березовая чурка. Я еще подумала, что, наверное, хозяин сидит на этой чурке и управляет своим рысаком. Мне эта выдумка даже понравилась. Теперь я более, чем уверена, что этот мужик и переложил мое сено в свои сани пока я грелась в станционной избушке. Не сомневаюсь, что это был подлый человек, скорее всего, пьяница. Настоящий мужик, сибиряк, никогда так не сделает. Возьми, к примеру, таежного охотника. Если он зашел переночевать в чужую промысловую избушку, то и дров после себя оставит и провизией поделится. У сибиряков и иных лесных людей промысловые избушки никогда на замок не закрываются. Только щеколда да сучок в пробое – вот и весь затвор. А этот мужичишко – вор. Для него за-конов чести не существует.

Я понимал, что женщина переживала за меня и потому так горячо говорила о порядочности коренных сибиряков и ругала пло-хого человека, по вине которого мы не смогли подкормить лошадей и сами промерзли до костей.

– Леня, дорогой! Я вижу, что ты очень замерз, – участливо сказала Антонина Васильевна. – Потерпи еще немного, мы скоро приедем. Но ты еще раз соскочи с саней и пробегись как следует, а я подгоню Касьянку. Пусть бежит рысью.

В первый раз женщина назвала лошадь по имени, и от этого стало как-то уютнее в наших холодных санях. На одну живую душу нас стало больше: кобылка перестала быть безымянной тягловой силой, превратившись в Касьянку, к которой можно было относиться только с пониманием и уважением.

Я действительно промерз до мозга костей и потому быстро последовал доброму совету Антонины Васильевны. Видя, что я спрыгнул с саней, она высоко подняла прут, помахала им, крикнула “А ну пошла, родимая!”, и Касьянка, ускорив шаги, перешла на легкую рысь. Для того, чтобы лучше согреться, я немножко пробежал в обратную сторону, а потом уж помчался догонять да-леко уехавшую подводу. С трудом догнал я сани и как сноп завалился в них, тяжело дыша от быстрого бега. Постепенно сердце успокоилось, и по телу стала разливаться приятная теплота.

– Как Вы назвали нашу красавицу? – спросил я, желая поговорить о лошадях, которых я очень любил.

– Касьянка, – ответила Антонина Васильевна, улыбнувшись. – Конечно, для лошади это имя не совсем подходит. Обычно имя выби-рают по масти, но ее в колхозе все так называют. Раньше она принадлежала крестьянину Егору Касьянову. Во время коллективизации его принудительно пытались записать в колхоз. Но он воспротивился, хотел вести единоличное хозяйство. За это его объявили кулаком и вместе с семьей сослали в Нарым. Дом и хо-зяйство растащили, а кобылка стала колхозной, значит, бесхозной, ничьей. Сам видишь, что ее плохо кормят, сбруя собрана с разных упряжек, ну а о дровнях и говорить не приходится. На такой лошади и с такой упряжью не только на станцию, а со дво-ра выехать стыдно. Касьянкой же кобылку назвали в память о ее прежнем хозяине. Хороший был человек, хорошее было хозяйство, хорошая работящая была семья! Да! Все это было... было..., а те-перь быльем поросло.

– Леня, а кто твои родители? – спросила Антонина Васильевна, побуждая меня к доверительному разговору теплым выражением больших глаз, опущенных длинными заиндедевшими от мороза ресницами.

– Отец мой – кузнец. У него своя кузница. Работает он по бесплатному инвалидному патенту, как кустарь-одиночка. Мама умерла в двадцать девятом году. Недавно отец женился на вдове врача, который умер в один год с мамой. Мачеха, Анна Михайлов-на, очень хороший человек. Но семья наша большая – семь человек – и ей приходится тяжело.

– Отец много зарабатывает?

– Много. Но беда в том, что больше уходит на водку, чем на семью, на хозяйство.

Я вижу, с каким сочувствием моя собеседница смотрит на мои стоптанные и сто раз подшитые пимы, на жалкое пальтишко, на ватную шапку, к которой я сам пришил козырек из кроличьей шкурки, на вязанные коротенькие рукавички, обшитые поверх грубой холстиной, почерневшей от кузнечной сажи.

– Если бы отец тратил заработанные деньги на семью, – вслух размышлялся я, – то все мы ходили бы в хороших пимах, теплых полушубках и меховых шапках.

Об этих теплых вещах я говорил, как о каких-то сказочных предметах: я никогда их не носил и каждую зиму ужасно мерз, ожидая как избавление от мук наступления весны.

– Ваша семья всегда жила в Томске? – задала Антонина Васильевна новый вопрос.

– Нет. До двадцать пятого года мы жили в деревне, в тридцати верстах от города, вверх по Томи. Дом и хозяйство в деревне отец продал, а кузницу разобрал и сплавил по реке в город, где купил небольшой дом. В деревне мы жили хорошо. У нас была лошадь, корова, овцы. – Хотел сказать, что еще были куры и гуси, но потом решил, что это несущественно.

– Вот, Леня, ты говоришь, что если бы отец не пил, то жили бы вы несравненно лучше. И это естественно: каждый человек хочет жить хорошо. А ты не подумал о том, если бы вы жили очень хорошо, то власти могли отобрать у отца и кузницу, и дом, а вас, как богатеев, сослали бы в Нарым или на Колыму комаров да мошкарку кормить. Ты здешний, сибиряк, и об этих страшных местах, думаю, слышан. А, спрашивается, за что?! – продолжала, волнуясь, Антонина Васильевна. – За то, что отец хороший специалист и хозяин и потому сделал свою семью зажиточной?! Кому он этим помешал или навредил?! Ты, Леня, не суди меня строго за то, что я, как ты, наверное, понял, не приемлю Советскую власть. Она жестоко обошлась с миллионами хорошо живших раньше людей, хотя они ничего плохого не сделали против новой власти и ее порядков.

С моим мужем и мной новая власть так же обошлась жестоко. О нем ничего не знаю: где он и что с ним. А я вот в этой глуши четвертый год маюсь...

Ты молодой человек, комсомолец. У тебя еще вся жизнь впереди. Но если бы вы задержались с переездом в город на три-четыре года, то отца твоего непременно бы раскулачили, ты стал бы сыном кулака, сыном классового врага, как теперь принято говорить, и твоя песня была бы спета. Об этом ты, Леня, никогда не забывай! Будь ты и о семи пядей во лбу – все пути тебе были бы

отрезаны. А к военной школе, куда ты, возможно, поступишь, тебя и на пушечный выстрел не подпустили бы. Ты, конечно, видел лошадей с клеймами на холке и знаешь, что они никогда не зарастают, так как выжигаются каленым железом. Точно так же власти клеймят всех неугодных ей людей.

– Подумай только, Леня, – все более волнуясь, продолжала она, – ведь ваша семья уцелела совершенно случайно, вовремя уехав из деревни. Но ведь отец, переехав в город, не изменил своего социального положения: и в городе у него есть свой дом, своя кузница... Что же это за порядки в стране, что за власть, если судьба граждан, даже их жизнь, зависит от случая?! Выходит так: что хочу, то и ворочу! Где же права людей, где справедливость, где же, наконец, обычная человечность?!

Я слушал взволнованную речь Антонины Васильевны, находясь в железобетонном колпаке своих коммунистических убеждений. Но ее справедливые и безжалостные суждения, словно тяжелым молотом, били по моему непрошибаемому укрытию и заставляли содрогаться.

– Слава Богу, что вы уехали из деревни до коллективизации! В городе, как ни говори, власти все же придерживаются пусть плохого, несправедливого, но закона. В деревне же все знают друг друга и при удобном случае сводят счеты, прикрываясь лозунгами нового строя. Ты с этой стороны деревни не знаешь. И хорошо, что не знаешь.

Я прекрасно понимал, что все сказанное моей собеседницей было сущей правдой. Но она как умный и грамотный человек говорила особенно убедительно, показывая несправедливость власти на примере нашей семьи. По сути же дела и простые люди точно так же оценивали происходившие в стране события.

Как-то крестьянин, с которым мы в деревне жили по соседству, приехал в кузницу подковать коня и выправить тележный шкворень. Он много порассказал о горестных событиях в Батуриной. Прощаясь, он как бы подытожил:

– Так что, Ларивоныч, считай себя родившимся в рубашке! Замешкался бы с переездом в Томск – каюк был бы тебе верный в нашей Батуриной! Закулачили бы тебя и сослали, куда ворон костей не заносил!

Я был непоколебимо уверен в правоте Советской власти. В то же время у меня на глазах все сильнее и жестокое ГПУ творило свои черные дела, которые оно все же пыталось как-то скрыть от народа. Но как можно сделать незаметным расстрел тысяч людей или скрытно на тысячах подвод вывезти в дикий болотный Нарым ссыльных и каторжан. “Золотари”, так называли тогда возчиков нечистот, по секрету рассказывали, что по утрам их часто встречали люди из ГПУ и указывали, в какой овраг надо опорожнять свои зловонные бочки. ГПУ

не отдавало трупов расстрелянных “врагов народа” и ночью их сбрасывали в эти ужасные овраги, откуда тела уже не могли забрать и похоронить по-человечески...

Тяжело было порой на душе от того, что жизнь как бы раздвоилась на “две правды”. Об одной я говорил смело и открыто, придерживаясь ее в своих взглядах и поступках. Другую хорошо знал, но не говорил о ней. Когда говорили другие, как вот сей-час Антонина Васильевна, — молчал...

Перед очередной развилкой моя возница слегка потянула вожжу и направила Касьянку на нужную дорогу.

— Преподал ты мне, Леня, хороший урок езды на подводе. Спасибо тебе за это! Когда умеешь, то и самому проще, и коню легче. Видишь вот ту темную рощицу прямо по дороге? За ней Заку-тин Яр. У нас еще есть немного времени, и я расскажу тебе об особенностях обучения грамоте взрослых людей, а ты это перескажешь нашим комсомольцам, когда будешь говорить о ликбезе.

Сказав это, она стала втолковывать простые, но очень важные правила обучения грамоте пожилых людей. Когда она закончила и повторила основные положения, я окончательно убедился, что она была долго учительницей и, видимо, работает ею сейчас.

— Вот и Закуток наш, — сказала со вздохом Антонина Васильевна, когда дорога выбежала на пологую гриву и перед нами отк-рылся вид на маленькую деревеньку, дворов на тридцать, которая одним боком прижалась к темной тайге. Почувяв близость своей конюшни, Касьянка зашагала бодрее и вскоре подвезла нас к не-большой избушке о двух оконцах. По светлым ошкуренным бревнам и клочкам свежего мха, торчавшим из неаккуратно проконопачен-ных пазов, я про себя отметил, что срублена она совсем недав-но. Из трубы избушки бойко поднимался ровный столбик прозрач-ного дыма. Значит, печка топится уже давно и в доме тепло. А это — самое главное для окоченевшего человека.

— Это наша изба-читальня. Там тебя ждут. Будь смелее, не робей! О чем с нашими ребятами говорить, ты теперь хорошо знаешь.

На прощание она с улыбкой протянула мне руку. Я неумело пожал ее и сказал спасибо за науку. Когда моя добрая возница повернула свою Касьянку к дороге, дверь избушки широко распах-нулась, и оттуда выскочил высокий с густой черной шевелюрой па-рень. Он подбежал ко мне и, подавая руку, радостно представил-ся:

— Портнягин Леша. — Я представился, в свою очередь отвечая на его рукопожатие.

— Ты, Леня, посиди в читальне и погрейся, а я мигом соберу ребят. — Последние слова Портнягин прокричал уже на ходу и вкоре исчез из вида, словно растворившись в морозном мартовском воздухе. Я вошел в избу, где

сразу попал в ласковые объятия теплого и сухого воздуха. На душе стало сразу радостно и я тотчас принялся развязывать заветный узелок: надо было успеть поесть до прихода ребят. По мере того, как я утолял голод и оттаивал, страхи стали постепенно исчезать, уступая место уверенности в успехе моей миссии. Как вести собрание и особенно как вести этот чертов протокол, я знал теперь твердо. Знал благодаря Антонине Васильевне и то, о чем говорить с деревенскими ребятами, которые вот-вот веселой гурьбой ворвутся в избучитальню. Я мысленно повторял ее советы, раскладывая их “по полочкам”, чтобы на собрании ничего не упустить. Но все же меня очень тревожил вопрос, с чего начать собрание. Уж очень был я слаб в этих делах. Но когда с десяток девчат и ребят ввалились в избучитальню, наполнив ее холодом, говором и смехом, меня внезапно осенила идея, которая показалась мне прекрасной: надо начать не с собрания, которое своей нудной официальнойностью может убить инициативу ребят, а с обычных в таком случае, разговоров “посланца из столицы” с местными аборигенами. Пока все рассаживались, кому где удобней, я утвердился в своем решении окончательно. Меня ребята посадили за отдельный столик впереди, отчего я периодически слегка краснел.

Когда мы перезнакомились, и веселый шум стал постепенно стихать, я начал претворять свою “идею” в жизнь.

– Ребята! Давайте сделаем так: вначале обсудим, чем по-вашему вы должны заниматься после создания комсомольской организации. Когда наметим эти дела и подберем ребят, которые возьмутся за них по своему желанию, выберем комсорга и его заместителей. Позже оформим протокол собрания, когда все уже будет ясно.

Несмотря на такой мой демократический ход в избе все же воцарилось тягостное молчание, чего я всего более опасался. Сразу сделался громким треск сырых поленьев, подброшенных кем-то в жарко горящую печь. Я все же посчитал, что делаю пра-Вильно, и продолжал:

– Для того, что бы упростить вопрос, допустим, что я живу в вашей деревне, и меня спросили, чем бы я, как комсомолец, хотел заняться вместе с другими. Я бы сказал, что было бы хорошо поставить в избучитальне детекторный радиоприемник.

Я сел на своего “конька”, на котором чувствовал себя уверенно и надеялся заинтересовать своих слушателей.

– Открытая недавно первая в Сибири радиостанция РВ-48 находится в Новосибирске. Это совсем рядом с вами. Томские радиолюбители шутят, что эту станцию и на валенок принимать можно.

Ребята дружно рассмеялись. Скванность у многих стала пропадать. Ребята, сидевшие у окошек, и усердно дышавшие на за-мерзшие стекла, чтобы поглядеть на улицу, бросили это бесполезное занятие и повернулись в мою сторону... Это была моя первая маленькая победа.

Позже Леша Портнягин рассказывал мне, что создать школьную комсомольскую организацию они пытались несколько раз, но решения собрания не выполнялись, и всеглохло. До комсомольских билетов дело даже не доходило. Поэтому, когда кто-то предложил написать письмо в Томский горком комсомола и попросить о помощи, многие отнеслись к этому как к очередной неудачной попытке организоваться.

Чтобы не упустить инициативу, я стал в деталях рассказывать, как сделать мачты, как их установить, как натянуть антенну и спуск, как сделать заземление, уберечь себя и приемник от удара молнии во время грозы. Разумеется, что не в этом состояла моя главная задача. Но ребята и даже девочки слушали заинтересованно. Лишь один вихрастый парень продолжал усердно скоблить лед на стекле окна и усиленно дышал на него.

— Теперь о приемниках, — продолжал я. — Стоят они недорого и колхоз, я думаю, даст вам денег на два-три приемника. В общем-то, детекторные приемники представляют собой пустые коро-бочки с детектором на верхней панели и гнездами для подключения антенны, заземления и наушников. Наушники — единственная важная деталь приемника, а кристалл детектора можно сделать самим, сплавив серу со свинцом. Как это все сделать, я могу рассказать, так как я уже сделал себе два таких приемника, — соврал я слегка для большей убедительности.

— Поставьте в читальне приемники, организуйте по вечерам дежурство. Дежурный комсомолец будет топить печь, показывать, как ловить волны на приемник. Дежурный будет также выдавать книги для чтения в избе или дома. Вот такое было бы мое первое предложение, если бы меня спросили. Давайте его обсудим.

Я попал в точку! Ребята дружно загалдели, обсуждая сказанное мною. Одни говорили, что видели совсем рядом с деревней очень высокие и тонкие ели для мачт, другие кричали, что знают, где взять моток хорошего медного провода для антенны (стоит у столба заброшенной телефонной линии), третьи утверждали, что надо непременно купить готовые радиоприемники, которые они видели в магазине культтоваров на станции Тайга.

— Ребята! — говорю я громче других, — Если вы принимаете это предложение, то пусть, ну хотя бы Леша Портнягин запишет решение собрания радиофицировать избу-читальню, указав сразу, кто делает мачты и натягивает антенну, кто делает заземление, кто покупает или делает радиоприемники.

Снова поднялся шум и гвалт. Ребята обступили Портнягина, крича ему, кто и за какую работу берется. Когда в избе воцарилась относительная тишина, и комсомольцы разошлись по своим местам, Леша с удовлетворением объявил, что все работы распределены в добровольном порядке.

– Пока, конечно, надо все подготовить: срубить мачты, ошкурить и просушить их. А ямы для них и для заземления можно будет вырыть только с наступлением тепла. Сейчас земля прочнее чугуна, сами знаете. А вот с покупкой или изготовлением приемников тянуть не надо. Хорошо бы к моменту установки антенны приемники стояли бы уже в избечитальне, – резюмировал я итог первого решения.

Почувствовав, что дело пошло, я неожиданно для себя предложил на полянке перед читальней сделать спортивный городок: вкопать два невысоких столба с перекладиной, на которой повесить трапецию, кольца и толстый канат для лазания. Все эти “спортивные снаряды” у нас во дворе стояли уже давно и мои предложения не были маниловщиной. Тем более, что такие спортивные городки были тогда популярны и строились повсеместно, даже в самых глухих деревнях. Поэтому я был уверен, что и это мое предложение будет ребятами принято.

Мой старший брат Миша установил у нас во дворе еще один “снаряд” – мачту “смерти”, до вершины которой редко кто мог вскарабкаться. Но от совета поставить и здесь такую мачту я воздержался: минувшим летом один парнишка сорвался с нее, ободрав в кровь руки и вывихнув ногу.

Как я и ожидал, никто не возражал против постройки спортивного городка и Леша, низко склонившись над тетрадью и часто обмакивая перо в полупустую непроливашку, записывал второй пункт решения собрания и фамилии ребят, пожелавших взяться за это дело.

По времени вроде надо было сделать перерыв, но я, окрыленный успехом, гнал вперед, уже не спрашивая ребят, чем бы они еще хотели заняться.

– Теперь еще об одном важном вопросе, который сейчас решают все комсомольцы в городах и селах – это ликвидация неграмотности среди взрослых и пожилых людей. Если вы не против, то я вкратце расскажу об этом.

Не услышав возражений, я как мог, пересказал ребятам то, что втолковывала мне Антонина Васильевна по дороге. Не забыл рассказать и о хорошем, хотя и неудачном, опыте научить грамоте свою бабушку Степаниду Григорьевну.

– Плохой опыт – это тоже полезный опыт, – сказал я назидательно, против услышанное где-то умное суждение.

– Главное, – слово в слово повторяя поучения Антонины Васильевны, продолжал я, – надо иметь в виду, что взрослые не совсем неграмотные. Они обязательно кое-что знают, и это необходимо выяснить в беседе с ними перед началом занятий. Заниматься следует с каждым отдельно, чтобы не ставить человека в неудобное положение, если он не знает чего-либо очень простого. Обучение надо начинать с того, с чего бы хотел начать сам обучаемый. Итак, один будет обучаться грамоте, другой – слушать радио, третий – читать газету или книгу. Вот так я думаю, ребята.

Снова слышался гул одобрения, снова Портнягин, прикусив губу, старательно записывает очередной пункт решения, опрашивая ребят, желающих работать в ликбезе.

– И последнее, ребята, что я вам хочу посоветовать относительно антирелигиозной пропаганды и борьбы с пьянством.

– Перед поездкой сюда со мной об этом долго говорила наша завуч Мария Леонтьевна – женщина очень умная и опытная в таких делах...

Я не мог от своего имени давать советы ребятам по этому сложному вопросу и потому сослался на авторитетный источник, откуда почерпнул мудрые советы, которые собирался им вкратце изложить. Складно или нет, но сказал я примерно следующее:

– Скажу прямо, что войну с верующими и алкоголиками вам затевать ни в коем случае не следует. Дело это тонкое и вместо пользы может получиться вред: жители будут стороной обходить избучитальню. Женщины назовут вас антихристами, а мужики – чистоплюями. Начните пока с того, о чем решили. А потом, когда ваша комсомольская организация покажет себя в деле, вам будет видно, чем еще заняться. Очень важно не утопить эти ваши начинания в разговорах.

Леша рассказывал мне, сколько раз вы решали заняться и тем, и другим, но в итоге ничего не делали. Маяковский правильно сказал: “Если тебе комсомолец имя, ты должен иметь молоко и вымя!”

Я разволновался от важности и трудности своей роли в этом собрании и перепутал стих! Надо было сказать: “Если тебе коро-ва имя”... А я ляпнул не весть что. Какой тут поднялся шум и смех! Портнягин кинулся на помощь, крича, что я ошибся случай-но. Он тоже, видимо, хорошо знал Маяковского.

Когда ребята успокоились, я прочел выдержку из стиха как надо, подчеркнув, что “свое комсомольское имя они должны крепить делами своими”. Еще поговорив о необходимости сбора книг и журналов для библиотечки в читальне и о том, что мои товарищи в школе также соберут литературу для них, я предложил ребятам коротко высказаться по всем принятым решениям.

Высказались почти все, одобряя и дополняя принятые решения.

– Теперь осталось, – говорю, – выбрать комсорга, его заместителей и оформить протокол вашего первого собрания организационного собрания, – уточнил я для пущей важности, вспомнив наставления нашего комсорга. Главное – вы решили, чем будете заниматься до конца весны и в начале лета. Когда я уже собрался облегченно вздохнуть и сказать про себя, что дело сдела-но, раздался голос девочки, который мне сразу показался неприятным:

– А как быть с комсомольскими билетами? – озадачила всех нас вопросом шустрая школьница с двумя тщательно заплетенными косичками с бантиками на хвостиках.

Этот вопрос застал меня врасплох, и я мгновенно почувствовал себя беспомощным. Но, к счастью, быстро вспомнил, что Серега говорил мне о райкоме комсомола, который должен зарегистрировать новую организацию и выдать комсомольские билеты. Об этом я и сказал ребятам. Быстро решили, что комсорг поедет в Тайгинский райком с протоколом собрания и списком комсомольцев. А там сделают, что надо.

Комсоргом единодушно избрали Лешу Портнягина, а заместителями двух девочек. Одна из них была особенно разбитная Клава Турунтаева. Это она задала мне вопрос о комсомольских билетах.

– Ну, если она такая шустрая и смекалистая, то пусть и по-работает на благо комсомольской организации, – подумал я.

Мы порядком засиделись и сильно проголодались. Ребята порешили сделать небольшой перерыв на обед и потом вновь собраться для оформления протокола. Стали обсуждать, как быть со мной. Многие звали к себе. Этот вопрос быстро решил Леша. Он твердо сказал:

– Батя мой вчера в тайгу потопал белковать. Мы с матерью вдвоем. Что поест и где поспать в доме найдется.

Все с ним согласились и побежали по домам.

“Дворец культуры” Закутина Яра мы покидали последними: Леша завозился у печки, подкидывая в нее новую порцию сырых березовых дров. Я вышел за двери и полной грудью вдохнул свежий морозный воздух.

Солнце уже садилось, сильно покраснев и раздавшись в ширину. Я мельком взглянул на заходящее светило, но тотчас закрыл глаза и отвернулся. Все еще довольно яркое солнце ослепило меня, отчего в глазах еще долго не проходили красивые радужные круги. От набравшего весеннюю силу солнышка, от осознания успешно выполненного комсомольского поручения, в чем я уже был уверен, на душе стало легко и радостно. Я уже не чувствовал себя чужим в этой глухой сибирской деревушке, как это было несколько часов назад, когда я слезал с саней у избы-читальни.

Вышел Леша. Он плотно прикрыл тонкую дощатую дверь, накинул щеколду и вставил в пробой щепочку.

– Идем, Леня! Наша изба – вон у той большой березы, на краю деревни. Волки по ночам совсем рядом воют. Летом зато хорошо: вышел – и сразу в лес! Тут тебе и ягоды, и грибы, и сушняк, если дрова кончились. Все рядом, все под боком. И речка приличная вон в той низинке течет. Сейчас ее замело. Свернув с торной дороги к дому Алексея, мы гуськом пошли по узкой тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Было ясно, что отец Леши безлошадный.

Войдя в калитку, мы оказались на небольшом, но хорошо очищенном от снега дворе, половина которого была прикрыта соломенным навесом на высоких столбах. На стене дома висели разные рыбацкие принадлежности, а

также косы, грабли, серпы. Все это хозяйство ждало наступления благодатного сибирского лета.

Из теплого катуха, стоявшего у крыльца, выскочил, гремя толстой цепью, большой мохнатый пес и с радостным лаем кинулся навстречу Алеше.

– Собаки не бойся! Когда она видит хозяина, то на чужих не обращает внимания. Ну, а если во двор войдет непрошенный гость, то ему не сдобровать. Без хорошей собаки и двор не двор! Есть у нас еще лайка. С ней батя в тайгу ушел на промысел.

По маленькой, в три ступеньки, лестнице мы поднялись с Лешей в сени, обмели пимы голиком и вошли в теплую избу, наполненную вкусными запахами. Нас радушно встретила мать Алеши и сразу пригласила за стол. Мы быстро разделись, наскоро постучали умывальником и как пара молодых голодных волков сели за стол и приготовились съесть все, что ни подадут.

Наверное, мать Алеши еще издали увидела, что сын идет обе-дать не один и потому на столе стояли две полнехоньких глиня-ных миски горячих щей, тарелка с кусочками свиного сала и гор-ка черного хлеба. Пока мы хлебали щи, тетя Фекла, так звали мать Алеши, сбегала на погреб за солеными грибами, огурцами и капустой. Когда мы опустошили миски и отдувались, откинувшись на спинки стульев, хозяйка вынула ухват из-под печки и достала из загнетки большой чугунок с гречневой кашей. Подав кашу, она поставила на стол бутылку с конопляным маслом, которое я любил больше всего на свете.

– С хорошим-от маслом и лапоть съесть можно, – словно услы-шал я поговорку бабушки Степаниды.

Любить-то конопляное масло я любил, да вот даже не помню, когда я ел его в последний раз. Конопля в Сибири тогда росло очень много и в виде культурных посевов на полях, и диких за-рослей на пустырях и неудобьях. Зерна конопли с удовольствием клевали чечетки, щеглы и без конца жевали мы, ребята. Через улицу от нас был небольшой маслозаводик, который после сбора урожая до зимы производил конопляное масло и продавал жмых – очень прочные полуметровые диски. Его обычно покупали состоя-тельные хозяева на корм скоту, который тогда еще разрешали дер-жать в городе. Этот жмых был для нас сущим лакомством, если мы раздобывали его на заводе. Когда же настал голодный 1933 год, то жмых стал очень дорогим, и его покупали в основном для еды.

А вот сейчас это прекрасное масло стоит на столе, и я могу наливать его в кашу сколько захочу. Но наливаю все же ровно столько, сколько обычно наливают в кашу, хотя мне бы хотелось есть не кашу с маслом, а масло с кашей.

Все мне тогда понравилось на “пиру” у Леши: и щи, и каша, и соленья. Но особенно запомнились нарезанный большими ломтями кочан квашеной капусты с... медом! Соленое со сладким я ел тог-да впервые. Я даже вначале

засомневался, стоит ли пробовать, хотя в природе не было продукта, который бы я не любил и не ел, как это часто случается в семьях с закармливаемыми ребятами-ками: то они не едят, это не любят. Но сомневался я напрасно: прекрасный вкус соленой капусты с медом я запомнил на всю жизнь...

Несмотря на то, что мы с Лешей тогда съели не меньше, чем по “полтеленка”, с обедом мы покончили в два счета и заторопились в читальню.

– Обязательно приходи, Леня, к нам ночевать, – приглашала тетя Фекла, провожая.

– У нас места много и ночью очень тепло: русская печка долго тепло держит. А утречком Леша отвезет тебя в Межениновку к томскому поезду.

Я как умел, а умел, как и любой мальчишка, не очень, поблагодарил добрую женщину за обед и за приглашение.

Когда мы с Лешей выскочили из калитки и побежали по тропинке, огромный красный шар солнца уже касался темневшей на горизонте тайги, и на снегу лежали длинные темно-синие тени. По пути в читальню встретили спешивших туда же моих новых знакомых.

Изба вновь наполнилась смехом и говором ребят. Постепенно шум стих и мы стали сочинять протокол проведенного собрания. К моему удовольствию число присутствующих увеличилось на три человека: двое сменились с дежурства (кормили животных, чистили конюшни и стайки), а один пришел из ранее колебавшихся, узнав, что дело, кажется, пошло на лад.

В секретари собрания выбрали девочку, которая удивительно быстро писала, к тому же никто не спорил, поэтому протокол быстро закончили. Под протоколом поставили три подписи: комсорга и председателя собрания Леша Потапова, мою, как представителя комсомольцев школы №3 города Томска и секретаря собрания. В глазах ребят моя подпись придавала “вес” этой бумаге. Да и самому было приятно подписать ее.

Леша объявил собрание закрытым. Все зашумели, стали прощаться. Кто кричал “покедова”, кто - “пока”, кто выкрикивал прибаутку, которая обычно в ходу у молодежи в таких случаях.

Мы вышли из читальни втроем: Клава Турунтаева, Леша и я. Говорили о плане работ новой комсомольской организации, который надо было составить, исходя из решений собрания. Эту полезную мысль опять же подсказала сообразительная Турунтаева. Вскоре она распрощалась с нами и отвалила к своей тропинке.

В доме у Леша уже горел свет, и хозяйка ждала нас, оставив стол всякой всячиной. Она была рада гостю, да еще из города и без конца рассказывала о своем житье-бытье, о жизни в Закутинском Яру. Она не могла знать, что о многих бедах ее односельчан мне уже поведала Антонина Васильевна. Поэтому мне

пришлось еще раз выслушать горестное повествование о разорении крепких крестьянских хозяйств и высылке целых семейств в гиблые места Сибири во время коллективизации в 1929 году.

– Оставшихся жителей, – продолжала тетя Фекла, – согнали в колхоз “Светлый путь”, а скотину приказали свести на общий двор, который и двором-то назвать стыдно. Обещали построить большую конюшню, коровник и свинарник, но сделали на скорую руку холодные клетушки. На месте скотного двора еще и конь не валялся. А у нас ведь холода. От простуды да плохого корма скотина падает. Все бы взяли своих родных лошадушек да корову-шек назад, в теплые конюшенки да стаечки, да никак нельзя. Строгий указ из района поступил: колхозная скотина должна на-ходиться только на колхозном дворе. И все тут. А что колхозу стало бы хуже, если бы его лошади да коровы стояли в тепле и были вовремя и сытно накормлены?

– Спасибо, что председатель у нас хороший человек, трезвый, непьющий. Делает все, что может для облегчения нашей жизни: то разрешит травки покосить для козы на колхозных неудо-бьях, то лошадку даст на часок-другой дровишек из лесу привез-ти. Но обо всем этом на другой день становится известным в рай-оне, и председатель получает нагоняй. Чать правильно старухи бают, што каво-то из закутинских районные власти уговорили ябедничать да наушничать. А от своих соглядатаев разве что утаишь?

Пока хозяйка знакомит меня с печалью деревни, Леша сидит молча. Вот он достает очередной соленый рыжик, кладет его в тарелку и сосредоточенно, не спеша мельчит ребром вилки головку и ножку гриба. Потом он, растягивая время, медленно жует эти кусочки, продолжая молчать. Я хорошо понимаю положение Леша. Ведь он только что был избран вожаком деревенских комсомольцев, а значит, и идейным руководителем новой организации, а теперь вот приходится выслушивать горькую правду в словах ма-тери, осуждение новых порядков в их деревне.

Наконец, Леша вежливо, но уверенно переводит разговор на другую тему:

– Мамаля! Ну что ты Лене все толкуешь о наших бедах!?! Можно подумать, что в городе другая жизнь, другие порядки. У них там своих трудностей хоть отбавляй. А у нас с тобою скоро праздник будет! Вот отбелкуется отец, сдадим в Охотсоюз шкурки и снова денежки будут. А повезет, так и дорогих собольков добудет! Не будем, мамаля, умирать прежде времени. Живы будем – не помрем! Так наш батя говорит?

– Эт-та верно говоришь, сынок. Я не в меру расплакалась. Сама понимаю, что лишняя жалоба Бога гневит. Жить-то все же можно.

– На колхоз пока особой надежды нет. Ты права. Но лес не подведет. Он всегда прокормит, особенно хорошего охотника. Ты ведь сама часто говоришь, что живется хорошо, если рядом лес да речка, а дома – горячая печка, – заканчивает Леша веселой прибауткой.

– Пусть Леня ложится спать. Завтра нам рано вставать. На станции нужно быть в половине десятого, а туда ехать да ехать. – С этими словами Леша встал из-за стола и пошел за печь, где тетя Фекла приготовила мне постель.

– Ну, на такой постели да в тепле ты будешь спать как король, – слышится оттуда веселый голос моего нового приятеля.

– Полно тебе, сынок, хвалить-то. Лежанка как лежанка. Одна-ко отец считает, что это самое лучшее место в нашем доме. Он там чуть ли не сутки кряду спит, придя с охоты.

Я долго гнезвился на чужой постели, стараясь лечь как можно удобнее, и побыстрее заснуть. Но у меня ничего не получалось: к новому месту я привыкаю с трудом, да и мысли о событиях прошедшего дня долго будоражили память, отгоняя дремоту.

Утром, несмотря на ранний час, на столе стояли свежееиспеченные пирожки, приятно пел свою таинственную песню, часто меняя тон, начищенный до блеска медный самовар. В вазочках стояло варенье из каких-то красных и черных ягод. Мы с Лешей принялись за пирожки, а тетя Фекла, прислонясь к шестку, молча смотрела на нас, одной рукой подперев подбородок, а другой поддерживая локоть руки.

О чем думала эта прожившая трудную жизнь женщина? Наверное, о нас с Лешей. Думала о том, как сложится наша жизнь. Думала, конечно, и о муже, который сейчас один в тайге... Не набрел бы ненароком на медведя-шатуна, который, случается, нападает на человека. Да и волки сейчас совсем озверели: мелкого домашнего скота в деревнях поубавилось за последние годы и прокормиться зимой серым разбойникам стало трудно. Бригады охотников-волчатников распались: кого сослали, у кого отобрали специальные ружья для охоты на волков – бельгийские трехстволки, два ствола которых заряжались обычными патронами, а третий, нарезной, стрелял винтовочной пулей. Для сибирских промысловых охотников такие трехстволки были сущим кладом: пуля доставала волка с такого расстояния, на котором этот злобный и умный зверь при-вык чувствовать себя в безопасности. Но пришел приказ сдать эти ружья оперуполномоченным ГПУ: власти увидели в этом оружии угрозу для себя... В результате волки сильно размножились и обнаглели, совершая опустошительные набеги на колхозные скотные дворы и крестьянские подворья.

Тетя Фекла вспомнила, как совсем недавно, в канун нового года, волки забрались к ним во двор и пытались вытащить из ко-нуры огромного Полкана. Эта собака не робкого десятка и могла постоять за себя, а не стать легкой добычей озверевшей от го-лода стаи. Однако, почувяв многочисленность врагов, умный пес рвал морды и лапы волков, пытавшихся вытащить из его убежища, но конуры не покидал. Услышав неистовый лай и визг Полкана и волчий рык, хозяин схватил со стены двустволку, в чем был выскочил во двор и пальнул дуэтом. Позже он долго ворчал на себя:

– Картечью или жаканом надо заряжать ружье на ночь. Обычный заряд для волков, что слону дробина! Одна только польза, что распугал зверье. Не то бы Полкану крышка.

Когда муж собирался в тайгу, тетя Фекла была еще под впечатлением той страшной ночи и уговорила его взять кроме мало-калиберки еще и переломку с зарядами на медведя и волка.

– А то ведь с одной мелкашкой в лес намылился. Я, говорит, белку в глаз из малопульки бить буду, чтобы шкурки не портить, а ты мне про двустволку толкуешь. Куда, говорит, я с двумя-то ружьями? Только и делов будет, что ружья таскать. А охотиться кто будет?

От тревожных раздумий тетю Феклу отвлек веселый возглас Алексея:

– Ну, маманя, прощевай! Мы с Ленией пойдем заложим нашего рысака в беговые санки и двинем в Межениновку! Зайду к брига-диру, скажу, что возьму Касьянку. Боле-то некого. Хорошо бы сани с подрезами отыскать. Да вроде на них Петро Брагин с Иваном Кривым за новым жерновом в Семилужки собирались. Старый-то жернов еще по осени пополам крякнул, теперь вот и молоть нечем.

– Поезжай на дровнях. Их искать не надо: на такое добро никто не позарится. Для Лени возьми отцову доху. Сена в дровни положи поболе и укрой его как следоват.

– Леня! Вот головушка садовая! Совсем было запамятовала! Садись-ка вот на лавку, садись, голубчик! Снимай-ка свои растоптыши и оберника ноги вот этими онучками. Они старенькие, но мягкие и теплые. Как же можно ходить в пимах на босу ногу!? Обувай, не противься! Я этих онучек своим мужикам на два года вперед наготовила.

Мои утверждения, что без портянок мне удобнее и что с ними пимы будут жать ногу, ни к чему не привели: добрая женщина и слушать меня не хотела. Ничего не оставалось, как последовать ее совету. Когда я обулся, она подала мне узелок с провизией, а также небольшой, чем-то туго набитый мешочек. Видя, что я смущен этими подарками, тетя Фекла пришла мне на помощь:

– В узелке тебе немножко еды на дорогу, а в мешочке – кедровые орешки. Этой осенью удачно шишковали в ближнем кедраче. Угости своих. Погрызите вечерком. А ты вспоминай нас, закутинских.

Я сделал слабую попытку отказаться от лакомых орехов, но добрая хозяйка не приняла это всерьез и уверенно сунула мешочек мне подмышку.

Настала пора прощаться. Я старался вспомнить все те хорошие слова, которые обычно говорятся добрыми людьми в этом случае. Все получилось хорошо, и тетя Фекла поняла, что я попрощался с ней, как с родным человеком.

Если бы тогда жил Николай Рубцов, то жили бы и его прекрасные стихи:

*...За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...*

Я эти стихи, наверное, бы знал и вспомнил, прощаясь с доброй женщиной. Но Россия тогда только еще вынашивала этого прекрасного поэта, который позже вновь откроет наш забытый край, забытый народ и встанет рядом и вровень с Есениным.

На всю жизнь запомнил я эту участливую женщину из сибирской глухомани. И вот теперь пишу о ней, рассчитываясь любовью за ее добро. И вовсе ничего не значит, что ее уже давно нет в живых, как вероятно и нет на свете Леша: ведь совсем скоро после описываемых мною событий грянула великая война, в огненном смерче которой нашли свою горестную кончину миллионы сибирских парней и мужиков.

*...Собирались мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клади в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз
По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молодцы
Вся опора в годину невзгод...*

С. Есенин

Богобоязненная тетя Фекла, провожая нас до ворот, незаметно крестила, понимая, что мы – комсомольцы, а значит – безбожники. Кудлатый Полкан вылез из своего теплого логова, радостно скулил и просился к Леше, сильно натягивая цепь.

На колхозном дворе мы быстро заложили знакомую уже мне Касьянку в не менее знакомые дровни. Потом Леша помог мне одеть огромный и тяжелый тулуп с высоким, как у бояр, воротником и я, словно хорошо набитый мешок, повалился на сено, которого Леша не пожалел положить в дровни.

Сибирский тулуп представляет собою целое меховое сооружение и по той важности, которую он имеет в дальней дороге зимой, вполне заслуживает, чтобы о нем рассказать более подробно.

Тулуп велик по размеру, так как одевается свободно поверх зимней одежды и обычно свисает почти до самого пола. Сверху он покрыт волчьей шкурой шерстью наружу. В качестве подкладки используются шкуры длинношерстных баранов. Воротник двойной, жесткий и очень высокий. Когда его поднимают, то шапку на голове человека не видно.

Иногда вместо воротника к тулупу пришивают мягкий меховой капюшон. Тогда уже тулуп называют по-северному – кухлянка. Как обязательное дополнение к тулупу – огромные меховые рукавицы, сшитые, как и тулуп, из

шкуры волка и овчины. Эти рукавицы, как и тулуп, одеваются сверху на обычную зимнюю одежду и для удобства соединены между собой прочной широкой тесемкой, которая набрасывается поверх тулупа под воротник.

– В таком одеянии уже не пробежишься, – говорю я Леше, кутаясь в это меховое чудо.

– А зачем бежать, если и так будет тепло! Лежи себе и поглядывай по сторонам или спи, – смеется Леша в ответ.

– А сам-то не замерзнешь?

– Я родился и вырос в этой деревне и привычен к здешней погоде. Да и одет я как надо!

Он постучал меховыми рукавицами по добротному полушубку, мягким пимам домашнего катания, снял и лихо одел заячью шапку, которая и внутри была на меху.

– Однако, когда мы с батей идем в березняк дрова пилить да колоть, то все это сбрасываем и работаем в легких телогрейках. Иначе очень жарко. А если вспотеешь, то потом так окоченеешь, что поскорее домой надо бежать.

Много о чем мы поговорили с Лешей, пока Касьянка то лени-вой рысцой, то размеренным шагом тащила по унылой лесной дороге, проторенной подводами по глубокому мартовскому снегу. Разминуться со встречными на такой дороге очень трудно: чуть свернешь, как лошадь по брюхо вязнет в снегу. Порожня подвода обычно уступает дорогу груженной, если обе груженные или порожние, то каждая подвода съезжает с дороги наполовину, или как договорятся между собой возчики.

Когда Касьянка подвезла нас к стационарному домику, Леша привязал ее к бревну коновязи и сбегал за билетом. Сидя в дровнях в ожидании поезда, мы с ним еще раз обсудили все, о чем договорились раньше...

Наконец, я добрался до своего дома на Войковой. Трезорка, как помешанный, радостно лаял, изо всех сил натягивая цепь. Можно было подумать, что он не видел меня целый год. Я подошел к нему ближе, дав возможность вволю потолкать меня в грудь и лизнуть в нос. Потом я побежал на конюшню к кроликам. Они, стоя на задних лапках, быстро двигали ушами и совали носы в крупные ячейки железной сетки в ожидании корма.

Леша с товарищами приезжал в Томск в начале мая. Ночевали у нас. Уехали с хорошей пачкой тетрадей и пакетом канцелярских принадлежностей. Побывали они и в моей школе, где все рассказывали нашему комсorghу. Наши комсомольцы решили взять шефство над комсомольцами Закутина Яра.

Осенью, как я и предполагал, отец не разрешил мне ходить в девятый класс. Я на него очень обиделся: зарабатывал он хорошо и мог дать мне закончить школу и университет, куда я мечтал поступить на химический факультет.

И вот в первых числах сентября, когда мои сверстники бежали в школу, я, собрав нужные учебники, пошел в штаб томской арт-школы. Там у меня

приняли документы, поставили на довольствие и провели в казарму для кандидатов. Вскоре я успешно сдал эк-замены и был принят на первый курс. У меня началась новая жизнь.

Как просто украсть револьвер

*Бог создал людей, а “Кольт”
Сделал их равными.*

Американская пословица

Оружием я заинтересовался с раннего детства, был постоянно связан с ним во время долгой службы в армии и сейчас не потерял к нему интерес. В телерепортажах из горячих точек нашей беспокойной планеты без конца показывают различные эпизоды боевых действий и на земле, и на воде, и в воздухе. Наметанным глазом военного специалиста, я вижу, что появились принципиально новые виды вооружений, а эффективность традиционного оружия неизмеримо возросла. Современные конструкторы-оружейники дали в руки солдата такое мощное оружие, которым он один может без труда уничтожать летящие самолеты, движущиеся танки и другие важные цели, для поражения которых раньше привлекались целые подразделения. Да и времени на стрельбу они тратили много, не всегда добиваясь желаемого результата.

Теперь же солдат кладет на плечо небольшого размера трубу с прицелом, наводит ее на самолет или танк и нажимает на спусковой крючок. Дальше все дело за электронной и реактивной техникой: самонаводящаяся ракета без промаха бьет по цели, превращая ее в горящую грудку металла... И вот неразрешимый парадокс: война – страшное зло, которое вершится с помощью оружия. Но в то же время интерес и тяга к оружию у мальчишек и мужчин все более возрастает. Особенно теперь, когда над созданием современных образцов ружей, автоматов, пистолетов и револьверов работают талантливые изобретатели и дизайнеры, в результате чего смертоносное оружие стало выглядеть как красивые игрушки, которые часто можно спрятать в карман.

Я не скрою, что всегда любил оружие и люблю его теперь. Но оно интересовало и интересуется меня только с позиции конструктора и спортсмена: какое удовольствие подержать в руках хорошо сделанный пистолет или классное охотничье ружье. А как приятно пострелять вволю в тире, особенно на соревнованиях! А стрелял я всегда хорошо и даже имел второй спортивный разряд. Кстати сказать, к оружию у меня была привычка, в детстве и юности у

меня на глазах и под рукой всегда было ружьё, а после окончания военного училища я обязан был постоянно на поясе носить пистолет. Только после окончания Отечественной войны офицеры стали хранить личное оружие в оружейных комнатах части и получать его только на время учений или дежурства. Вспоминаю, с каким удовольствием я проводил занятия с курсантами Харьковского артиллерийского училища, в котором я служил перед войной. Перед тем, как идти на первое занятие в тире, отдаю распоряжение старшему группы найти четыре пустых консервных банки и поставить их потом над мишенями. Приходим на стрельбище. Курсанты на торцах коротких брёвен, которые хорошо улавливают пули, укрепляют мишени, а старший группы, не привлекая к себе внимания курсантов, расставляет консервные банки.

Первое занятие по стрельбе из личного оружия надо провести как можно эффективнее, чтобы оно запомнилось курсантам, если не на всю жизнь, то, по крайней мере, надолго. Коротко напоминаю основные правила стрельбы. Закончив объяснение, говорю:

– А стрелять надо так... Представьте себе, что вот те консервные банки – это головы солдат противника, которые высунулись из окопа, приготовившись к атаке...

С этими словами расстегиваю кобуру, достаю пистолет “ТТ”, занимаю стойку для стрельбы, прицеливаюсь и плавно нажимаю на спусковой крючок. Раздаётся выстрел, и банка над первой мишенью слетает с бревна. Слышу негромкие возгласы одобрения. Неспеша прицеливаюсь во вторую банку... Звук выстрела сливается с грохотом продырявленной и упавшей на землю банки. Также без промаха я пробиваю оставшиеся две “голова противника”. Я хорошо понимал, что как бы ты не стрелял точно по мишени, но чисто психологически оценка результатов стрельбы значительно выше, если обучаемые наглядно видят желанный результат каждого выстрела.

Под веселый гул одобрения вкладываю пистолет в кобуру и поворачиваюсь к строю.

– Хотите так стрелять?

В ответ слышу радостную разногласицу взвода:

Хотим, конечно, хотим!

– Тогда будьте внимательны к моим объяснениям и старайтесь точно исполнять их. Главное – не старайтесь ”поймать цель на мушку“ и быстро дернуть за спусковой крючок. При таком способе стрельбы вас ожидает неудача. Надо вывести прорезь прицела, мушку и “яблочко“ мишени на одну линию и, удерживая пистолет в такой позиции, плавно нажать на спуск. В таком случае вы никогда не промажете, не пошлете пулю за молоком.

Велика сила примера командира при обучении! Грамотный и подготовленный командир учит доходчиво и просто: делай как я.

Расскажу смешной случай из моей командирской практики, связанный с девизом: «Делай как я!». Было это в жаркий летний день 1939 г в Чугуевском военном лагере, куда на период лагерных сборов выезжало наше училище. Примерно в километре от нашего палаточного городка протекала прекрасная луговая речка Северный Донец. Получилось так, что преподаватель физкультуры – прекрасный пловец и ныряльщик – уехал в отпуск, и занятия по прыжкам с трехметровой вышки должен проводить командир взвода, то есть я сам. Прыжкам с метровой и двухметровой вышек курсанты были уже обучены, но я на эти занятия не ходил, так как боялся прыгать в воду головой вниз. В детстве на Томи я прыгал только ногами вперед, «солдатиком». И вот я сижу на речке и жду своих курсантов на занятия. На душе неспокойно. Как быть: прыгать мне самому или нет. Потом решил, что вот представился удобный случай преодолеть страх и начать прыгать с вышки. “Прыгают же все, и я должен прыгать,” – решил твердо и на этом успокоился. Пришел взвод, быстро составил сапоги в две шеренги, как стояли только что сами. Делается это для того, чтобы после купания быстро разобрать обувь и уйти в сторону одеваться. Если чьи-то сапоги остались стоять, то командир сразу же видел, кто остался в воде и немедленно организовывал его поиски. После купания я построил взвод лицом к вышке и с тяжелым сердцем полез на третью площадку, которая мне казалась страшно высокой и что она не в трех, а в шести метрах над водой. Поднявшись, я бодрым голосом напомнил технику прыжка и спросил, кто хочет прыгать первым. Но курсанты дружно попросили первым прыгнуть меня. Они были совершенно уверены, что все, чему я их учил, я умею отлично делать сам. Еще раз подумав, что нет худа без добра, что представился счастливый случай преодолеть свой страх, я, изготовившись по всем правилам, прыгнул... Прыгнул, разумеется, сквернейшим образом, сильно ударившись о воду спиной. Однако, не теряя бодрости духа и преодолевая боль, выхожу на берег и, по возможности, весело обращаюсь к притихшим курсантам:

– Это я вам показал, как не надо прыгать. Плохой пример тоже полезен! Курсанты сдержанно рассмеялись. Понимая мое физическое и моральное состояние. Поле этого я быстро перестроил занятия: отобрал ребят, отлично прыгавших в воду, назначил их инструкторами и дело пошло. Тех, кто боялся прыгать с верхней площадки, они весело тащили туда под руки. Приговаривая, что надо уметь преодолевать страх и ставили меня в пример...

Как я уже рассказывал, в 1912 году отец с мамой и годовалой сестренкой Тасей переехали из Ново-Николаевска в деревню Батурину, где отец вскоре поставил кузницу. Когда дела пошли и появились деньги, отец осуществил свою давнишнюю мечту и купил прекрасную немецкую двустволку “Зауэр три кольца” двенадцатого калибра с полным набором охотничьих принадлежностей.

Ближние и дальние окрестности нашей деревни изобиловали водоплавающей дичью, а в подступающих к деревне лесах было много глухарей. Батуринские мужики охотились главным образом на крупную птицу – на уток и глухарей. Поэтому отец, подражая им, купил с десяток деревянных чучел уток и селезней, которые были красиво разукрашены и как живые плавали на воде. Отличить их от настоящих уток даже вблизи было невозможно. Приобрел он и чучела глухарей, сшитых из черного сукна и чем-то туго набитых. Особенно красиво были сделаны их головы: они имели почти правдоподобные стеклянные глаза, блестящие черные клювы и ярко красные ушки, которые особенно хорошо смотрелись на фоне черной фигуры птицы. Когда я немного подрос, то мама иногда давала мне эти чучела поиграть. Едва ли теперь помню, что в детстве я видел более привлекательные игрушки.

Самое интересное время для меня в деревне наступало с приходом весны: кончались зимние холода, вынуждавшие безвылазно сидеть дома, а также начиналась приятная суета, связанная с подготовкой к весенней охоте. Отец, обзаведясь в достатке порохом, дробью, гильзами, капсюлями и пыжами, принимался заряжать патроны. Главной задачей при снаряжении патронов была подборка таких зарядов, при выстреле которыми дробь летела бы как можно дальше и кучнее. Для этого отец готовил с десяток пробных зарядов с разным соотношением пороха и дроби, которые он нумеровал и записывал в книжечку. Затем мы шли в огород стрелять этими патронами по доскам, прислоненным к бане, бегая после каждого выстрела смотреть на результаты попаданий. Патрон, давший лучший результат, отец брал за образец и по нему заряжал все патроны.

Работа начиналась с того, что все принадлежности раскладывались на большом круглом столе с откидными боковинками, который стоял в большой комнате-горнице и отец принимался выбивать из стеклянных гильз, оставшихся после осенней охоты, старые капсюли. Затем он очищал их от зеленой окиси и прогонял через калибр – стальное кольцо. Некоторые гильзы раздувало при выстреле, а контрольное кольцо придавало им прежний размер, и они свободно входили в ствол при зарядании, легко выбрасывались после выстрела. Затем в эти гильзы отец запрессовывал новые капсюли при помощи «Барклая». Эта штуковина с таким странным названием имела вид небольшой хромированной трубки с рычагом на одном конце и раструбом на другом. Запрессовав капсюли, отец заряжал патроны порохом, а затем дробью. Порох был дымным, представлявшим собой смесь равного количества селитры, древесного угля и серы. Бездымного пороха тогда еще деревенские охотники не знали. Хотя он и применялся уже в винтовочных патронах.

Когда отец заряжал патроны, я постоянно крутился около, стараясь понять, что он делает и, ожидая случая подать ему что-либо. Когда же я пытался ему помочь что-то сделать, он неизменно повторял: “Интересно – смотри, а с руками не лезь!”

Засыпав порох в гильзы, отец вставлял в них толстые войлочные пыжи и сильно уплотнял их при помощи толкача, у которого с одной стороны был круглый набалдашник, а с другой – медный наконечник по диаметру патрона. Когда я глядел на ворох войлочных пыжей, то часто думал о том, сколько пимов испортили на эти штуки, и как-то сказал об этом отцу.

– Пыжи выбивают не из пимов, а из войлока, скатанного из бросовой шерсти, из очесов, которая на пимы не годится.

– А почему пыжи нельзя делать из бумаги или тяпок, – спросил я, – вспомнив, как таким образом пыжевал патроны Лобанов, живший напротив.

– Бумажные и тряпичные пыжи после выстрела долго тлеют и могут вызвать лесной пожар в сухую погоду. Войлочный же пыж не тлеет, плотнее держит порох и отдачу при выстреле уменьшает. Если же стрелять патронами с бумажными пыжами, то к концу охоты без плеча останешься.

Зарядив патроны порохом. Отец засыпал в них порции дроби и уплотнял ее плоскими пыжами, вырубленными из толстого картона. Полностью заряженные патроны отец передавал мне, а я вставлял их в свободные кармашки широкого кожаного патронташа. Трижды крест-накрест опоясанный этим патронташем я как революционный матрос, ходил по дому, периодически наведываясь в кухню, чтобы показаться маме и съесть что-нибудь.

Когда я в 1950-1952 годах служил на Дальнем Востоке, то тоже имел двустволку и изредка охотился на коз и гусей среди бесконечных сопок около границы с Китаем. Также перед охотой я садился заряжать патроны, разложив на столе все принадлежности. Маленькие Алик и Наташа помогали мне, испытывая чувство гордости, что им доверена такая важная работа. Алик меркой засыпал в гильзы порох, я их пыжевал, а Наташа засыпала в патроны порции дроби. Делали всё это они, конечно, под моим контролем. Но все же на охоте однажды меня так сильно ударило при выстреле в плечо, что я невольно подумал о прочности стволов, которые могло раздуть и даже разорвать. Но все обошлось. Видимо, я просмотрел, и Алик в одну из гильз насыпал двойную порцию пороха.

Однако вернемся в деревню Батурину, зайдем в наш красивый пятистенный дом под новой тесовой крышей (теперь он крыт железом) и пройдем в светлую угловую комнату, где мы весной 1924 года заряжали с отцом патроны. В углу комнаты под образами стояло большое зеркало, сделанное из скверного оконного стекла. Отражение человека, смотрящегося в него, оно разрывало буквально на куски, и надо было долго искать место перед ним, чтобы увидеть себя в сравнительно целом виде.

Когда отец закончил все дела с патронами, он подозвал меня к себе и сказал:

– Давай-ка вот эти два патрона с картечью зарядим для ночных гостей.

Я посмотрел на него вопросительно.

– На волков, на волков, сынок! Если опять полезут в овечий хлев, как это было прошлой зимой (тогда один волк поплатился-таки своей шкурой, которая теперь лежит у нашей кровати).

С этими словами он переломил двустволку, вложил патроны в стволы, замкнул замок ружья и зачем-то, видимо по-привычке, взвел оба курка. Когда же он понял, что взвел курки зря, он стал их аккуратно спускать, придерживая большим пальцем. Но тут произошло непредвиденное: курки выскользнули из-под пальца и ружьё грохнуло дулетом из обоих стволов. Картечь пробила две дырки в откидной боковине столешницы и вдребезги разнесла нижний угол “трюмо”. От испуга я окаменел. Но отец быстро нашелся и как мог успокоил меня. Улыбаясь, он сказал, что решил проверить, хорошо ли мы зарядили патроны, но забыл предупредить меня и испугал до смерти.

В этот момент в комнату влетела испуганная мама.

– Колюша! Колюша! Что случилось?

Выстрел она услышала, находясь в дальнем углу огорода у бани, и пока бежала в дом успела передумать все самые страшные последствия этого внезапного выстрела. Выслушав объяснение отца, мама посочувствовала ему и закончила:

– Ты уж, Колюша, будь осторожней. Львишку-то перед стволами не пускай. Всякое, как видишь, может случиться! Ну, храни вас Бог. Я пойду. Надо бы работу в огороде закончить, но не смогу – рученьки трясутся. Пойду Беляну напою, а то она что-то мычала недавно. – С этими словами она погладила меня по голове и пошла на кухню готовить пойло корове. Я стал постепенно приходить в себя, подсознательно чувствуя однако, что выстрелил отец случайно, и это было смертельно опасно.

Уже в Томске, куда мы вскоре переехали, я иногда приподнимал скатерть на большом круглом столе и совал два пальца в аккуратные дырочки от картечин. Потом, долго живший у нас художник Кузьмич, прикрыл угол разбитого зеркала фанеркой и нарисовал на ней маслом украинский пейзаж с традиционными пирамидальными тополями, белыми хатками под толстыми соломенными крышами и кумушками в белых фартучках с коромыслами и ведрами у колодца с журавлем.

Забегая вперед лет на десять, расскажу, как это наше прекрасное зеркало однажды меня подвело. Кстати оно было оправлено в красивую резную раму. До сих пор не могу понять, почему мастер использовал вместо зеркального стекла оконное, да еще самого скверного качества. Как же оно меня подвело? Жили тогда мы уже в Томске и дело было так.

В пятом классе мне очень нравилась одноклассница Гутя Дергунова, которая жила в квартире окнами на север и в ее комнату никогда не заглядывало

солнышко. Как-то мы после уроков бежали домой, и я похвастался, что сделаю так, что в ее комнату заглянет солнце. План был у меня простой: затащу наше “трюмо” на крышу дома и направлю огромного “зайца” ей в окно. Задумано, обещано, сделано. С великим трудом взгромоздил по приставной пожарной лестнице огромное зеркало, поставил его на конёк крыши, заранее переживая эффект, который я произведу, наполнив сумрачную комнату солнечным светом. Начинаю ловить светило и лихорадочно отыскиваю на темных бревнах домов Картасного переулка своего “гигантского зайца”. Но к своему великому удивлению, под каким бы углом я не ставил зеркало, никакого даже маленького зайца я не мог увидеть. Как я вскоре понял, стекло зеркала было настолько неровным, что отраженный пучок солнечных лучей оно разбивало на массу разобренных бликов, каждый из которых и заметить-то на стенах домов было очень трудно.

Придя на другой день в школу, я на переменке подошел к Гуте и сказал:

– Знаешь, какая вчера меня неудача постигла! Только я собрался пустить в твоё окно солнышко, как оно скрылось за облаками и ничего у меня не получилось. А мне так хотелось тебя порадовать!

– Да? – хитро улыбаясь, произнесла она. А мне показалось, что ты с какой-то большой черной рамой стоял на крыше дома и крутил ее в разные стороны. И солнышко в это время светило вовсю! Но может быть мне это показалось.

– Показалось, конечно, – обрадовался я. – Ты, наверное, трубочиста видела у нас на крыше. Они как раз в это время чистили у нас дымоходы.

Мы весело посмеялись, поговорив таким образом, что суть дела осталась в стороне, и побежали на урок, услышав звонок колокольчика, в который отчаянно звонила наша «сторожиха» тетя Маша.

Еще немного расскажу о художнике Кузьмиче, который несколько лет жил в нашей семье и который нарисовал картинку-заставку на разбитом углу зеркала.

Кузьмич, как я теперь понимаю, был настоящим украинцем, носил отвислые усы и говорил по-украински. Подвыпив, он обычно пел красивую украинскую песню:

*... Дивлюсь я на небо,
Тай думку гадаю:
Чому я не сокил?
Чому нэ льтаю?*

Тогда я мало что знал о разделении людей на национальности. Знал только евреев, которых было много в Томске, и которые были, в основном, врачами, и татар, живших обособленно в близких от города деревнях. Еще знал австрийцев, потому что отец, не справляясь с множеством заказов на ковку лошадей во время гололедицы, обычно приглашал ковать подковы кузнеца-австрийца. Он оказался в русском плену в конце Первой мировой войны и остался жить в России. Приходил австриец работать обычно по воскресеньям и другим праздничным дням. Я до сих пор помню, что работал он как автомат: быстро, хорошо, молча. Качал мех и разогревал заготовки ему, как правило, я. Отойти от меха не было никакой возможности, так как Аьфред (так звали австрийца, но отец называл его Федором) бросал в мою сторону суровый взгляд, если я не успевал добела разогреть новую заготовку к моменту, когда он совал в горн остывшую подкову. Но как было приятно смотреть на этого огромного и сильного человека, когда он уже к позднему вечеру кончал работу и, молча улыбаясь и подмигивая мне, ворошил ногой кучу еще теплых новых подков!

Помню, как однажды я назвал своего дружка Стасика Павловича по фамилии. Отец мне сразу же сказал, что Стасик – поляк. Я немало удивился, что отец, не видя мальчика, определил его национальность, о которой я раньше и не слышал. Как я теперь вспоминаю, в школе учились ребята многих национальностей, но мы не придавали этому никакого значения. Если и давали обычные прозвища-дразнилки, то они были связаны либо с необычной фамилией (например, в первом классе у нас училась девочка по фамилии Продайдуша) либо с какими-либо особенностями во внешнем виде, либо странностями в поведении.

Когда мы приехали в Томск, и наша жизнь стала постепенно входить в новую колею, у нас появилось много знакомых и друзей. На первом этаже купленного отцом флигеля жил очень добрый, но любивший сильно выпить Андрей Иванович Кондрахин. Он держал коня и развозил из пекарни по булочным горячий хлеб, отчего от его повозки в виде большого ящика с дверцами, постоянно исходил такой приятный запах, что «слюнки текли». Как-то зимой он вернулся домой и подозвал меня к своей прекрасной повозке:

– Ленька! Подь-ка сюда! У меня чево-то есть для тебя! – С этими словами он открыл дверцу ящика, достал оттуда еще теплую сайку (так раньше называлась французская или городская булочка) и протянул ее мне.

– На-ка, поешь! Теплая ишшо, только из пекарни! – На всю жизнь я запомнил эту теплую и пахучую сайку и ее прекрасный вкус! Мама всегда пекла черный хлеб и изредка серый пшеничный. Такую белую булку из настоящей пекарни я ел впервые...

Андрей Иванович был еще и заядлым охотником. У него была старинная берданка почти двухметровой длины огромного десятого калибра. Охотники это допотопное ружье называли «гусеницей». Оружейные заводы в прежние

времена выпускали такие ружья специально для охоты на гусей. Птица эта очень умная и осторожная, и подойти к ней на верный выстрел из обычного охотничьего ружья невозможно. Когда стая гусей остановилась в безлюдном и тихом месте на кормежку или на ночь, то ее охраняют «дежурные» гуси из опытных стариков, которые стоят на самых высоких местах вокруг стаи с высоко поднятыми головами. Вот и использовали сибирские охотники эту «пищаль», заряжая ее огромные патроны пригоршней крупной дробы. Стрелять из нее могли лишь крупные мужики: хилого охотника отдача могла свалить с ног. После революции эти берданки были запрещены для охоты и поэтому валялись у их владельцев без дела. Андрей Иванович также перестал охотиться, боясь объездчиков и егерей. Но вот он купил одноствольную “тулку” шестнадцатого калибра, а берданку подарил моему брату Мише. Миша к этому подарку отнесся более чем прохладно:

– Зачем мне эта допотопная пушка? – говорил он как-то. – С ней за ворота показаться нельзя: народ сбежится смотреть на это чудо техники! Вот если ствол обрезать аршина на полтора, то еще куда ни шло. За ружье может сойти.

Мне очень хотелось иметь эту берданку, которая брату вовсе не нравилась. Воспользовавшись моментом, я сказал ему:

– Миша! Отдай мне ружьё. Я буду чистить его, заменю кое-какие износившиеся детали. Выбрасыватель у нее сломан. Я выпилю и поставлю новый.

– Бери! Владей, если охота есть!

Так я стал хозяином огромного ружья. Радости моей не было предела. Я его без конца разбирал и собирал, чистил и смазывал. Три латунные гильзы, которые Андрей Иванович подарил вместе с ружьем, я начищал битым кирпичом до самоварного блеска. Хранил я берданку под краем матраца моей железной кровати. Ложась спать, я время от времени ощупывал ее и спокойно засыпал с чувством хозяина, добро которого лежит под боком.

Зимой мы с приятелем Толей Рябовым завертывали берданку в мешковину, клали ее на санки и везли через застывшую Томь на Заячий остров, где выстреливали весь “боекомплект” – три патрона. Чтобы быть причастными к каждому выстрелу, мы оба прижимались к огромному прикладу “гусеницы”, но целились и нажимали на спуск по очереди. Третий выстрел разыгрывали на спичках: стрелял тот, кто вытягивал более длинный обломок. Потом мы с удовольствием нюхали ствол и стреляные гильзы. Это были совершенно новые запахи, которые не встречались в обычной жизни. Меня эти запахи очень волновали и, казалось, приобщали к чему-то новому, неизведанному. В связи с появлением новых для меня запахов, вспоминаю, с каким удовольствием мы вдыхали выхлопные газы первых в Томске грузовиков “АМО”, появившихся в 1930 году. Они возили муку с мельницы на хлебозавод мимо нашей кузницы. Зимой мы одевали коньки, вооружались длинными металлическими крюками

и ждали “амушек” на повороте дороги, где они снижали скорость и мы могли зацепиться за задний борт. Каждый стремился занять место поближе к выхлопной трубе, чтобы не только всласть надышаться выхлопными газами, но пропитать ими свою одежку. Так мы катили до очередного поворота дороги, где дружно отцеплялись и ждали обратной машины.

Теперь я нисколько не сомневаюсь, что человечество вовсе не случайно запакостило окружающую среду. Достаточно вспомнить, с каким удовольствием люди воспринимали первые паровозы, пароходы, дымящие трубы заводов и фабрик. Все это было в новинку, и народ воспринимал, как уход от “деревенщины” и приобщение к современной цивилизации.

Вовсе не случайно появились такие жизнерадостные песенки:

*Веселых улиц шум задорный
Влетает бурно к нам в окно...
...И поют ночные птиицы —
Паровозные гудки...*

А взять сигналы автомобилей. Их запретили совсем недавно.

В центре Москвы просто было невозможно слышать друг друга на улице от множества бесперывных автомобильных гудков. По существовавшим тогда правилам водитель был обязан гудеть не только в различных дорожных ситуациях, но и перед тем, как тронуться с места. Я эти правила еще застал. На первых порах уличный шум импонировал горожанам: это вам не провинциальная глушь, где можно услышать только петушинный крик да поросычье хрюканье. “Жизнь в городе бьет ключом,” — любили говорить они. Только потом горожане поняли, что ключом-то она была ...их по голове!

Когда отец в 1925г поставил кузницу в Томске, то над горном было сделано вытяжное устройство, рассчитанное на сжигание древесного угля, который не давал ни дыма, ни копоти. Когда горн раздували мехами, то приятно постоять вблизи, особенно в холодное время, чтобы погреться и полюбоваться буйством огня, разогревающего металл до плавления. Надо быть внимательным в этот момент и извлекать изделие для сварки из огня. В противном случае металл начинает гореть, разбрасывая вокруг снопы мелких искр, и от нагреваемой детали останется один «пшик», как говорил отец.

Но вот появился в продаже дешевый каменный уголь, и кончилась прежняя деревенская идиллия, мы стали работать в клубах ядовитого зеленовато-желтого дыма. Он был особенно густым при закладке в горн новой порции угля. Тогда мы с трудом различали друг друга, двигаясь по кузнице словно призраки. Зонт над горном и короткая вытяжная труба из кровельного железа уже не выполняли своей роли, дым был густым и тяжелым и не хотел идти в трубу, а растекался густыми клубами по всей кузнице. Но что самое интересное,

никто и словом не обмолвился о том, как вредно это для здоровья. Люди тогда были крайне беспечными к тому, что было для них вредно. Ведь не составляло бы отцу большого труда и затрат поставить трубу большего диаметра и высоты или сделать принудительную вытяжку при помощи электровентилятора. Зарабатывал он тогда много: коня стоило подковать двадцать пять рублей, бутылка водки – шесть рублей. А ковали мы в осеннее-зимний сезон по четыре-пять лошадей в день. Но деньги шли в основном на выпивку...

Прослышав, что приезжий кузнец – хороший мастер, в кузницу потянулись заказчики: кто привез на ремонт разбитую телегу, кто заказал новую пешню для колки льда, кому потребовался новый ключ для замка, кому надо было запаять потёкший самовар. Когда в городе всем на диво появились первые легковые автомобили нэпманов, то к кузнице стала подкатывать порой и эта заморская роскошь. Обычно приезжали сваривать лопнувшие рессоры, асфальтированных дорог в городе еще не было, а на ухабах и выбоинах булыжных мостовых рессоры автомобилей не выдерживали. Отец был большим мастером сваривать жесткую рессорную сталь, потому что имел большой опыт в этом, сваривая рессоры легковых конных экипажей, которые отличались от автомобильных только по своим размерам.

К четырнадцати-пятнадцати годам я практически овладел кузнечным и слесарным мастерством: мог сковать несложную деталь, полудить медный таз, запаять потекший самовар и притереть его капающий кран, сделать из жести ведро, припаять на медь или латунь бородку ключа. Пайка на медь была особенно необходима при изготовлении ключей, его бородку можно было укрепить только таким способом.

Когда жители привыкли к кузнице, познакомились с отцом и братом Мишей, выпив вместе не одну бутылку водки, они стали приносить на ремонт и такие деликатные вещи как ружья, малокалиберные винтовки, старинные пистолеты и револьверы различных систем. Отец, понимая, что это дело “пахнет керосином”, обычно говорил, что он в них не разбирается. Однако он не хотел терять контакт с местными жителями, среди которых было много отпетых хулиганов и жуликов. Они могли на этот отказ отреагировать не лучшим образом, так как просьба жулика что-то сделать, по сути, означала приказ, который надо выполнить обязательно. Поэтому переговоры с лихими заказчиками отец обычно заканчивал тем, что отсылал их ко мне, говоря, что сын в этом деле что-то кумекает.

Вот с владельцем очередной “пушки” мы идем в закуток между глухой стеной кузницы и забором. Оглянувшись привычно по сторонам, он бережно разворачивает тряпицу, в которую завернуто оружие. Чаще всего это были сильно поржавевшие револьверы системы “Наган” или малокалиберные пистолеты “Монтекристо”. Обычно у них были сломаны пружины и бойки, не работали экстракторы или не поворачивался барабан. Я брался за любую

“пушку“, обещая, что постараюсь, чтобы она стреляла или, по крайней мере, имела приличный вид. Работа эта для меня была крайне интересной, видимо потому, что к реставрации старой техники у меня была какая-то страсть. Да и сейчас я это дело очень люблю.

Начинал я с того, что отмачивал револьвер в керосине, затем разбирал его и мелкой шкуркой удалял ржавчину со всех деталей. Вместо сломанных и проржавевших деталей я выпиливал новые, если они были достаточно простой конфигурации. Сломанные или сгнившие деревянные накладки на рукоятках я заменял новыми, сделанными из березового Капа. После того, как я раскаленной пластинкой выжигал на накладках “фирменную“ сетку, оружие приобретало довольно привлекательный вид.

Однажды мой очередной “клиент“ не только со мной хорошо расплатился за отреставрированный пистолет, но и подарил старинный красочный альбом-каталог какой-то крупной фирмы, торговавшей в России охотничьим и личным оружием. В нем иллюстрировалось бесконечное множество систем ружей, револьверов и пистолетов в собранном и разобранном виде и боеприпасов к ним. Тут были короткоствольные “Бульдоги” с семизарядными барабанами, американские крупнокалиберные “Кольты“, маленькие “дамские“ хромированные пистолетики, умещавшиеся на ладони.

Когда я открыл альбом, то просто не поверил своим глазам. Неужели все это когда-то было на прилавках магазинов и можно было купить!?! Этот альбом сыграл большую роль в моем увлечении оружием. Кроме того, он мне очень пригодился в работе, я легко отыскивал в нем в нем изображение тех недостающих деталей, которые мне необходимо изготовить, ремонтируя очередную “пушку“. Конечно, мне не всегда удавалось полностью восстановить оружие. Да и у хозяев обычно не было к нему патронов. Однако, для малокалиберных пистолетов бокового боя я приспособливал патроны от тульских малокалиберных винтовок, укорачивая их гильзы.

Надо сказать, что все обходилось благополучно, и милиция ни разу не отреагировала на мой “промысел“. Этому способствовало и то, что наше заозерное хулиганье старалось обходиться без применения огнестрельного оружия в своих разбойных делах, ограничиваясь финками, кастетами, гирьками на длинных ремешках и велосипедными цепями. Ни разу не столкнувшись с неприятностями, которые могли возникнуть у меня в связи с ремонтом оружия, я не чувствовал тогда ни малейших угрызений совести от того, что занимался этим делом. Да и никто из взрослых не объяснил мне о недопустимости ремонта запрещенного огнестрельного оружия. Конечно, трагический случай с мальчишкой из нашей четырехлетки, который застрелился на сцене из старинного четырехствольного револьвера на виду у всех во время переменки, должен был хотя бы насторожить меня. К тому же этот допотопный револьвер незадолго до этой трагедии ремонтировал мой брат Миша. Но ничего подобного,

Миша только сильно чесал затылок, когда гроб с мальчиком несли мимо кузницы на Воскресенское кладбище, а я вспоминал горестный рассказ его старшего брата, что Колька тайком утащил револьвер в школу похвастаться перед друзьями, не зная о том, что один из стволов его был заряжен. Я очень переживал, что произошла ошибка, но не думал о совершенной недопустимости и страшной опасности возни с запрещенным оружием.

В таком отношении населения Сибири к оружию были свои причины. Его в те времена в наших краях было великое множество. Во-первых, огромная армия охотников-промысловиков и любителей имела обычно по два-три ружья для охоты на разных зверей и птиц. Много боевого оружия было спрятано в бесчисленных тайниках после гражданской войны. Поэтому, если кто-то и имел револьвер или винтовочный обреза, то это не было в диковинку для окружающих. Разумеется, что конспирация соблюдалась тщательно.

Кроме того в городе бесчинствовали банды грабителей, совершавшие дерзкие налеты на ювелирные магазины и квартиры богатых людей. Днем члены таких преступных шаяк были обычными тружениками, а ночью творили разбой. Таким вот разбойником был наш "семейный парикмахер" Володя. Он держал свою парикмахерскую у Базарного моста, которая помещалась в крохотной комнатке маленького одноэтажного домика. Хороший парикмахер, услужливый человек. А по ночам руководил бандой грабителей. С ним дружил и часто выпивал мой брат Миша. Но, к счастью, Володя его в свои темные дела не втягивал.

Все хулиганы нашего Заозерья носили за голенищем или спрятанными в ином месте финские ножи, которые иногда пускали в ход. Особенно мне запомнился вшивый и золотушный мальчишка по имени Василька. По утрам он становился у ворот облюбованной им школы и отбирал у ребятишек имевшуюся у них мелочь. Если кто ему не нравился или не имел при себе денег, он тыкал финкой в ягодицу несчастного. Для того, чтобы точно дозировать глубину пореза, он обматывал лезвие финки изоляционной лентой, оставляя оголенным лишь острый его конец. Удивительно, что тиранил он наш Заозерный район не один год, а взрослые и милиция вроде бы ничего не знали. Когда я проходил мимо этого золотушного Васильки, то сильно боялся. Но он делал вид, что меня не замечал, он знал, что у меня есть взрослый брат, который работал в кузнице и к которому его брат обращается иногда за помощью. Недавно, например, Миша сделал ему железную кровать практически за бесценок. Грустно сейчас вспоминать об этом. Но из песни слова не выкинешь. Жестокое было время и под стать ему – жестокие нравы.

Роясь как-то на чердаке нашего дома в куче старых журналов "Нива" и другого бумажного хлама, я нашел совершенно исправный ствол шомпольного ружья. Из таких ружей сибирские охотники били белку и другую мелкую дичь лет сто тому назад. Но в глухих таежных местах шомполки были еще в ходу, и в охотничьих магазинах можно было купить специальные пистоны для них. Я

очень обрадовался этой находке и быстро сделал приклад к нему из обожженной березы. Для того, чтобы выстрелить из этого ружья надо было насыпать в ствол порцию пороха, уплотнить ее при помощи пыжа и длинного шомпола, затем опустить в ствол картечину или порцию дробы и снова уплотнить пыжом. После этого на запальный штуцер в казеннике надевался капсюль. Затем я прицеливался в мишень, а приятель ударял по капсюлю небольшим молоточком. Ружье било очень кучно, так как ствол был не короче метра. Главное – звук выстрела был очень слабым, что для стрельбы в огороде было крайне важно: соседи не бегали жаловаться отцу.

Теперь к шомполке надо было раздобыть ударный механизм. За помощью я обратился к приятелю Медведеву Мише, отец которого имел часовую мастерскую и одновременно ремонтировал охотничьи ружья. Медведев посмотрел мое оружие и, не задумываясь, сказал:

– Этих механизмов у отца под верстаком сколь хошь! – вскоре эта механика была уже у меня в кузнице. Я быстро врезал ударный механизм в шейку приклада, и шомполка получила законченный вид. С этим ружьем я «охотился» в огороде на сорок, которые без конца крутились у помойки. В качестве трофея я выдергивал из хвоста красивые сине-зеленые перья, а тушку отдавал коту. Ходил зимой с друзьями и на Заячий остров, где мы стреляли сколько хотели. Для стрельбы из шомполки не нужны были патроны: был бы порох и дробь. Единственная помеха – это заочневшие руки в связи с тем, что при заряджении ружья приходилось снимать варежки. Но охота – пуще неволи. Снег на Заячем острове был буквально испещрен следами этих зверьков, но сколько мы ни ходили по острову, сколько ни сидели в засадах, зайца ни разу не видели. Очевидно потому, что зайцы в основном ночные звери и днем предпочитают прятаться в глухих местах.

Когда происходили описываемые мною события, старшая сестра Тася по вечерам читала для всей семьи очередную интересную книжку. Это была «Пещера Лихтвейса» какого-то немецкого автора. Ее герой был «добрым» разбойником и грабил только богачей, раздавая добычу беднякам окрестных селений. Книга была хорошо иллюстрирована, и я сумел внимательно рассмотреть пистолет, которым был вооружен разбойник. Это был заряжаемый с дула самопал, который был по сути копией моей шомполки, но имел короткий ствол и рукоятку вместо приклада. Не долго думая, я срезал у своего ружья ствол и вместо приклада выстрогал деревянную рукоятку, в которую врезал укороченный ствол и прежний ударный механизм. Этот пистолет я носил за поясом, подражая герою книги.

После этой переделки желающих пострелять из моего пистолета резко увеличилось: стрельба из него была неизмеримо привлекательней, чем стрельба из шомпольного ружья.

Но вот наступила осень 1936 г. Я поступил в Томское артиллерийское училище, и мне надо расставаться и с берданкой, и с пистолетом. С берданкой отец поступил предельно просто: разбил ее молотком на наковальне, бросив остатки приклада в огонь, а сплюснутый ствол – под меха. Пистолет ломать было жаль, и я подарил его знакомому парнишке Володе Бродникову, который дал мне за это прекрасную авторучку. Замечу, что авторучки были тогда в новинку и только что начали вытеснять стальные перья и чернильницы.

Итак, я – курсант первого курса ТАШ (Томской Артиллерийской Школы). По возрасту я был самым молодым из курсантов. Когда я после экзаменов проходил мандатную комиссию (было это примерно в середине октября 1936 г), то меня чуть не завернули, сказав, что мне нет семнадцати, и чтобы я приходил через год. Тогда меня выручил начальник училища полковник Пантюхин, который бывал часто в кузнице на территории училища, где мы с отцом и братом ковали училищных лошадей. Пользуясь тем, что полковник как-то сам приглашал меня поступить в его училище, я сказал:

– Товарищ полковник! Вы совсем недавно обещали принять меня в училище, несмотря на то, что мне еще нет семнадцати!

– Когда это?! – вскинул удивленно густые черные брови начальник училища.

– В кузнице, где мы с отцом ковали лошадей. Тогда вы сказали, что я рослый парень и несколько месяцев, которых мне не хватит до семнадцати, мне можно простить.

– Было, было дело! Товарищи, члены комиссии! Я думаю, он сдал экзамены на отлично, и рост у него настоящего артиллериста, поэтому большого отступления от приказа наркома мы не совершим!

Члены комиссии единодушно поддержали полковника, который встал и, улыбаясь, поздравил меня с поступлением в военную школу, крепко пожав руку.

Вторая осечка с возрастом произошла зимой 1936 г. Тогда всех курсантов назначали агитаторами по выбору в Верховный совет. Стал вопрос, как быть со мной: можно ли меня назначать агитатором, если я сам не имею права выбирать. В душе я был бы рад, если бы мне не «доверили» эту важную политическую работу. Но номер не прошел: я ходил на соседнюю улицу и «агитировал» за выдвинутых кандидатов, Очень хорошо помню, что один из кандидатов в депутаты Верховного совета был академик Бардин, фамилию которого я потом многие годы слышал, когда речь шла о науке. Я мог гордиться этим: за хорошего человека я тогда агитировал голосовать!

Поступив в военное училище, я не осознавал еще всей серьезности моего нового положения – военнслужащего Красной Армии. Даже после того, когда 7 ноября 1937 г на главной площади Томска принял военную присягу, я не почувствовал себя взрослее, не стал более ответственно относиться к своим

поступкам. Семнадцать лет – это все же семнадцать, а не двадцать семь, и даже не двадцать. Дети в те времена выросли значительно позже, чем сейчас. Поэтому практически на первом и втором курсах училища я все же был еще большим ребенком. Оказавшись в военной школе, я был буквально на седьмом небе. Повсюду было оружие, которым я всегда интересовался и любил. В артиллерийских парках стояло множество орудий всевозможных систем и калибров. Каждый курсант имел свой карабин, револьвер, шашку и коня (школа была на конной тяге). Тир был рядом в огромном овраге, и мы часто ходили туда стрелять из карабинов и револьверов. Одним словом, для меня в училище было раздолье: оружие, лошади, стрельбы в тире и из пушек на полигоне в Юргинских лагерях. Но я себе и представить не мог, что из-за оружия я вскоре попаду в большой переплет.

Нас, молодых курсантов часто водили на склады НЗ, где мы чистили и смазывали хранящееся там оружие на случай мобилизации и развертывания новых артиллерийских полков. При первом же посещении складов я оказался в хранилище ручного оружия. Там, на огромных стеллажах лежали тысячи деталей от револьвера “Наган”. На одних полках лежало бесчисленное количество стволов с рамкой и каркасом рукоятки, на других - барабаны с осями, на третьих пружины, курки, спусковые крючки и прочая мелочь вплоть до последнего винтика. От такого невероятного количества деталей револьвера, даже простейшие из которых я совсем недавно целыми днями выпиливал, у меня разбежались глаза. Первой мыслью при виде такой массы деталей была та, что из них можно без труда и ущерба для армии собрать собственный револьвер! Все они были мне знакомы, как пять пальцев. В своем намерении еще более укрепился, подумав, что эти детали наверняка никто не пересчитывал и исчезновение одной штучки с каждой полки никто не заметит. А что касается того, воровство это или нет, возник такой довод: ведь не револьвер же я беру, а детали к нему.

Командир нашего отделения Чесноков уважал меня, как знатока оружия и отличника учебы и потому назначил старшим по работе в этом хранилище. Бесовская мысль утащить детали и дома собрать револьвер постепенно окрепла, и я решил действовать. Во время очередной работы на складах я распределил ребят по местам, а сам, улучшив момент, взял с полок все детали револьвера и спрятал их сумку противогаза. Боевых пружин, которые часто ломаются, я взял две. Воровать я не умел. У меня не было никакого опыта, как у моего школьного друга Коли Шелудякова, и потому я сильно разволновался. Почувствовав, что уши у меня покраснели, и кровь стала биться в висках, я вышел на минутку из склада на вольный воздух. Теперь уже я не был уверен, что поступаю как надо. Червь сомнения стал терзать мою душу, но давать делу обратный ход я не захотел.

При первом же увольнении в город свою добычу я отнес домой и спрятал на чердаке. Слез с чердака, пошел к отцу в кузницу поговорить, рассказать о своей жизни в училище. А на душе радостно от того, что меня никто не поймал с деталями, и что у меня будет новенький револьвер. Следующего увольнения в город я ждал с особым нетерпением. Прибежал домой, быстренько съел предложенные мне Анной Михайловной лакомства и кое-что рассказав о себе, полез на чердак. Привычными движениями быстро собрал вожделенную игрушку, пощелкал курком и, вновь надежно спрятав, спустился в низ. К моему сожалению, а может быть к счастью, иметь собственный револьвер мечтал в училище не один я. На втором курсе учился некто Борзов, с которым я был хорошо знаком по конюшне: наши лошади стояли рядом и чистили мы их часто в одно и то же время. Так вот этот Борзов, еще учась на первом курсе и будучи часовым, выкрал из шкафа личного оружия командиров револьвер, отодвинув плохо прибитую доску задней стенки шкафа. Дверцы и бока шкафа были обиты железом. Ну, а заднюю стенку не видно и ее сделали кое-как. Борзов отодвинул доску, запустив лапу в оружейный шкаф. При смене караула новый начальник плохо пересчитал хранившиеся револьверы, как плохо пересчитывали последовавшие за ним начальники караулов. Так тянулось довольно долго, пока, наконец, недостачу не обнаружили. Началось следствие, допросили тех, кто стоял на первом посту за последнее время, а также бывших разводящих и начальников караулов. Но вся сложность состояла в том, что никто кроме самого Борзова не знал, в какую именно ночь был украден револьвер. Поэтому следствие ничего не дало, и дело было закрыто. Как потом стало известно, первое время Борзов таскал украденный револьвер в кармане брюк, а потом перепрятал его чемодан с личными вещами, хранившийся в батарейной каптерке. При поездке в отпуск после первого курса Борзов отвез револьвер в свою деревню и спрятал в тайнике.

Наконец, Борзов едет в отпуск по окончании второго курса. Как-то, изрядно выпив с друзьями, он стал хвастаться своим револьвером. Те попросили его пострелять, и Борзов согласился. У него был припасен один-единственный патрон, который он ухитрился утащить во время учебных стрельб в тире школы. Пошли в огород, укрепили на стенке бани большой лист лопуха, Борзов прицелился и выстрелил. Этот выстрел оказался роковым: его услышал сосед, который тотчас побежал с доносом к оперуполномоченному ГПУ. Местные власти быстро схватили Борзова и вместе со злополучным револьвером доставили в Томск к начальнику училища. По номеру револьвера там быстро установили, что это именно тот револьвер, который пропал на посту номер один почти год назад. На время нового следствия арестованного поместили в городской дом заключения. Это следствие быстро закончилось, и вот мы, курсанты, сидим в клубе на показательном процессе по делу кражи оружия на

посту. Обвинитель подобно рассказывает о том, как был украден револьвер и как преступник был схвачен бдительной властью в деревне. В связи с этим он потом долго и нравоучительно говорил о том, как простой, но честный колхозник выполнил свой гражданский долг и тем предотвратил возможность попадания оружия в руки врагов народа...

Когда по школе пронесся слух, что пропавший в прошлом году револьвер украл курсант Борзов, то для меня он был равносильен страшному удару молнии в дерево, в тени которого я благодушно дремал приятным летним днем. Я уже говорил, что с Борзовым мы были хорошо знакомы, в конюшне наши кони стояли по – соседству, и мы подолгу разговаривали, чистя лошадей. Я знал, что родители его – колхозники в каком-то далеком таежном селе, и что по окончании школы он хотел бы служить в Сибирском военном округе, а не уезжать как он часто говорил “к черту на рога”.

Это страшное известие разом поставило все на свои места – я тоже украл револьвер! Иллюзия о револьвере, как о безобидной красивой игрушке рассыпалась в прах, столкнувшись с беспощадной действительностью. Была, конечно, разница в способе воровства того и другого револьвера, но в конечном итоге – это лишь детали, которые никак не оправдывали мой поступок. Наступили дни терзаний и тяжелых размышлений. И вот теперь, когда судят Борзова, я все невольно примеряю к себе.

Кончился суд, определивший долгие годы тюремного заключения. В подавленном состоянии мы молча плотной толпой бредем к выходу из клуба. В тот день по школе дежурил второй взвод нашей батареи, ребят которого мы хорошо знали. Конвоировать Борзова из тюрьмы в наш клуб и обратно были назначены курсанты Паршин, Пухлов и Жирноев. Паршин был маленьким веснушчатым рыжим мальчишкой. Мне он запомнился висящим на турнике вниз головой в нашем спортзале. Это упражнение официально называлось “вис стремглав”. Я никак не понимал, как можно висеть стремглав. Стремглав, видимо, можно только мчаться, а не висеть неподвижно. Так вот, когда Паршин висел вниз головой, его лицо становилось багрово-красным, а надбровные дуги – совершенно белыми. По иронии судьбы мы с ним встретились через полвека, он был назначен командиром дивизиона в бригаду, где я был заместителем командира. Он заметно стеснялся меня, видимо, потому, что был ниже меня по званию и должности и плохо выглядел. Отношения у нас были строго официальные. Расположить его к непринужденной беседе я не мог, во мне он видел только начальника, но никак не однокашника.

Жирноев был упитанным парнем с отечным красноватым лицом и крупным торсом на неестественно тонких ногах. Обычной для молодых людей талии он не имел: с плеч до бедер он был одинаков по ширине. Учившиеся с ним курсанты рассказывали, что он имел привычку записывать в малюсенькую книжечку дурные поступки ребят и потом докладывал об этом командиру взвода.

Удивительно, что и с Жирновым я встретился после войны. Произошло это около гостиницы «Националь» как-то летом. Перекинулись несколькими фразами ни о чем и разошлись. Для меня эта встреча была неприятной, хотя о его службе и жизни я ничего не знал.

Пухлов – третий из конвоиров – был дубоватым деревенским скрытным по натуре парнем. Никто из сослуживцев никогда не знал, как он к кому относился. Смеялся он каким-то тихим утробным смехом, но его могучий корпус при этом сильно содрогался. Было такое впечатление, что при смехе у него внутри ворочался богатырь.

Выйдя из клуба, мы образовали большую толпу. Курящие курсанты задымили папиросами и казенной махоркой, отчего над нашими головами повисло сизое облако табачного дыма. Вскоре курсанты, стоявшие ближе к дороге, расступились, и к клубу подкатила пароконная пролетка командира нашего дивизиона. На высоких козлах восседал Паршин с натянутыми вожжами в руках. Усилием воли он старался придать своему маленькому веснушчатому лицу суровость и значительность. Курсанты, стоявшие у дверей клуба, посторонились и конвойные Пухлов и Жирноев с карабинами в руках вывели Борзова из помещения. Перед пролеткой Борзова остановили, и к нему подошли родители. Мать беззвучно плакала, и крупные слезы одна за другой катились по ее морщинистым щекам. Отец же крепился, но было видно, что он едва удерживает слезы. Можно было понять большое горе родителей: их сын из глухой сибирской деревушки учился в большом городе на красного командира. Они гордились сыном, и односельчане уважали их за это. Не из каждой крестьянской семьи выходит красный командир. А теперь он – преступник, осужденный на долгие годы тюрьмы... Но несчастные крестьяне не знали, что через какой-то час на их головы свалится уже не беда, а трагедия...

Борзов на удивление был спокоен, и все уговаривал мать не плакать. Потом резко повернул голову в сторону судебного исполнителя, который подобно журавлю стоял неподвижно с большой плоской папкой подмышкой, и громко сказал:

– Снимите хоть на минуту наручники! Дайте мать на прощание обнять!

Курсанты, стоявшие поблизости, и исполнитель насторожились. Наступила тишина, нарушаемая лишь глухим говором курсантов, стоявших в отдалении. Прошло еще несколько мгновений, и долговязый худой человек молча сунул руку в карман и также молча открыл замок наручников. Борзов подошел к матери, крепко обнял и поцеловал ее. Теперь уже несчастная женщина заплакала навзрыд.

Вновь надев наручники, Борзова усадили в пролетку. По бокам устроились конвойные. Я сумел протолкнуться к самой пролетке, стремясь взглянуть Борзову в глаза. Мне это удалось, он увидел меня и бодро сказал:

– А, Иванов! Почисти и моего мерина, когда будешь холить своего Дарьяла!

Условия были не для дружеских разговоров, Я лишь кивнул ему головой в знак согласия и про себя подумал, что почищу, конечно. Потом я слышу, как Борзов весело говорит конвойным:

– Зря стараетесь, салаги! Я ведь все равно сбегу!

– Не убежишь, - глухо буркает Пухлов.

– Мы стрелять будем, не сомневайся! – добавил конвоир, и щеки его вспыхнули нездоровым румянцем.

Судебный исполнитель с неподвижным мертвым лицом взгромоздился на козлы и уселся рядом с Паршиным, сделав его в сравнении с собой совсем малышом. Пролетка тронулась по Красноармейской улице мимо низкой каменной стены бывшего женского монастыря, в котором располагалась наша школа. Вскоре упряжка повернула за угол и скрылась из вида. Нас построили и повели в казарму. Обычных песен мы не пели. Шли молча.

Тем временем печальный экипаж катил по грунтовой дороге, петляя меж беспорядочно разбросанных огородных участков, разделенных между собой головками старых кроватей и прочим железным хламом. Вскоре вдали возникли мрачные очертания высокого здания из красного кирпича и другие постройки городской тюрьмы. Борзов, сидевший все это время спокойно и молча, резким и мощным толчком плеча вышиб Жирноева из экипажа, соскочил на землю и кинулся бежать. Жирноев как мешок рухнул на землю, выронив из рук карабин. Пухлов же быстро спрыгнул с пролетки, опустился на колено, передернул затвор и стал спокойно выцеливать беглеца. Грохнул выстрел, и Борзов рухнул наземь, будто споткнувшись о какое-то невидимое препятствие. Как потом установил тюремный врач, Борзов был убит наповал.

Разумеется, Пухлов действовал правильно. Но все конвоиры во все времена первый выстрел давали поверх головы убежавших из-под стражи. Звук выстрела и злое свист пули часто отрезвлял беглецов, и они отказывались от побега. Не исключено, что и Борзов мог передумать, услышав свист пули над головой и вернуться к своим конвоирам. И как мог убежать, скованный наручниками? Отсидел бы свой срок и вышел на волю, вернулся домой в родную деревню или завербовался на какую-нибудь стройку, если стыдно встречаться с родными. Да, пожалуй, и отсидеть срок не успел бы – вскоре началась война. Его бы выпустили из тюрьмы и отправили бы на фронт, учитывая наивность преступления: парню захотелось иметь свой револьвер. Пухлов же хладнокровно убил своего товарища. Жестокое было время, и люди были жестокими. Шел страшный 1937 год, когда жизнь человека ничего не стоила и висела на волоске.

Не исключаю того, что Борзов после суда твердо решил покончить с жизнью, предпочитая мгновенную смерть бесконечному и позорному для него заключению. Действительно, какие у него были шансы убежать, когда он спрыгнул с пролетки, и по нему могли стрелять из двух карабинов.

После всего случившегося с Борзовым я свой револьвер уже видел в другом качестве, он превратился в страшную улику против меня. Стало ясно, что с ним надо немедленно кончать. Много вариантов я прокручивал в голове, как это сделать. Самое простое было выбросить револьвер в Томь, как это делали многие мужики, освобождаясь от оставшегося у них оружия после гражданской войны. Но выбросить новенький револьвер у меня не поднималась рука даже мысленно. К тому же я считал себя после этого все же укравшим оружие из воинской части. Пока я мучительно обдумывал и взвешивал все “за” и “против” того или иного способа, незаметно пришло готовое и твердое решение вернуть револьвер на склад.

И началась прямо противоположная краже операция по возвращению деталей револьвера на свои места в складе НЗ. Эта операция оказалась более сложной по сравнению с первой в связи с тем, что бдительность персонала складов после случая с Борзовым была резко повышена, и так просто, целым взводом на склады нас уже не водили. Но я надеялся туда обязательно попасть, потому что завскладом, сверхсрочник Панов, меня хорошо знал и доверял мне.

При первом же увольнении в город что есть духу помчался домой, быстренько поговорил с родителями и, придумав подходящую причину, полез на чердак. Там я разобрал револьвер на части, завернул в тряпицу и сунул в карман. Наскоро поев, побежал обратно в училище, сказав родителям, что заступаю в наряд. Пришел в казарму. Там только один дневальный. Незаметно сунул детали револьвера в противогазную сумку под банку и стал ждать удобного случая. Это было самое тревожное время, в любой момент командир отделения мог проверить состояние моего противогаза. Проверить, правильно ли сложена маска и уложена дыхательная трубка, не ношу ли я чего лишнего в сумке. Спасала меня педантичность Чеснокова: проверял он тумбочки, оружие, противогазы, обмундирование строго по расписанию, висевшему на доске объявлений нашего взвода. Поэтому я своевременно вытаскивал из сумки детали и прятал их в карман. Это была игра с огнем! Всё же я был еще мальчишкой, не способным реально оценить последствия своего поступка, если бы счастье повернулось ко мне спиной.

Наконец, настал день, когда наш взвод был назначен дежурным, и нас стали распределять на хозяйственные работы. Стараясь быть как можно спокойнее, я подошел к командиру отделения и сказал ему, что старшина Панов попросил двух курсантов на два-три часа для работы на оружейном складе.

— А тебе откуда это известно? Где ты видел Панова? — подняв широкие брови, спросил меня неожиданно Чесноков. Он пришел в училище после сверхсрочной службы и воинские порядки прекрасно знал. От этих вопросов у меня буквально перехватило горло, я не знал, что ему ответить. Чесноков уже было собирался более резко поставить вопросы, как я уже нашелся и придумал

правдоподобную враку. Я сказал, что последний раз, когда мы работали на складе, Панов просил меня приходить к нему с кем-нибудь, когда взвод будет назначен на хозяйские работы.

– Да, он хвалил тогда тебя. Ну, хорошо! Бери Мешкова и идите к Панову, – к моему счастью, отдает распоряжение командир.

Быстро отыскиваю Мешкова, и мы шагаем на склад. Теперь одна забота – был бы Панов на месте. И тогда – победа! Мне не терпелось, и я невольно ускорял шаги. Мешков сердился:

– Куда ты летишь? Склад – не столовая! Успеем.

– Получше столовой и даже ресторана, – отвечаю я и почти перехожу на бег. Сворачиваем за угол длинющего строения артпарка. Я вижу открытую дверь оружейного склада и решетку, загораживающую дверной проем. Ура! Панов на складе! Я, как старший, докладываю ему, что посланы для работы на складе. У какого начальника склада не окажется работы для двух парней, одного из которых он хорошо знал и которому доверял.

Все! Сбылось желаемое! Я у знакомых стеллажей со знакомыми деталями. Мешкова посылаю за ветошью. Оставшись один, с ловкостью обезьяны раскладываю детали по местам. С сердца, с головы, с души, со всего тела скатывается огромный валун. Даже дышать стало свободнее и легче. Сердце уже не выскакивает из груди.

Этот грустный эпизод моей жизни подвел бы черту под моим бездумным и наивным отрочеством. Я становился взрослее и благоразумнее. Позже одиссею с револьвером я рассказывал своим близким и друзьям. А вот сейчас описываю подробно. Но тогда, в тридцать седьмом, у меня хватило ума не рассказывать это никому, даже родному человеку или закадычному другу. Никому! В итоге получилась как бы нулевая ситуация: украл тайно и вернул тайно. Но чтобы свести эти два поступка к нулевому результату, сколько пришлось передумать и пережить! Надо иметь ввиду, что описываемые события происходили в то черное время, когда по всей стране расправлялись с “врагами народа”.

Совсем недавно Томское Артиллерийское Училище отмечало свой 75-летний юбилей. Моя племянница Таня сходила в это училище и рассказала, что в нем я учился в 1936-38 годах и работал преподавателем после госпиталя в 1943 году. Командование училища попросило переслать мне книгу, которую они издали по случаю юбилея: “Очерки истории училища за 75 лет”. В этой книге много рассказывается и о том страшном времени, о котором я пишу в своей повести.

Репрессии захватили и Томское Артиллерийское Училище. Работники НКВД «раскрыли» в нем «антисоветскую троцкистскую военную организацию» в составе десятков человек, включая всех руководящих лиц училища: полковника Пантюхина, полкового комиссара Агейкина, полковника

Бигельдиева, начальника санитарной службы Никольского, начальника ветеринарной службы Окунькова и многих других начальников и преподавателей училища. Суда никакого не было, приговаривала к расстрелу “тройка“, рассматривая дело каждого обвиняемого в течение 7-10 минут.

Особенно потрясла всех курсантов весть об аресте всеми уважаемого прекрасного командира начальника школы полковника Пантюхина Ивана Андреевича. Был он строен, подтянут, красив, прекрасно относился к своим подчиненным, отлично знал артиллерийское дело. Мне как-то посчастливилось исполнять должность связиста на командном пункте в то время, когда начиналась артиллерийские стрельбы, и начальник училища по традиции первым выполнял огневую задачу. Стрелял он умело и уверенно, одно удовольствие было смотреть, как он корректировал огонь, наблюдая отклонение каждого разрыва снаряда.

Служебная квартира полковника Пантюхина была на территории училища и располагалась в одном доме с санитарной частью. Поэтому многие курсанты знали в лицо и его красавицу-жену Дину Михельсон, работавшую преподавателем математики в Томском пединституте.

В архивно-следственном деле Пантюхина А.И. записано, что в последнем слове подсудимый отверг все обвинения в свой адрес, считая их вымышленными, и просил направить его рядовым бойцом в республиканскую армию Испании или народную армию Китая. Но приговор давно был ясен: Пантюхин был приговорен к расстрелу, который через несколько минут был приведен в исполнение. Исчез с лица земли еще один замечательный человек! Вскоре была репрессирована и его жена Дина.

Мы очень жалели и добряка Окунькова – начальника ветеринарной службы училища, также обвиненного в антисоветской деятельности. Все курсанты его называли “коликэи смерть“. Этими словами он всегда заканчивал свои уроки по правилам кормления лошадей. Дело в том, что у лошади имеется обратный клапан в конце пищевода, и она не в состоянии срыгнуть проглоченную пищу, как это может, например, корова. Поэтому лошадь обычно погибает, если ее накормить заплесневевшим овсом или сеном или напоить грязной водой. Лошадь спасает только ее обостренное внимание, она никогда не съест заведомо плохой пищи, и не будет пить протухшую воду. Так вот какой-то злобный человек пустил слух, что “колики-и-смерть“ заражал лошадей сапом! В то время, как этот добрый толстяк и мухи-то не мог обидеть, а к лошадям относился, как к своим детям.

Невольно приходит мысль: что бы сделали тогда со мной, да и с Пановым, если бы по воле случая детали револьвера обнаружили в сумке моего противогаза, когда я ожидал подходящего момента утащить их домой или потом отнести их обратно на склад НЗ.

Любовь к оружию я пронес через всю свою жизнь. Уже будучи офицером, я постоянно участвовал в соревнованиях по стрельбе из пистолета. Вспоминаются предвоенные годы, когда я служил в Харькове, бывал и в Чугуевских лагерях. Там я и мои товарищи Павлик Ботов и Валя Иванов на соревнованиях часто получали призы за отличную стрельбу. В 1957 году в Киеве на окружных соревнованиях я занял первое место по стрельбе из пистолета Макарова, получив за это приз и второй спортивный разряд. Служа в Киевском артучилище, я много занимался стрелковым спортом. Дома у меня постоянно хранились спортивные и боевые пистолеты, и я часто водил своих ребят Алика и Наташу в тир, который был под окнами нашего ДОСа (дома офицерского состава).

Я также любил стрелять из тяжелых орудий прямой наводкой. Особенно много пришлось пострелять из 100-мм противотанковой пушки и 152-мм гаубицы в качестве наводчика, когда я обучал этому делу офицеров и солдат артиллерийской бригады. Хотелось бы поподробнее рассказать о том чувстве, которое испытываешь, находясь во время громоподобного выстрела рядом с тяжелым орудием. Гул выстрела и мощная воздушная волна буквально встряхивают весь организм. Настоящие артиллеристы никогда не прикрывают уши руками: делать это некогда и недостойно настоящих мужчин. При выстреле они лишь слегка приоткрывают рот, что предотвращает разрыв барабанной перепонки. Ударная волна в этом случае действует не с одной, а с двух сторон, и ухо значительно легче переносит это перенапряжение. От грома выстрела организм начинает жить как-бы новой, активной и радостной жизнью. В бою мощные звуки выстрелов своего орудия добавляют уверенности в нашем превосходстве, снижают страх от близких взрывов ответного огня противника. После длительной стрельбы, когда наступает затишье, чувствуешь себя примерно так, как чувствует себя человек, впервые полетевший на самолете. Возможно, что это в какой-то степени мои субъективные ощущения, но их испытывали многие артиллеристы, с которыми мне приходилось об этом говорить.

Когда я, закончив академию, служил на Дальнем Востоке заместителем командующего артиллерийской дивизии, я много занимался усовершенствованием орудий и минометов. Некоторые мои предложения были приняты Главным Артиллерийским Управлением.

В это время поступил на вооружение автомат Калашникова. Я самым внимательным образом изучил его. Работая начальником артиллерии Благовещенского высшего общевоинского училища, я много стрелял из него. Мне не понравились чрезмерная сложность устройства затвора и очень высокое расположение целика и мушки относительно канала ствола. Я засел за чертежи и вскоре сделал эскизный проект более простого автомата. Но дальнейшая моя служба сложилась так, что этим я больше не занимался.

В один трижды прекрасный день я приехал в Хабаровск в штаб артиллерии Дальневосточного военного округа на доклад о своих усовершенствованиях конструкции некоторых пушек и минометов. В отделе кадров меня познакомили с документом, из которого я узнал, что Академия артиллерийских наук объявила набор в аспирантуру повышенного типа для лиц, имеющих научные труды или изобретения. Эта новость ошеломила и окрылила меня: появилась реальная возможность уехать с Дальнего Востока, где мне пришлось бы служить до отставки. А из-за этого моя жизнь и жизнь моей семьи сложилась бы совсем иначе.

Теперь все зависело от меня! Надо было срочно и эффективно действовать. Я детально переписал условия приема, когда и по каким предметам надо сдавать конкурсные экзамены. Вернувшись в Благовещенск, быстро оформил эскизный чертеж только что сконструированного мною автомата, сделал приличные чертежи своих прежних изобретений и усовершенствований, приложил имевшиеся авторские свидетельства, написал рапорт на имя президента Академии Артиллерийских Наук маршала артиллерии Воронова и все это сдал в штаб нашей армии, стоявший в Благовещенске, для отправки в Москву. Я немедленно сел за учебники, наставления и инструкции по боевому применению артиллерии. За русский язык и литературу я был спокоен, потому, что сочинения я писал легко и грамотно. Надо было поднажать на специальные дисциплины и немецкий язык.

Все пошло своим чередом, но тут мне дорогу в Москву перебегают черные коты: по приказу из центра меня назначают председателем выпускной комиссии в Хабаровском артиллерийском училище. А это почти месяц работы! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! По срокам получалось невероятно сложно: экзамены в Москве начинались через три дня по окончании выпуска в училище. Но что поделаешь? Приезжаю в Хабаровск, представляюсь командующему артиллерией Ставки Дальнего Востока генерал-лейтенанту Одинцову Георгию Федотовичу. В конце официальной беседы в качестве председателя комиссии я рассказал Одинцову о сложившейся для меня трудной ситуации с экзаменами в ААН.

– Ни о чем не беспокойся, – улыбаясь, сказал генерал, – как только подпишешь выпускной акт, в тот же день тебя машина отвезет на аэродром. Билет будет заказан заблаговременно. Зайди сейчас в транспортный отдел и передай мое распоряжение.

Генерал сдержал свое обещание, и я вовремя прилетел в Москву на экзамены.

Через восемь лет я из Киева был переведен в Москву преподавателем в Артиллерийскую академию, которой в то время командовал генерал Одинцов (с ужасом думаю сейчас, что было бы со мной и моей семьей, если бы я остался работать на Украине!). Он узнал меня, поинтересовался, окончил ли я аспирантуру при ААН и спросил, в каком направлении я хотел бы работать в академии. В это время происходило становление Ракетных войск

стратегического назначения, и я сказал, что более всего меня интересует управление этими новыми войсками как одна из важных и сложных задач их боевого применения. Этим я в большей мере и занимался в Академии. Работа была интересной, и я трудился с энтузиазмом первопроходца.

По рекомендации Одинцова меня часто привлекали к работе Главного штаба РВСН для подготовки и проведения учений, а также для проверки боеготовности ракетных частей и соединений. Я с удовольствием вспоминаю то время. Когда мы на самолете командующего РВСН летали по городам и весям нашей тогда необъятной страны...

Расскажу смешной эпизод, связанный с моей изобретательской работой на Дальнем Востоке. Как-то из Москвы пришел приказ, чтобы артиллеристы сами умели ставить мины для прикрытия огневых позиций батарей, а не ждали, когда это сделают саперы, у которых своих дел по горло. Из состава оружейных расчетов были срочно подготовлены минеры, которые и стали устанавливать мины, разумеется, учебные. Личный же состав батарей никакого внимания на них не обращал, и люди спокойно ходили по «минному полю». Тогда у меня возникла мысль сделать так, чтобы, наступив на «мину», солдат хотя бы испугался немного, а офицеры могли это заметить. Я быстро и просто реализовал эту идею: штатный ударник противопехотной мины ввернул в специально сконструированную для этого трубку, которая заряжалась холостым винтовочным патроном. Ударник с заряженной патроном трубкой вставлялся в штатный ящик для противопехотной мины. Если на такую «мину» наступал человек, то раздавался выстрел. Теперь у доморощенных минеров появилась заинтересованность в «минировании» подступов к позиции. Наступивший на «мину» солдат фиксировался как раненый и выбывал из строя, усложняя тем самым работу остальных номеров оружейного расчета.

Командовал тогда Благовещенской дивизией добрый старик генерал Белобородов. Запомнился мне он тем, что носил окладистую белую бороду и очень любил в воскресные дни бродить по городскому базару. Как-то проверяя работу артиллеристов, он познакомился с придуманными мною учебными противопехотными минами, которые ему очень понравились. На одну из таких «мин» генерал сам наступил для того, чтобы самому испытать ее в действии. Под его ногой раздался гулкий выстрел.

— Прекрасно! — воскликнул генерал. — Это то, что надо!

Вскоре он вызвал меня и назначил время, к которому он собирает старших офицеров дивизии для ознакомления с моей учебной миной для внедрения ее во все части и подразделения дивизии. Началось совещание. Белобородов сидит за огромным письменным столом. К этому столу придвинуты буквой «Т» еще два длинных стола, за которыми чинно сидят офицеры, тихо переговариваясь между собой. Я сижу посередине. Передо мной стоит деревянный ящик

штатной противопехотной мины под двухсотграммовую толовую шашку. Рядом лежат холостой патрон, ударник и стальная трубка – патронник, которую я придумал.

Комдив начинает совещание с рассказа о посещении огневой позиции гаубичного полка, где он «подорвался» на учебной мине моей конструкции. Много говорит хороших слов в мой адрес.

– Это замечательно! Такие мины будут приучать к вниманию орудийные расчеты. А то сами минируют, и сами топчутся на минах, как куры. Только отвлекаем личный состав батарей на ненужную работу.

Сказав еще несколько хороших слов по поводу других моих изобретений, он предложил мне рассказать об учебной мине и продемонстрировать ее подготовку к установке в грунт. Я встал, открыл крышку ящичка мины, взвел ударник, зафиксировав его чекой, вложил холостой винтовочный патрон в трубку-патронник и ввернул ударник. Затем все это устройство я вложил в ящичек мины и осторожно прикрыл крышку, выступы которого уперлись в чеку. Теперь достаточно слегка нажать на крышку, чтобы чека выскочила, а освобожденный ударник произвел выстрел. В кабинете установилась полная тишина. Более десятка пар глаз внимательно следят за моими руками. Подготовленную к установке мину я поставил на стол со словами:

– Вот теперь при нажатии на крышку мины (сам кладу ладонь на крышку) произойдет взрыв... Разволновавшись, я совсем забыл, что зарядил мину патроном, и... нажал на крышку... Раздался мощный выстрел! Деревянную коробочку мины разнесло в щепы, и я ощутил обжигающую боль в ладони. Офицеры, сидевшие в непосредственной близости, инстинктивно откинулись назад, и попадали на пол вместе со стульями. Я остолбенел от неожиданности. Стою неподвижно, смотрю на генерала, ожидая его гневной реакции, и прижимаю нестерпимо болевшую руку к бедру. Падение офицеров невольно рассмешило меня, но я изо всех сил крепился и, делая скорбное лицо, продолжал смотреть на командира дивизии.

Наконец, я решился заговорить, чтобы объяснить свою оплошность. Но Белая Борода (так мы звали генерала между собою) сказал, чтобы я сел и после некоторой паузы заговорил назидательно:

– Товарищи офицеры! В чем дело? Вы так испугались, что попадали от холостого выстрела!

Я забыл сказать, что сам Борода в этой ситуации и глазом не моргнул. Сейчас я думаю, что выстрел и разрушение мины должны были произойти при демонстрации моего «изобретения», он так, видимо, считал.

– Как же быть, если опять придется воевать? А ведь упали со стульев и некоторые ветераны войны!

– Теряем, теряем товарищи офицеры, боевые навыки...

Генерал еще поговорил на эту тему, дал распоряжение начальнику артиллерийского вооружения дивизии изготовить необходимое количество предложенных мною учебных мин и отпустил офицеров.

– Иванов, останься! – сказал в конце Борода. Когда все вышли, он засмеялся и сказал весело:

– Вояки!

Я рассказал генералу о своей ошибке. О том, что, конечно, не должен был нажимать на мину.

– А ну, покажи руку.

Я показал. Ладонь была красной и распухшей.

Я чуть пошевелил ими, ощущая нестерпимую боль в суставах

– Сходи-ка в госпиталь. Пусть эскулапы просветят руку и что то сделают (благо было до госпиталя валенок добросить).

Потом он встал, похлопал меня по плечу и отечески произнес:

– Всякое бывает. Но надо быть внимательным всегда. Даже тогда, когда в этом, вроде, и нужды нет.

Итак, я прилетел в Москву и к назначенному часу иду в Президиум Академии, который находился на Арбате, в Староканюшенном переулке. По широкой парадной лестнице поднимаюсь на второй этаж старинного особняка. Показываю дежурному офицеру вызов на экзамены в ААН, и он направляет меня в конференц-зал, где собирались такие как я. Приходит какое-то начальство, которому мы сдаем свои бумажки. В итоге оказывается, что нас тридцать человек на три вакантных места. Одно место можно было вычеркнуть сразу: среди нас – сын президента Академии Воронов Володя, с которым я был знаком еще со времени учебы в Академии Фрунзе. Получается двадцать девять человек на два места. Задача невероятно трудная, но я не падаю духом. Все претенденты в основном из крупных городов: Москвы, Ленинграда, Киева. С Дальнего Востока я один, и на меня многие смотрят с любопытством. С Володиём Вороновым мы встретились как хорошие знакомые и сразу же договорились готовиться к экзаменам вместе дома у него и у меня.

Экзамены проходили с перерывами в два дня между предметами. Для многих кандидатов экзамены были рутинным делом, а для меня – единственной возможностью изменить свою жизнь и жизнь всей моей семьи. Тогда обстоятельства сложились на уровне «быть или не быть», и я ко всем экзаменам готовился на пределе своих возможностей. Закончились экзамены. Нас снова собирают в конференц-зале, и зачитывают приказ президента Академии маршала артиллерии Воронова Н.Н. Из приказа становится ясно, что по конкурсу, кроме Володи, прошли два офицера: я и еще один подполковник из Ленинграда. Нас зачислили в очную трехгоднюю аспирантуру. Я был на седьмом небе от счастья. Прощай, Дальний Восток! Бегом мчусь на уголок Староканюшенного на почту и посылаю развеселую телеграмму Миле. На следующий день я улетел в

Благовещенск за своими «кроликами». Вскоре мы снова стали жить в Москве. Предстояла интересная учеба в аспирантуре и в перспективе еще более интересная служба в Ракетных войсках Стратегического назначения, но об этом я тогда и думать не мог.

Вернусь на несколько лет назад и расскажу о том, как командование Академии им. Фрунзе, куда я поступил в 1947 году, очень продуманно изымало личное оружие у слушателей при поступлении на учебу и во время учебы.

Не секрет, что с фонта, из оккупированных районов Германии офицеры привозили массу всевозможного оружия: охотничьих ружей, пистолетов и револьверов различных систем. У многих хранилось и неучтенное отечественное оружие (не записанное в удостоверение личности). Начальство начало с того, что допускало к экзаменам тех офицеров, которые сдали свои «цапки». У кого не было оружия – выпрашивали у тех, кто имел несколько пистолетов. Я тогда сдал свой парабеллум – лучший револьвер периода второй мировой войны, которым были вооружены офицеры немецкой армии. Сдал, хотя кошки долго скребли на сердце.

Начальник Академии генерал Курочкин, сам прошедший войну, прекрасно понимал, что офицеры сдали не всё оружие, оставив себе на память наиболее понравившиеся экземпляры. Поэтому он придумал весьма тонкий ход: накануне больших праздников издавал приказы, в которых указывалось, что слушатели могут анонимно сдать оставшееся у них оружие, положив его в ящик склада артвооружения (в подвальном помещении Академии). Для этого в стене склада была сделана ниша, в которую свободно проходила рука с оружием. Начальник артвооружения Академии позже рассказывал, что в первые годы обучение фронтовики сбрасывали в этот ящик десятки «стволов» перед каждым праздником. По-другому было нельзя, так как каждый офицер давал расписку, что оружия на руках не имеет.

Надо сказать, что умные приказы и законы всегда побуждают людей к рациональным действиям. В таких деликатных вопросах надо и поступать деликатно, демократично. Жесткий приказ с угрозами в таком деле не дал бы желаемых результатов.

Еще до войны, работая в Харьковском противотанковом училище, я детально изучил стрелковое вооружение. Почему, подумает мой вероятный читатель, артиллерист вдруг изучает стрелковое вооружение? Дело в том, что в библиотеке училища был прекрасный трехтомник, где излагались принципы конструирования такого оружия и приводились чертежи и данные пистолетов, револьверов, автоматов и винтовок армий всего мира. Трехтомник был написан выдающимся ученым-оружейником, работавшим в Артиллерийской академии и Главном Артиллерийском управлении Красной Армии. Изучив эти толстые тома, я стал смотреть на наше оружие, а позднее на оружие немецкой армии, уже со знанием дела, видя преимущества и недостатки тех или иных образцов.

Наша отсталость в вооружении армии стрелковым оружием просто бросалась в глаза. Но особенно эта истина стала очевидной с началом войны, когда я имел возможность внимательно ознакомиться с трофейными пулеметами, автоматами, пистолетами немцев и видеть их в деле. Горько тогда было сознавать, какой вред армии нанесли такие самоучки-изобретатели, как Токарев, который сумел убедить высшее военное руководство принять на вооружение буквально накануне войны свою скверную самозарядную винтовку – СВТ – и начать её массовое производство на пяти лучших оружейных заводах страны. Практика показала, что эти винтовки часто отказывали, а с наступлением холодов 1941 года вообще перестали стрелять, и солдаты бросали их, предпочитая иметь хотя и примитивную, но безотказную русскую трехлинейку Мосина.

Но мечтой каждого нашего пехотинца было обзавестись трофейным немецким автоматом. Скверными были и пистолеты Токарева – ТТ, которые не шли ни в какое сравнение с мощными и точными немецкими пистолетами «Парабеллум» калибра 9 мм. Этот губительный эксперимент с самодельным оружием Токарева был поддержан Сталиным, который ставил задачу иметь только «свое» оружие. В то же время в армии нашего наиболее вероятного противника, Германии, были прекрасные образцы стрелкового оружия – винтовки, пистолеты, противотанковые ружья. Их можно было быстро скопировать и наладить массовое производство.

Правильно делают сейчас те государства, которые копируют автомат Калашникова, зарекомендовавший себя повсюду в мире с самой лучшей стороны. Особенно он популярен на Ближнем Востоке.

Можно совершенно уверенно сказать, что большое преимущество немцев в стрелковом вооружении было одной из причин огромных потерь в личном составе наших пехотных подразделений и частей, особенно в начале войны.

Сейчас я задаюсь вопросом: неужели наша военная разведка не знала, что немцы еще в 1934 году совершили буквально переворот в своем стрелковом вооружении, переведя патронные заводы страны на выпуск боеприпасов нового типа – с меньшей конусностью и без закраины на гильзе, которая у патронов прежней конструкции значительно выступала за габариты. Под новые патроны немцы сконструировали прекраснейший пулемет ММГ-34, которым вооружили и пехоту, и мотострелков, и танкистов, и авиаторов, и зенитчиков. Ствол этого пулемета имел воздушное охлаждение и мог быть в случае перегрева заменен запасным в считанные секунды. К каждому пулемету прилагался красивый плоский ящик с набором запасных частей и инструментом для ремонта в полевых условиях.

Этот пулемет в полной исправности я впервые увидел в ноябре 1941 года. Немцы его бросили, не выдержав удачной ночной атаки наших конников в районе г. Елец. Я был восхищен видом пулемета, стоявшим на высокой треноге для стрельбы по самолетам. Поразила свисающая до земли бесконечная

металлическая лента, набитая патронами. Еще большее восхищение я испытал, открыв упомянутый металлический ящик: в нем лежал новенький ствол, детали к затвору и масса всяких напильничков, плоскогубцев, молоточков и отверток. Для меня – любителя что-то делать своими руками – это был сущий клад.

Наша же пехота была в основном вооружена станковыми пулеметами «Максим», доставшимися нашей армии еще со времен первой мировой войны. Эти пулеметы имели матерчатую ленту, которую в сырую погоду было трудно снаряжать патронами, а в жару патроны высыпались из неё, вызывая бесконечные задержки в стрельбе. Для охлаждения ствола кожух пулемета заливался водой, которая в морозы застывала и разрывала его.

Работа наших конструкторов автоматического оружия перед войной была сильно осложнена строгими указаниями Главного Артиллерийского правления, создавать новые виды стрелкового вооружения только под винтовочный патрон старой конструкции, который был сделан для винтовки Мосина и пулемета Дегтярёв. Наткнулся на это указание и конструктор нашего ручного пулемета Дегтярёв. Его пулемет имел круглый диск всего на 49 патронов, который в бою приходилось часто заменять, а снаряжать его было очень трудно, особенно зимой закованными руками. Эта злополучная закраина на гильзе крайне усложняла механизм автоматической стрельбы и применение металлической ленты нового типа, из которой патрон не вытаскивался, а продвигался вперед и далее загонялся в патронник для выстрела. Только после войны у нас был, наконец, создан свой автомат. По размерам и мощи его патрон занял среднее место между пистолетным и винтовочным патронами старого образца, и потому был назван «промежуточным». К этому же патрону Симонов сконструировал прекрасный карабин. Истины ради нужно сказать, что немцы еще в 1943 году создали промежуточный патрон и сконструировали к нему автомат. Немцы также в ходе войны значительно усовершенствовали свой знаменитый пулемёт МГ-34, создав пулемет МГ-42. Только поражение на фронтах в 1944-1945 годах не позволило немцам провести перевооружение своей армии более совершенным стрелковым оружием. Вообще надо признать, что немецкая конструкторская мысль значительно опережала нашу по многим видам вооружения. Так, немцы первыми сделали чудо-оружие для борьбы с танками в условиях населенных пунктов – фауст патроны кумулятивного действия. Немцы же первыми создали и управляемые ракеты дальнего действия, и крылатые ракеты.

После войны мы начали с того что усердно копировали эти новинки. Так, осенью 1945 года на территорию Московского артиллерийского училища «Катюш» из немецкого городка ракетчиков Свинемюнде на железнодорожной платформе привезли немецкую ракету ФАУ-2, которую наши конструкторы стали внимательно изучать. Вскоре с полигона Капустин Яр была успешно

запущена ракета Р-5 аналогичной конструкции. О ракетах я еще буду рассказывать, а пока продолжу о своей жизни.

В 1955 году я закончил аспирантуру и при Академии Артиллерийских наук защитил кандидатскую диссертацию и получил назначение в Киевский военный округ на должность начальника кафедры тактики Киевского артиллерийского училища. Затем я два года проработал заместителем командира тяжелогаубичной бригады, после чего, наконец, был вызван в Москву на преподавательскую работу в Артиллерийскую Академию им. Дзержинского. Таким образом, осуществилась моя давняя, еще довоенная, мечта. Тем более, что Академия стала готовить кадры для вновь созданных Ракетных войск стратегического назначения.

Пока шла переписка и прочая волокита, связанная с переводом из Киева в Москву, я буквально накинулся на всю имевшуюся к тому времени литературу по управляемым ракетам дальнего действия. Нашей литературы на эту тему еще не было, и я приобрел переводы с английского и немецкого. Особенно хорош был двухтомник какого-то английского автора «Управляемые снаряды». Всю эту «ракетную» литературу я добросовестно проштудировал, детально изучив принципы и конструкцию управляемых ракет. Когда я пришел в Академию, то к своему удивлению оказался прямо-таки знатоком в ракетном деле. Принципиально новых идей в конструкции наших первых ракет не было. Оригинальными и более совершенными были лишь отдельные узлы и системы ракет и их двигатели. Много нового было в системах управления и компоновки самих ракет. Но, зная принцип устройства, изучить конкретные конструкции для меня уже не составляло большого труда.

В течение первого года работы в Академии я стал неплохим специалистом по этому новому виду вооруженных сил страны, и меня стали привлекать для работы в Главном Штабе РВСН для разработки и проведения учений, для написания различных инструкций и наставлений, в частности, я принимал активное участие в написании первого устава РВСН, над которым наша группа работала около полугода.

Одним словом, работа в Академии была новой и очень интересной, и я ушел в неё с головой.

Вспоминаю теперь иногда, как я в Томске начинал с самодельного пороха для «поджигателей», огромной берданки и шомпольного самодельного ружья. Закончилась же моя эпопея увлечения оружием — стратегическими ракетами с ядерной начинкой. Любовь к оружию помогла мне сделать хорошую «шомполку» и успешно овладеть потом новейшим стратегическим оружием. Игра стоила свеч...

Белые пароходы

*...И провожают пароходы
Совсем не так, как поезда...*

Слова из песни

Как это прекрасно: большой город на берегу судоходной реки! И чем крупнее город, тем красивее он смотрится на большой реке. Это чудесное единство реки и города пришло к людям из глубокой древности: какое-нибудь славянское или иное племя облюбовало место на хорошей реке, вырубил прибрежные леса и построило себе избы и лодки. В реке – масса рыбы, а в окрестных лесах – зверья. На лодке можно добраться в соседние и дальние поселения и обменяться товарами. Во все времена жизнь в городах, выросших на реках, была приятной и привольной.

Постепенно хорошели города и улучшались речные суда. После изобретения паровой машины на реках появились красавцы-пароходы, которые бегали между городами, развозя пассажиров. Пассажирские пароходы изначально красили дорогой белой краской, что делало их особенно красивыми, издали напоминая белых лебедей. Уже первые строители пассажирских пароходов понимали, что суда должны быть не только удобными для пассажиров, но и привлекательными внешне, так как сразу же возникло много судоходных компаний, конкурировавших между собой.

Пассажирские пароходы обычно имели две или три палубы, на которые выходили остекленные двери множества кают, что придавало пароходам особое изящество. В носовой части второй и третьей палуб располагались прекрасно оформленные салоны для особо богатых или важных пассажиров. Они имели большие окна с зеркальными стеклами и были обставлены дорогой мягкой мебелью. Однако сколько бы я не плавал по Томи и Оби, эти салоны всегда пустовали. Объяснить это можно, видимо, тем, что пассажирские суда тех лет были построены еще на верфях царской России, когда такие богачи, как Воткин, Кухтерин и другие, конечно же, не поплыли бы даже в каюте первого класса, а потребовали бы фешенебельные салоны. Ну, а после революции кто мог оплатить проезд в таком салоне? Были, конечно, и тогда богатые люди, особенно во времена НЭПа, но кто бы решился так демонстрировать свой чрезмерный достаток на глазах у сотен своих небогатых и часто обездоленных соотечественников? Вот так от одной навигации до другой и возил пароход в этих салонах чистый воздух, пропитанный запахом дорогой мебели.

Совсем по-иному были устроены речные буксирные пароходы. Они имели лишь одну палубу, которая от машинного отделения до кормы была свободной, и на нее штабелями укладывалось долготье (длинные и крупные дрова,

которыми топили котел парохода). Позже на эту палубу грузили каменный уголь. Сверху палуба была прикрыта огромными стальными дугами, по которым скользил буксирный трос, если его натяжение ослабевало. В зависимости от мощности буксир мог тянуть от одной до трех барж. Надо сказать, что буксирные пароходы имели более мощные машины, чем пассажирские суда. По сути, буксир представлял собой сильную паровую машину с большими гребными колесами. Вся его конструкция была подчинена необходимости тянуть с нужной скоростью груженные баржи вверх по реке. Красились буксиры дешевой коричневой краской, какой раньше красили пристанционные постройки на железной дороге.

Опишу, наконец, и баржи, так как мое детство на Томи прошло в близком контакте с этими речными мастодонтами. Большая баржа представляла собой огромное судно, превосходившее по своим размерам даже самые крупные пароходы. Баржа была сделана из толстых сосновых досок, прикрепленных к прочным деревянным шпангоутам при помощи стальных костылей и болтов. Стыки между досками тщательно проконопачивались паклей. После постройки баржи ее смолили снаружи и изнутри, просушивали и опускали на воду.

Нетрудно себе представить, в какой жуткий костер могла мгновенно превратиться баржа, попади хотя бы маленькая искорка на просмоленную паклю. Опасность пожара сопровождала это деревянное судно с момента закладки на стапелях и до конца службы, то есть до списания на дрова.

А летом, в солнечную погоду, в тюрьме, на палубе и в домике на корме, где жила команда, стояла страшная жара. Поэтому люди курили и готовили пищу с большой осторожностью.

Вода рядом, а не искупаешься: она стремительно проносится у борта, так как скорость течения резко усиливается мощным потоком воды, отбрасываемой колесами буксира. Купание в реке исключалось. Единственный способ охладиться – бросить за борт ведро на длинной веревке, зачерпнуть воды и облиться.

Особенно примечательным был туалет на барже. Он напоминал скворечник, вынесенный за корму на двух слегах – консолях. С непривычки входить в эту жалкую будочку, висящую высоко над водой, было страшновато: всегда казалось, что она вот-вот оборвется и бухнется в воду вместе с содержимым.

Примечательной деталью на корме баржи был насос, сделанный полностью из дерева; при помощи него откачивалась трюмная вода. Как бы тщательно ни конопатили швы, они постоянно текли. Течь усиливалась при полной нагрузке баржи и с увеличением её «возраста». Специально назначенный матрос-водолей был обязан откачивать накапливающуюся воду, следя за тем, чтобы её уровень не поднимался выше установленной отметки.

Я так подробно описываю баржу потому, что после разгрузки леса пустые баржи отводили в сторону и ставили на прикол недалеко от места разгрузки, где они подолгу стояли без присмотра, пока команда отдыхала на берегу. И вот

тогда мы были на них полными хозяевами, проникали во все щели. Да и много было у меня знакомых ребят, которые не раз подолгу плавали на баржах с родителями. Особенно нам нравилось нырять с высоченных бортов пустых барж: когда летишь с такой высоты, так приятно захватывает дух! Мой приятель Коля Шелудяков был настолько смел и ловок, что нырял «ласточкой» с самой высокой точки баржи – помоста для рулевого. Я же прыгал только с борта и только «солдатиком». Мне не всегда хватало выдержки во время прыжка держать руки прижатыми к бокам, и я сильно отбивал их о воду.

Основным грузом для больших барж был лес, который везли с низовой таежной Томи и множества других рек лесисто-болотистого Нарымского края, ставшего при советской власти печально известным местом ссылки и лагерей заключенных. Конвейер ГУЛАГа в Нарыме работал четко: одни заключенные и ссыльные заготавливали лес, другие строили баржи, а третьи их грузили.

По рассказам людей, отбывших свой срок в Нарыме, баржи грузились очень медленно, так как не было никакой механизации. Огромные сырые бревна люди поднимали с земли, клали себе на плечи и несли к барже. Потом по качающимся сходням поднимались на нее и несли бревна в утробу трюма. Еда была плохой, а работа – адски тяжелой, и поэтому к концу дня заключенные буквально валились с ног. Эту каторжную работу могли вынести только сильные натуры, а обычные и слабые люди были практически обречены на гибель. Страшно даже подумать о том, чтобы оказаться в таких условиях, а не только пройти через этот ад и выжить!

Загруженную баржу принимала команда в составе шкипера-рулевого, водолея и двух-трех матросов. Затем приходил буксир и тянул баржи к Томску.

Самой сложной и тяжелой была работа шкипера: на крутых поворотах реки буксир невольно стягивал баржу с фарватера и мог посадить её на мель. Поэтому шкипер и помогавшие ему матросы изо всех сил поворачивали руль баржи так, чтобы она все время шла в кильватере, то есть повторяла курс. Еще тяжелее было управлять неповоротливой посудиною в ночное время, когда шкипер ориентировался только по мерцающим огонькам бакенов и сильным огням буксира.

Работал шкипер на высоком помосте, обдуваемый всеми ветрами, под дождем и жарким сибирским солнышком.

После долгого и утомительного плавания баржи швартовались у причалов Томской фабрики карандашной дощечки. Разгружали их также заключенные, которых пригоняли каждое утро из тюрьмы на Каштаке. И здесь, в городе, тоже не было никакой механизации, и люди, как и в далеком Нарыме, таскали тяжелые бревна на руках и сбрасывали их за борт в реку. Чтобы лес не уплыл по течению, место выгрузки было отгорожено запанью в виде узкого барьера из стянутых толстыми канатами бревен.

В конце запани уже вольные рабочие длинными баграми подтаскивали подплывшие лесины к берегу, где на них накидывали петли длинных постромок, а мальчишки, сидевшие верхом на лошадях, вытаскивали бревна на берег и тащили их по сланям к огромным штабелям.

Когда нам с приятелями хотелось покататься на лошадях, мы бежали к «карандашке» и работали вместо коногонов, которые с удовольствием уступали нам место в седлах, а сами отдыхали, растянувшись на солнышке.

Вольнонаемные рабочие и коногоны работали сдельно, получая расчет в конце дня. О количестве отвезенных в штабеля бревен администрация фабрики судила по рапортничкам, которые учетчицы к вечеру подавали в контору. Учетчицами обычно работали девчата, часто ученицы старших классов, которые таким образом подрабатывали в дни школьных каникул. Одно лето учетчицей работала и моя старшая сестра Оля, которая и познакомила нас с ребятами-коногонами.

Я уже рассказывал как-то, что не раз был невольным свидетелем побега арестованных в тот момент, когда их вели по городским улицам, или с барж, которые они разгружали.

С барж бежали обычно хорошие пловцы. Чаще всего с борта одновременно прыгали два-три человека, что усложняло задачу конвойных застрелить беглецов. Нырнув, обычно долго не всплывали, стараясь как можно дальше уплыть по течению под водой. Потом они на минутку показывались, чтобы схватить воздуха, и снова ныряли. Когда их головы появлялись из воды, раздавался треск беспорядочных выстрелов из револьверов и винтовок, и на воде вздымались фонтанчики от пуль. Но кто из охранников мог попасть в беглеца на таком расстоянии?

Обычно побег удавался: переплыв реку, смельчаки быстро скрывались в прибрежном кустарнике. Но какова была их дальнейшая судьба? Если они побегут прямо, то через 30-40 километров встретят перед собой Обь. Если свернут влево, то пойдут по довольно заселенному междуречью Томи и Оби, где в каждом селе, в каждой деревне бдительно несет службу уполномоченный ГПУ или негласный осведомитель. А что они будут есть, где ночевать? Одним словом, убежать-то проще, чем добраться до места, где можно было бы безопасно жить. В родные же места возвращаться вовсе нельзя: там быстро опознают и вернут в тюрьму, добавив срок за побег...

А теперь я, наконец, расскажу о белых красавцах – пассажирских пароходах.

Хотя наша деревня Батурина и была в каких-то двадцати верстах от Томска и стояла на той же реке, но пароходы мимо нас не ходили, так как в то время Томь выше города не была еще судоходной. Впервые пассажирский пароход я увидел летом 1925 года, когда наш плот, связанный из бревен разобранной кузницы, проплывал мимо пристани, чтобы пристать ниже неё у Картасного

переулка, недалеко от которого стоял недавно купленный отцом флигель. Вот тогда я и увидел белого красавца. Видимо, это был самый большой из ходивших в то время по Томи пассажирских пароходов – «Карл Либкнехт».

Томь в районе пристани тогда была очень узкой. Её углубляли землечерпалками, а выбранную со дна гальку ссыпали у недалекого противоположного берега, что сильно сузило реку, поэтому отцу пришлось вести глубоко осевший плот очень близко от борта этого гиганта. Мне стало даже страшновато, когда мы проплывали мимо его огромного колеса, окутанного густым паром, со свистом вырывавшимся откуда-то изнутри корпуса. Запомнилось, что пар имел запах подгоревшего машинного масла.

Когда нас отнесло от пристани на достаточно большое расстояние, я увидел пароход во всей его красе. Никакое другое сооружение представшего передо мной города нельзя было сравнить с видом прекрасного белого парохода!

Я уже говорил об отношении к пассажирским пароходам жителей города, стоящего на судоходной реке: с ними тесно связана их жизнь. Многие горожане были матросами или работали в пароходстве. Жители приречных районов города знали названия всех пассажирских пароходов, узнавали их издали по силуэту и гудку... Я до сих пор помню, что по Томи тогда ходили пароходы «Жорес», «Усиевич», «Роза Люксембург», «Карл Либкнехт», «Тара».

«Тара» была самым старым, маленьким и неказистым пароходиком с сиплым гудком. Подходила «Тара» к пристани и отходила от неё, сильно накренившись на борт, обращенный к дебаркадеру, так как пассажиры, несмотря на просьбы и крики матросов, стремились стать именно на тот борт. Из-за сильного крена одно колесо пароходика сильно зарывалось в воду, а другое беспомощно молотило воздух, едва касаясь плицами поверхности воды. Только благодаря искусству капитана и рулевого суденышко все же не теряло управляемости и «Тара» благополучно причаливала к пристани или уходила от нее в рейс.

Особо праздничное настроение воцарялось в прилегающем к пристани районе города к концу мая, когда открывалась навигация. Первый пароход из Моряковского или Самусьского затонов ждали с большим нетерпением. Еще издали, заслышав подаваемые им гудки, народ спешил на пристань или к берегу реки.

«Первая ласточка» новой навигации шла очень медленно, т.к. весной обычно стояла высокая вода, и пароходу приходилось преодолевать сильное встречное течение. Наконец, свежепокрашенный и приятно пахнувший белилами красавец-пароход, словно белый лебедь, чинно причаливал к дебаркадеру. Капитан в белой парадной форме, стоя на мостике, командовал в машинное отделение: «Самый тихий!». Матросы, также одетые в чистые и отглаженные робы, бросали на дебаркадер чалки – тонкие бечевки с красиво сплетенными из веревки набалдашниками на концах. Из-за плотной толпы чалкам упасть было некуда, и их ловили еще в воздухе. При помощи принятых чалок с парохода стаскивали

канаты с петлями, которые накидывали на кнехты дебаркадеров. Матросы на борту парохода быстрыми и ловкими движениями убирали слабинку канатов и делали несколько восьмерочных наметов на бортовые кнехты. Судно, идя по инерции, сильно натягивало швартовы и дебаркадер, поскрипывая, сдерживал огромную массу парохода. Наконец, пароход терял инерцию и уже спокойно отбойным бревном прижимался к борту дебаркадера (теперь вместо отбойных бревен на бортах пароходов на коротких тросах висят автомобильные покрышки, которые эффективнее смягчают удары между бортами судов). Матросы надежно швартовали прибывший пароход и быстро устанавливали сходни с поручнями. Поток пассажиров с узлами, баулами и саквояжами под радостные возгласы встречающих устремлялся на берег. Некоторые нетерпеливые парни и мужики прыгали с борта парохода на дебаркадер через широкую щель между бортами, рискуя сорваться в холодную воду, что иногда и случалось.

Воздух был насыщен запахом реки, пара, масляной краски, печеного хлеба, аммиаком судовых клозетов и чем-то еще.

Если же, стоя на пристани, поднять глаза и посмотреть вверх пришедшего парохода, то открывался чудесный речной простор: зеленовато-синяя гладь реки в окантовке изумрудной зелени береговых кустарников.

Вода в Томи была в те времена совсем прозрачной и на глубоких местах при солнечной погоде отдавала голубизной. Эту воду мы пили, не задумываясь, хотя прекрасно знали, что все нечистоты с пароходов и других судов сбрасывались прямо в реку.

В детстве я думал, что во всех реках течет такая же прозрачная вода. Но летом 1928 года мама посадила меня на пароход, и я отправился в Новосибирск погостить у многочисленной отцовской родни. Было очень тоскливо и даже страшновато среди совершенно незнакомых людей. Но мама, провожая, познакомила меня с приветливой старушкой – моей соседкой по решетчатой скамейке в пассажирском трюме, которая тоже ехала в Новосибирск. К тому же у меня был тугой узелок с вареными яйцами, хлебом, салом. Эти два важных обстоятельства поддерживали мой дух. Подбадривало и то, что в Новосибирске меня будет встречать тетя Маня, жена брата моего отца, которую я хорошо знал.

Немного освоившись, я развязал узелок, достал яичко, очистил его и, посолив, с удовольствием съел. Так же быстро я расправился со вторым яйцом. Я бы мог съесть еще, но удержался, подумав, что до Новосибирска плыть еще долго, да и старушка, присматривавшая за мной, могла сделать мне замечание.

Пароход быстро плыл по течению, бойко хлопая колесами. Многие пассажиры подобно мне тоже развязали свои узелки и закусывали, весело переговариваясь.

Но вот, вроде бы без всякой причины, трюмный народ засуетился, засобирался и потянулся к широкой металлической лестнице, ведущей на палубу. Там уже скопились пассажиры четвертого класса, которые оставили свои теплые места у стенок машинного отделения и вылезли из утробы грузового трюма. Так как все пассажиры стремились к поручням левого борта, наш пароход стал крениться налево. Я, оставив свой узелок под присмотром бабушки, тоже выскочил наверх узнать, в чем дело и не грозит ли пароходу какая опасность. Внимательно посмотрел на матросов, но они спокойно выполняли свою работу. Потом я побежал к огромному кожуху колеса, откуда хорошо был виден капитан, стоящий на мостике. Капитан тоже был совершенно спокоен. Значит, ничего опасного для парохода нет, и я двинулся туда, куда стремились все – к левому борту. Но там было уже полно народу, и я поспешил на нос, где шипела паровая лебедка, и где еще было малоллюдно. Примостившись на лапе огромного якоря, я стал смотреть вперед, куда смотрели все.

Прислушавшись к разговорам, я вскоре понял, что вот-вот мы увидим, как Томь впадает в Обь, и что вода их сильно различается по цвету. Действительно, вскоре перед нашими глазами возникла чудесная картина: впереди появилась уходящая вдаль четкая граница между сине-зеленой водой Томи и темно-желтой водой Оби. Здесь Томь впадала в могучую Обь, оттесняя ее воду к левому берегу. Воды двух рек здесь текли рядом, не смешиваясь.

Вскоре наш пароход плавно повернул налево, пересек эту удивительную границу и теперь уже значительно медленнее пошел вверх по Оби к Новосибирску.

Недавно я смотрел фильм «По Амазонке». Автор фильма, дававший пояснения за кадром, рассказал, что на Амазонке есть место, где она течет тремя четкими полосами разноцветной воды. Получается это потому, что немного выше этого места в Амазонку впадают две большие реки: одна с желтой, а другая с голубой водой. Местные индейцы считают, что воды трех рек не смешиваются из гордости. Я сразу вспомнил свои родные сибирские реки Томь и Обь и подумал, что и у них есть своя гордость.

На пароходе я проспал две ночи, и к обеду третьего дня мы причалили к дебаркадеру Новосибирска. Там меня встретили родственники, и мое первое путешествие благополучно закончилось. Позже я уже один добирался с пристани до дома крестного, с которого обычно начинал свое новосибирское «турне».

Сколько бы раз я не приезжал в этот город, он всегда мне казался очень большим, уютным и чужим. Родственников в этом городе у нас очень много, и крестный обычно составлял своего рода график, у кого и сколько дней мне нужно погостить за лето.

Билет на пароход мне брали в третий класс. Если сравнивать с железной дорогой, то по удобствам и неудобствам это соответствовало примерно середине между общим и плацкартным вагонами. В билете указывался номер полки в носовом трюме, где можно было сидеть и спать. Дневной свет проникал сюда через небольшие иллюминаторы. В темное время суток включались тусклые электролампочки в плафонах под потолком. Одним словом, здесь постоянно стояла полутьма, и когда я поднимался на палубу, то и в пасмурный день после трюма на вольном воздухе казалось светло и даже солнечно.

Пол в третьем классе представлял собой съемные решетки, через которые была видна трюмная вода, проникавшая туда через неплотности клепаных швов (электросварки тогда еще не было).

Третий класс был всегда полон пассажирами и всевозможной кладью. Всюду шныряли и кричали дети. Все свободное пространство между двухэтажными пассажирскими полками было забито узлами, ящиками, огромными корзинами и прочей поклажей. В этом классе ехала в основном публика ниже среднего достатка: крестьяне и горожане вроде меня. Особенно скверно в пассажирском трюме было в ночное время, так как воздух там был до крайности тяжелым. Всюду, словно убитые, лежали спящие люди. Спали не только на полках, но и на поклаже и даже на решетках пола, бросив на них свою нехитрую одежку. Для прохода между мертвецки спящими людьми оставалась только узенькая полоска пола, где с трудом можно было поставить ногу.

Однако в дождь, в сырую и пасмурную погоду, да еще и с ветром, этот трюм уже казался довольно уютным помещением. Так или иначе, третий класс был в моих глазах все же в какой-то степени престижным. Дело в том, что на пароходах был еще так называемый четвертый класс с самыми дешевыми билетами. По сути дела никакого особого помещения для этого класса не было: пассажиры устраивались по своему усмотрению в местах, свободных от механизмов, в проходах на первой палубе, на носу, на корме, у стен машинного отделения, где было хотя и шумно, но тепло. Спали они и на полу в нашем трюме.

В четвертом классе обычно ехала отчаянная беднота, бродячие цыгане, китайский фокусники (ходи) и прочий плохо одетый и полуголодный люд. Билет четвертого класса часто брали и люди обеспеченные, если они ехали недалеко, и не надо было ночевать на пароходе. Обычно они поднимались на прогулочные палубы, где смешивались с пассажирами первого и второго классов.

Хотя мне в ту пору было еще мало лет, но уже тогда на пароходе я заметил четкую социальную расслоенность людей: самые благополучные были наверху, в отдельных каютах и на светлых палубах, а самые бедные — внизу, в душных и грязных трюмах и просто в углах на палубе, часто под открытым небом. И хотя нигде не было табличек, что вход пассажирам третьего и четвертого классов на верхние палубы воспрещен, они туда и не стремились.

На корме парохода была большая площадка, на которой стояли клетки разных размеров. Клетки поменьше предназначались для собак, коз и прочей мелкой животины. В больших клетках – стайках – перевозили коров и лошадей. Если клеток не хватало, то животных просто привязывали к поручням и всякого рода надстройкам на корме.

В воздухе над рулем висела наклонно огромная спасательная шлюпка. Она казалась неким обязательным символом парохода: я никогда не видал и не слышал, чтобы эту шлюпку когда-нибудь спускали на воду, но не видел и парохода без шлюпки на корме.

Если пароход был трехпалубным, то на третьей палубе размещались каюты первого класса, а в носовой части самый престижный салон-люкс.

Выше всех палуб размещался капитанский мостик с начищенными до зеркального блеска медными поручнями. В центре мостика возвышалась ходовая рубка с большим красивым штурвалом. Вблизи капитанского мостика находился кожух дымовой трубы с нарисованными на нем знаками пароходства, которому принадлежал пароход. На кожухе был укреплен большой медный гудок с цепочкой, за которую тянул капитан, подавая сигнал.

Справа и слева на мостике стояли рупоры и возвышались вращающиеся переговорные трубы с раструбами на конце. Если надо было дать команду матросам на палубе, то капитан пользовался рупором (на современном языке «матюгальником»). Если подавал команду в машинное отделение, то нагибался к переговорной трубе и выкрикивал: «Полный вперед!», «Стоп машина!» и пр. Подав команду, капитан тотчас прикладывал ухо к раструбу для того, чтобы услышать из машинного отделения доклад о том, что команда принята.

Томь значительно уже и мельче Оби, что всегда сильно затрудняло судоходство на ней. Особенно усложнялось движение судов в середине лета, когда река сильно мелела и часто меняла фарватер из-за придонных переносов песка – подводных дюн. Поэтому от города и до впадения Томи в Обь нес нелегкую службу большой отряд бакенщиков. Они постоянно замеряли глубины на фарватере и при необходимости перемещали белые и красные бакены. На особо мелких местах бакенщики втыкали в песчаные наносы красные шесты с метлой на конце.

Мне повезло, что дядя Митрий, хороший знакомый отца, летом работал бакенщиком и жил в казенной сторожке, стоявшей на крутом берегу километрах в пяти от города. Добирался я до него со своими приятелями на нашем обласке. Большую часть времени мы ловили рыбу, но немного помогали и дяде Митрию. Чаще всего мы сидели на веслах тяжелой четырехвесельной лодки, когда он проводил замеры глубин, зажигал и тушил фонари на бакенах. Никогда не забыть того прекрасного времени, когда мы купались, валялись на горячем песке, варили уху, сидели у костра на высоком берегу Томи.

Пожив у дяди Митрия, я проникся большим уважением к работе бакенщиков – побратимов путевых обходчиков и стрелочников на железной дороге тех времен. Раньше я смотрел на бакен, как на что-то само собой разумеющееся. Ну, стоит, значит так надо. После же летней «практики» у бакенщика я стал понимать, почему его здесь поставили и сколько усилий приложили, чтобы сделать этот бакен, привезти на нужное место и поставить на прочный держак – тяжелый камень с обвязкой, игравший роль якоря. А сколько труда надо было затратить на то, чтобы своевременно очистить стекла фонарей от копоти, залить в них керосин, зажечь в вечерних сумерках и потушить на рассвете. Это теперь все просто: электрофонари бакенов сами загораются с наступлением темноты и тухнут на рассвете.

Однако вернусь на пароход, на котором я направлялся в Новосибирск. Интересно было наблюдать за работой капитана и вахтенного матроса на мелководье. Когда пароход приближался к перекату, капитан давал короткий гудок. Тотчас на нос судна выходил вахтенный матрос, снимал с крюков фальшборта длинный шест с черно-белыми аршинными шашками и принимался мерить глубину реки, громко выкрикивая результаты каждого замера: «Два с половиной!», «Три!» и т.д. Если шест не доставал дна, матрос кричал: «Не маячит!». После двух-трех таких докладов капитан давал еще один короткий свисток, по которому вахтенный укладывал мерный шест на место и отправлялся выполнять другую работу.

За время поездок на пароходе я детально изучил обязанности почти всех членов его команды, включая механика, машиниста и масленщика, т.к. подолгу наблюдал за тем, что и как они делали.

Однажды в начале лета я на большом трехпалубном пароходе в очередной раз отправился в Новосибирск. Томь в том году сильно обмелела, и от лоцмана и капитана требовалось немалое искусство постоянно держать пароход точно на фарватере, минуя коварные мели. Еще на виду у города при подходе к перекату на траверзе городской бойни капитан, как обычно, подал гудок, давая тем самым команду вахтенному приступить к промеру глубин. Хотя мы плыли по течению, машина энергично крутила колеса и пароход бежал очень быстро, а из докладов вахтенного стало ясно, что река впереди катастрофически быстро мелеет. Капитану следовало бы дать команду «стоп машина» и затем «полный назад», чтобы быстро погасить скорость судна и на малом ходу пройти сильно обмелевший перекаат. Но капитан не сделал этого. Только услышав доклад вахтенного о недопустимо малой глубине, он дал нужные команды. Но было уже поздно: пароход выскочил на пологую песчаную мель. Было хорошо слышно, как днище пошло по песку, и стало заметно, что нос судна приподнялся из воды. Капитан скомандовал «самый полный назад». Машина с огромным напряжением стала безрезультатно обрабатывать задний ход, поднимая колесами буруны воды, смешанной с песком. Корпус парохода содрогался от

напряжения. Кочегары подкинули угля, и из трубы повалил черный дым. Машина еще некоторое время работала на пределе, но вскоре капитан убедился в тщетности попыток сняться с мели и остановил ее. Наступила напряженная тишина. Каждый на пароходе думал, как же теперь быть. Я досадовал на то, что сели мы на виду у Томска. Все места вокруг были до обиды знакомы, и не было никакого интереса от нечего делать разглядывать окрестности.

Спустя некоторое время была дана команда всем пассажирам перейти на корму. Когда мы столпились на корме и на задней палубе, нос парохода слегка поднялся, и возникла слабая надежда сняться с мели. Но капитан вновь оплошал, запоздав с командой «полный назад», и нас быстрым течением еще сильнее нанесло на мель. После этой неудачи стало ясно, что самостоятельно сняться с мели не получится.

Наступила и прошла неприятная ночь. Рано утром к нам резво подбежал небольшой буксирный пароходик и безуспешно попытался стащить нас с мели. Вскоре ему на помощь пришел второй, но и оба они ничего сделать не смогли.

Проваландались мы на этой мели еще ночь и день. Наконец к нам подошел «Большевик» – самый мощный буксир на Томи, который быстро стянул нас на глубокую воду. Обрадованный капитан поблагодарил «Большевика» долгими гудками, вывел пароход на фарватер, и мы двинулись к Новосибирску, до которого было двое с половиной суток ходу. Как ни экономил я продукты, все равно к этому времени мой узелок окончательно опустел. Постепенно чувство голода заслонило все мои интересы. Я уже не стоял у машинного отделения, где огромные шатуны вращали толстостенный коленчатый вал, на концах которого были закреплены гребные колеса. Теперь мне казалось, что пассажиры только тем и заняты, что непрерывно едят, а приятный запах борща идет не только из камбуза и буфета, но также из других мест и даже из машинного отделения, откуда мог идти только запах перегретого пара да подгоревшего машинного масла.

Был у меня способ избавиться от голода: в каюте первого класса ехал доктор Шастин, который лечил всю нашу семью и которого я хорошо знал, а он знал меня. Это был интеллигентный человек, всегда красиво одетый и ухоженный. Это был врач «от Бога», как теперь часто говорят. Но я не мог показаться ему на глаза и тем более сказать, что у меня нечего есть. Не мог, даже если бы умирал с голоду.

В конечном итоге я все же нашел выход из положения: отыскал в грузовом трюме плохо зашитый мешок с пшеницей, которую я непрерывно жевал. Запивал я ее кипяченой водой из большого железного бака с жестяной кружкой на длинной цепи, на каких обычно держат дворовых собак. Наверное, если бы я по-настоящему голодал, то эта отборная пшеница показалась бы мне лакомой пищей. Но я не голодал, а просто очень хотел есть, и потому эта сырая пшеница мне вскоре опротивела, и я жевал ее через силу.

Невольно вспомнил я тогда, как в конце лета 1924 года мы с мамой ездили на ближние поля за нашей деревней посмотреть, не поспела ли наша пшеничная полоска. Мама очень обрадовалась, что хлеб уже можно жать, и дала мне пожевать чуть ли не пригоршню пузатых желтых зерен. Тогда они мне очень не понравились, и я их поскорее сплюнул незаметно для мамы. Если бы мне дали ту пшеницу сейчас, то я бы съел ее с удовольствием, те зерна были очень мягкими в сравнении с этими – твердыми как железо. И все же пришлось их жевать и глотать. Другого выхода не было, так как в животе было пусто и урчливо.

Наконец, я добрался до дома крестного. Первым делом меня усадили за стол. И тетя Маня принялась действовать в полном соответствии с хорошей поговоркой: «Все, что в печи – на стол мечи!». Несмотря на свое хлебосолюбство, она теперь удивленно поглядывала на меня, подкладывая все новые порции еды. Не удержавшись, она весело спросила:

– Ты, Левчик, словно с голодного мыса приехал! Тебя что – неделю не кормили дома?

Я поведал свою одиссею – как застрял у Томска наш пароход, как я жевал пшеницу...

Тетя Маня с сочувствием кивала мне головой, а когда я закончил свой рассказ, резюмировала:

– Правильно говорят, что едешь на день, а хлеба бери на неделю! Про запас в норку и мышка тащит корку... Ты ешь, ешь, не стесняйся. Побегашь с ребятишками немного, и я тебя снова позову перекусить...

Белые пароходы... Они величественны и грациозны! Их прекрасные линии, комфортабельность кают, прелесть прогулочных палуб, приятный запах свежей масляной краски, вольный простор родной реки с ее свежим ветром и неповторимыми пейзажами прибрежных далей, тихое и плавное движение – все это сливается в чудную симфонию чувств! Для человека, выросшего на большой судоходной реке, пароход – не просто удобное средство передвижения. Он остается в его памяти на всю жизнь как родное и близкое существо...

Послесловие

Уважаемые читатели! Вы прочли мемуары уроженца деревни Батурина Томской области, полковника в отставке Льва Николаевича Иванова. Обладая литературным даром, он решил записать свои воспоминания, осмыслить прожитое. Повествование в книге выстроено не по хронологическому принципу. Так устроена память человека, что, зацепившись за одно событие, высвечивает другие фрагменты прошлого, сплетающиеся в изящный узор.

В результате осмысления своей судьбы на свет появились три книги, объединенные общим названием «Когда я гостил на земле». В них – вся жизнь Льва Иванова. Чего только не было в ней! Едва появился на свет человек, а матери, простой русской женщине, пришлось выбирать между спасением жизни новорожденного ребенка и мужа. Едва переехала семья в город, «обустроилась», «начала жить», как обрушивается на нее страшная (и увы, распространенная в России) беда... И все это – не выдуманные коллизии, плод писательского воображения. Так было. Автор не ставил перед собой иной задачи, чем просто и безыскусно рассказать о своей жизни.

Но сколько захватывающих эпизодов в этой небольшой по объему книге! Лев Николаевич не просто хорошо помнит свои переживания, но и мастерски передает их на бумаге. Невозможно без боли читать то место, где рассказывается о безвременной кончине матери, Татьяны Ивановой. Невольно поддаешься тревожному состоянию главного героя, когда тот, движимый мальчишеским задором, ворует в Томской артиллерийской школе револьвер, а потом понимает, что совершил тяжелое преступление. Сколько поэзии в сценах, посвященных описанию труда: будь то шишкойой в тайге или жатва! Невольно начинаешь смотреть на события глазами автора, вживаешься в его чувства.

Лев Иванов не претендует на исключительность своей биографии. Скорее наоборот. Но в этом и есть, на мой взгляд, прелесть книги, которую вы прочитали. Общаясь по долгу своей музейной службы с людьми пожившими, я начинаю убеждаться: судьба каждого человека, рождение которого пришлось на первые три десятилетия беспокойного XX века, может стать основой для увлекательнейшего романа. Время безжалостно вплетало в полотно истории отдельные судьбы, окрашивая их в яркие, тревожные краски. Революция и гражданская война, короткая передышка НЭПа, индустриализация и коллективизация, период массовых репрессий, Великая Отечественная война. Жизнь простого, на первый взгляд, ничем не примечательного человека, поневоле становилась захватывающе – интересной. Увы, люди не вечны, и один за другим представители тех героических поколений уходят из жизни, навсегда унося с собой бесценную информацию. И не находится писателя,

который бы увековечил жизнь «маленьких героев» в своих произведениях. Исключения редки. Книга, которую вы собираетесь прочесть – одно из них.

Ценность мемуаров Льва Иванова еще и в том, что в них содержится редкая информация о Томске 1920-х – 1930-х годов. Поверьте, не так просто узнать, как выглядели дома и улицы города в это нелегкое время, в каких квартирах жили семьи кустарей и рабочих, каковы были заработки среднего горожанина и цены на продукты. Как организовывали работу комсомольских ячеек в селах и деревнях, о чем думали жители Западно-Сибирского края. Отменная память автора мемуаров сохранила для потомков и эти мелкие, но необычайно ценные для историка сведения.

Книга будет интересна и для исследователей советской повседневности, и для любителей старины, и просто для вдумчивого, интеллигентного читателя.

Остается только порадоваться, что книга Льва Николаевича Иванова размещена на сайте Томской областной библиотеки им. Пушкина и стала доступна молодым читателям.

*Кандидат исторических наук,
заведующая Исторического отдела
Музея г. Северска
Назаренко Татьяна*

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Л.Н. Иванов.
1958 г.



Пять братьев Ивановых:
(верхний ряд) Михаил, Яков, Николай,
(нижний ряд) Афанасий, Иван и дети Ивана —
Лев и Анатолий.
1902 г., станция Култук.



Наша семья. Мне 3 года.
Батурина. 1923г.



Мои родители Николай и Татьяна с моей старшей сестрой Тася
г. Томск. 1911г.



Бабушка Анастасия с младшими сыновьями
Михаилом, Яковом и Николаем —
моим отцом (сидит в центре). 1884г.



Михаил Илларионович (брат отца)
с женой. 25 лет со дня свадьбы.
1923 г.



Отец – помощник машиниста (в центре) на мельнице «Сибирский мукомол». Сфотографировался незадолго до тяжелой травмы головы от этой паровой машины. Март, 1911г. г. Ново-Николаевск.



Мама с детьми. Мне 7 лет. Батурина. 1927г.



На этой пятиминутке мама с отцом (слева), Федор Гриченков с женой и художник Кузьмич (в центре).

Федор Гриченков — это тот человек, у которого по зимам жила Тася, учась в Томске, и поручившийся за отца, когда тот получал векселя для уплаты за дом, купленный в городе.

Кузьмич называл себя живописцем. Он долго жил у нас на правах близкого человека. Это был настоящий украинец. Он рисовал маслом виды украинских хуторов с пирамидальными тополями, белыми хатками и кумушек, беседующих у колодца.

Он научил Мишу рисовать пейзажи. Он же в сильное наводнение затащил двух гусей к нам на второй этаж, боясь, чтобы гуси не утонули. Видимо, он сделал это ради шутки. В доме у нас любили пошутить все.



Апрель. 1929 г. Последняя семейная фотография с мамой.



Евлампия Афанасьевна (Евлаша) с мужем Василием Макаровичем Замолоцким (сидят). Стоят: мой двоюродный брат Григорий Алексеевич, мама, отец и жена Григория – Анфиса. 1929г. Томск.



Мама. 1911г.



Отец с мамой – жених и невеста. У отца на груди медаль за спасение на пожаре. Ново-Николаевск. 1910г.



Бабушка Степанида Григорьевна Сизикова. Мамина мама. с. Вьюны. 1911г.

Анна Михайловна — моя мачеха. Прекрасный человек. Отец женился на ней спустя три года после смерти мамы. А еще через год ее старший сын Шурик женился на моей сестре Тасе. В трагическом 1937г. ее младший сын Леонид погиб в лагерях ГПУ, а в 1943г. она получила «похоронку» на Шурика. Бедная женщина даже не знала, где похоронены ее сыновья.





Вот на этой фотографии 20-х годов жители какой-то деревни серьезно позируют фотографу у такой же пожарной машины, какая стояла у нас на поляне неподалеку от деревенской церкви.

Машина стояла на телеге, оглобли которой были соединены пере-кладиной для перевозки ее людьми: запрягать лошадь, когда горит, времени нет.

Когда телегу с гиком, свистом и смехом (если не горит вся деревня, то для большинства ее жителей пожар – это и зрелище!) подкатывали к горящему дому или сараю, мигом стаскивали на землю, заборный хобот с дырчатой банкой на конце опускали в бочку или водоем, плескали немного воды в цилиндры и вчетвером начинали часто качать рычаг машины. Вода заполняла брезентовый шланг с медным брандспойтом на конце, из которого начинала бить упругая водяная струя. Брандспойтом обычно орудовал самый сообразительный мужик, из оказавшихся на пожаре.



Деревенский кузнец.

Современный городской кузнец, выполняющий художественные поковки.





Отец привозил Тасе «дровишки». Подводу ему дали на рыбокопильном заводе, где он тогда работал кузнецом. Весна, 1943г.



Фамильный камень семьи Ивановых в селе Батурино. Родина там, где похоронены предки.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

Успеть услышать, пока живы	3
От автора	6

ГЛАВА 1. Моя родословная	9
---------------------------------------	----------

ГЛАВА 2. Деревня Батурина

Крещение	20
Макар и Орина	25
Огненные глаза домового (деревенские воспоминания)	29
Деревенское кладбище	35
Купол звездного неба	36
По шишки	43
Прощай, Батурина!	51
Вершинин	58
Плот	59

ГЛАВА 3. Мама

Фотография 1923г.	64
Пахотный надел	68
Жатва	76
Ночное	80
Мельница	85
Мой друг Колька	99
Преисподняя	104
Выстрел	112
Черная ночь в октябре	114
Замолоцкие	119

ГЛАВА 4. Бабушка Степанида Григорьевна

Трезор	125
Ликбез	129
Угол	131
Поминование	133
На родине бабушки	138

КНИГА 2

ГЛАВА 5.

Мир моих увлечений	142
Евсейч	155
Ледоход	164
Закутин Яр	173
Как просто украсть револьвер	209
Белые пароходы	241
Послесловие	253

ИЛЛЮСТРАЦИИ	255
--------------------------	-----

Иванов Лев Николаевич
КОГДА Я ГОСТИЛ НА ЗЕМЛЕ

Составитель Попова Т.А.

Компьютерная верстка Степанов А.Ю.

Корректор Тыщецкая А.Ю.

Подписано в печать 16.03.05
Гарнитура Антика

Издательская подготовка - ФЖ ТГУ
Учебно-производственная типография ТГУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, 66

